This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

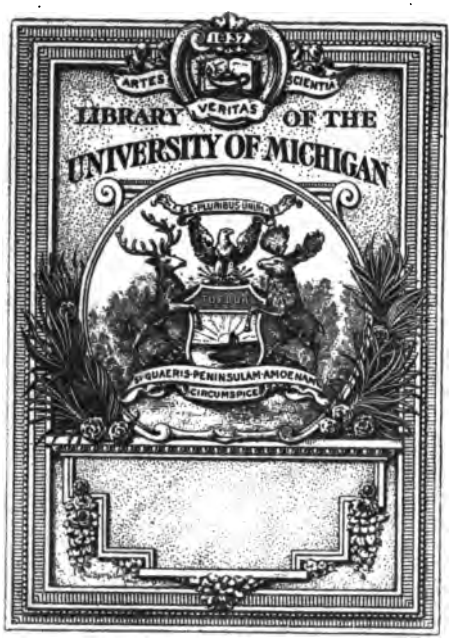
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 663581


ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

891.78
T650
P76

Pokrovski (4 — 3)

Левъ Николаевичъ ТОЛСТОЙ.

№ 91

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Цѣна 40 коп.

МОСКВА.
Типографія Г. Лисснера и Д. Собко.
Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.
1905.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

„Дѣтство, Отрочество и Юность“ Толстого, какъ художественная автобіографія автора, *Овсянико-Куликовскаго* 1
Постепенное измѣненіе жизни, какъ неизбѣжное слѣдствіе метаморфозъ души—основная идея „Дѣтства и отрочества“, *Бар. Дистерло*. . 18
Форма и содержаніе „Дѣтства и отрочества“ и способъ изображенія, *Анненкова* 27
Художественныя достоинства „Дѣтства и отрочества“, *Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ 1854 г.* 34
Личное участіе Толстого въ оборонѣ Севастополя, *Левенфельда* . . . 37
Военный бытъ въ изящной литературѣ до Толстого, *Дружинина*. . . 49
Типы и картины въ военныхъ разсказахъ Толстого, *Дудышкина* . . . 52
Правдивость и самобытность военныхъ разсказовъ Толстого, *Дружин*. . . 71
Общее содержаніе и идея разсказа „Казаки“, *Цабеля* 78
Дѣйствующія лица въ разсказѣ „Казаки“ и ихъ характерныя черты, *Маркова* 82
Общее содержаніе и построеніе „Войны и мира“, *Цабеля* 100
Лица и событія въ романѣ „Война и миръ“, *Бадена* 103
Русское образованное общество въ романѣ „Война и миръ“, *Цабеля*. . 137
Смыслъ произведенія Толстого „Война и миръ“, *Страхова*. 146
„Война и миръ“, какъ художественное цѣлое, *его же* 152
Художественность, объективность, образность и правдивость, какъ отличительныя черты романа „Война и миръ“, *его же*. 158
Содержаніе и идея романа „Анна Каренина“, *Бар. Дистерло* 166
Картины русской жизни, нарисованныя въ „Аннѣ Карениной“ и художественные пріемы автора въ ихъ воплощеніи, *Вогюэ* . . . 180
Общественное значеніе романа „Анна Каренина“, *Громека* 186
Сущность характера Левина, *его же* 193
Полнота, вѣрность, правдивость и художественность мужскихъ и женскихъ образовъ, созданныхъ Толстымъ, *Геннекена* 216
Сочиненія Толстого, какъ широкая и правдивая картина жизни прошлой и современной, и ихъ внѣшняя художественная форма, *Морозова*. 227
Природа въ произведеніяхъ Толстого, *Арсеньева*. 240
Творчество Толстого, *Мережковскаго*. 248

185981

„Дѣтство, Отрочество и Юность“ Толстого, какъ художественная автобіографія автора.

Повѣсти: „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“ не были плодомъ настоящей Dichtung и представляютъ собою родъ художественной автобіографіи и семейной хроники, — это давно уже было извѣстно. Но только теперь мы имѣемъ возможность выяснить съ нѣкоторой обстоятельностью этотъ характеръ раннихъ произведеній Толстого и отдѣлить въ нихъ то, что принадлежитъ творчеству „связанному“, отъ продуктовъ художественнаго вымысла. Эту возможность мы имѣемъ, благодаря обнародованію разныхъ біографическихъ свѣдѣній о Толстомъ — въ статьѣ проф. Н. П. Загоскина „Студенческіе годы Л. Н. Толстого“ („Истор. Вѣстн.“ 1894, январь) и въ книгѣ Р. Левенфельда „Графъ Толстой. Его жизнь, произведеніе и міросозерцаніе“.

Левенфельдъ, черпавшій изъ непосредственнаго источника, отъ самого Л. Толстого и членовъ его семьи и пользовавшійся также неизданнымъ дневникомъ Толстого, сообщаетъ намъ слѣдующія, не лишенныя интереса указанія, касающіяся его первыхъ произведеній. „У Толстого“, говоритъ онъ, „былъ планъ большого романа: „Исторія четырехъ эпохъ“. Онъ имѣлъ въ виду изобразить *въ формѣ личныхъ воспоминаній* духовное, или точнѣе говоря, душевное развитіе ребенка, мальчика, юноши и взрослаго человѣка“. Отсюда мы заключаемъ, что въ раннюю пору творчества, къ которой относится это извѣстіе, художественная пытливость Толстого была обращена *внутрь*, что, когда впервые его духовныя очи раскрылись и внутренній голосъ призванія сказалъ ему: „виждь и внемли“, то онъ прежде всего увидѣлъ *самого себя*. Какъ извѣстно, однако, планъ большого романа „Исторія четырехъ эпохъ“ не былъ осуществленъ, но плодомъ

этого чисто субъективнаго замысла явились повѣсти: „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“, такъ что „три эпохи“ все-таки были воспроизведены. Четвертая же („взрослый человѣкъ“) была лишь намѣчена въ отрывкѣ „Утро помѣщика“. Но, въ концѣ концовъ — въ другомъ только видѣ, по другой программѣ — этотъ циклъ четырехъ эпохъ былъ все-таки завершенъ, потому что фигура *Левина* есть, несомнѣнно, плодъ стремленія Толстого — изобразить самого себя уже сложившимся и достигшимъ полноты самосознанія человѣкомъ. Не трудно понять, почему именно послѣдняя, 4-я эпоха явилась въ художественномъ изображеніи такъ поздно: въ 50-хъ годахъ Толстой могъ, опираясь на свои воспоминанія и путемъ самоанализа, изобразить себя ребенкомъ, отрокомъ и юношей, но для воспроизведенія себя какъ взрослаго человѣка, у него, при сложности и своеобразіи его натуры, въ ту эпоху еще не было достаточно данныхъ, не было еще запаса отошедшихъ въ даль прошлаго воспоминаній; онъ могъ тогда только кое-что намѣтить и понять въ себѣ, и это немногое, свидѣтельствующее о все еще продолжающемся броженіи его духа, онъ и далъ въ „Утрѣ помѣщика“ и въ образѣ Оленина. Но ему еще было далеко до полноты самосознанія, до окончательнаго выясненія своихъ путей въ жизни, своихъ цѣлей, идеаловъ, — все это опредѣлилось, осѣло и кристаллизировалось гораздо позже, послѣ долгаго опыта жизни и большихъ подвиговъ творчества. Великій художникъ не пойметъ себя, не подведетъ себѣ итога, прежде чѣмъ создастъ свое главнѣйшее произведеніе. Для Толстого 4-я эпоха, — эпоха окончательнаго самоопредѣленія, могла наступить только послѣ созданія „Войны и мира“, — когда онъ принялся за послѣднюю часть автобіографіи и въ *Левинѣ* подвелъ итоги самому себѣ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію съ этой автобіографической точки зрѣнія первыхъ произведеній Толстого, приведу сперва слѣдующую цитату изъ книги Левенфельда: „Въ дневникѣ Толстого мы находимъ нѣкоторыя хронологическія указанія относительно его произведеній. 9 іюня 1852 г. онъ уже можетъ отослать въ Петербургъ свою первую повѣсть „Дѣтство“. Одно за другимъ пишетъ онъ „Утро помѣщика“, „Набѣгъ“ и „Отрочество“... 18-го октября Левъ Н—чъ

составилъ планъ „Кавказскаго разсказа“ (вышедшаго впослѣдствіи въ свѣтъ подъ заглавіемъ „Казаки“) 19-го ноября онъ уже думаетъ о 3-й части „Дѣтства“ и „Отрочества“,— „Юности“... Всѣ эти произведенія, *представляя собою описаніе лично пережитаго,—результатъ собственнаго внутренняго опыта и наблюденія въ гораздо большей степени, чѣмъ плодъ свободной фантазіи творческаго духа,* тѣмъ не менѣе поражаютъ рѣдкою самостоятельностью“.

Здѣсь для насъ любопытны и хронологическія указанія, почерпнутыя изъ „Дневника“, и самый отзывъ Левенфельда о первыхъ произведеніяхъ Толстого,— отзывъ, указывающій на субъективное и автобіографическое ихъ происхожденіе. 1852-й годъ былъ эпохою въ жизни Толстого: въ этомъ году пробудился его творческій геній, и свидѣтельство Левенфельда показываетъ намъ, какія задачи прежде всего представились уму и фантазіи молодого художника. Это были задачи *самосознанія, художественнаго самоопредѣленія.* Съ этомъ отношеніи начало дѣятельности Толстого рѣзко отличаются отъ первыхъ серіозныхъ (юношескія, незрѣлыя произведенія въ счетъ не идутъ) опытовъ Пушкина, Гоголя, Тургенева и отчасти сближается съ началомъ творчества Лермонтова и Гончарова, писателей, отличающихся, подобно Толстому, преобладаніемъ субъективнаго направленія художественныхъ силъ. Когда Пушкинъ писалъ „Руслана и Людмилу“ и „Кавказскаго плѣнника“, Гоголь — свои первыя повѣсти, Тургеневъ — „Записки Охотника“, ими двигала потребность отлить въ художественные образы извѣстную сумму впечатлѣній и идей, не имѣющихъ прямого отношенія къ личности самого автора, и задача самосознанія не вставала передъ ними. У Толстого пробужденіе потребности творить было вмѣстѣ съ тѣмъ и стремленіемъ проникнуть въ свою душу, изучить и изобразить свою собственную личность въ ея развитіи и ея состояніи въ данный моментъ. Вотъ и посмотримъ, какъ была выполнена эта задача.

Изображеніе себя самого, исторія своего душевнаго развитія у Толстого неразрывно связаны съ „семейной хроникой“ и воспроизведеніемъ бытовой психологіи той среды, къ которой онъ принадлежитъ. Какъ увидимъ ниже, это не просто „художественный пріемъ“, это — необходимая постановка во-

проса, обусловленная основными свойствами таланта и самой натуры Толстого. Разработка „семейной хроники“ въ трехъ автобіографическихъ повѣстяхъ представляетъ нѣкоторыя особенности, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе.

Изъ книги Левенфельда и статьи проф. Загоскина мы узнаемъ, что отецъ нашего писателя, Николай Ильичъ Толстой *(Николай Ильичъ Ростовъ* „Войны и мира“) овдовѣлъ въ 1830 г., „когда Льву Н—чу истекалъ всего лишь второй годъ“ (Загоск., стр. 84). Семь лѣтъ спустя (1837) умеръ и графъ Николай Ильичъ. Тогда Л. Н. было 9 лѣтъ. Осиротѣвшая семья (опекуншей которой была графиня Остенъ-Сакенъ) переселилась въ Москву, гдѣ воспитаніемъ дѣтей завѣдовали нѣмецъ Ѳ. И. Россель и французъ St.-Thomas.

Вотъ именно изображеніемъ нѣмца-учителя и начинается повѣсть „Дѣтство“, гдѣ онъ названъ Карломъ Ивановичемъ. Только здѣсь дѣйствіе перенесено въ деревню. Конечно, отъ этой перестановки глава о „Карлѣ Ивановичѣ“ и вся фигура добраго нѣмца не перестаютъ быть Wahrheit. Но уже со второй главы („Maman“), несомнѣнно, начинается Dihtung. Въ этой главѣ изображена мать разсказчика, которой, какъ мы только что видѣли, Толстой помнить не могъ. Я предполагаю, что онъ, по воспоминаніямъ другихъ лицъ, по семейнымъ преданіямъ, хотѣлъ силою воображеніи возстановить невѣдомый образъ своей матери. Вѣроятно молодой художникъ долго всматривался въ ея портретъ, страстно желая представить себѣ ее живою и вообразить себя ребенкомъ, согрѣтымъ ничѣмъ незамѣнимой материнской любовью, которую извѣдать ему не было дано. Перечитайте со вниманіемъ тѣ страницы „Дѣтства“, гдѣ идетъ рѣчь о „maman“, и вы легко замѣтите, что этотъ образъ какъ бы подернутъ туманомъ, онъ — не портретъ живого человѣка, онъ — почти видѣніе, блѣдный призракъ, вызванный изъ загробнаго міра. Молодой писатель „смутно видѣлъ“ этотъ призракъ „сквозь слезы воображенія“ (гл. II). Онъ, конечно, могъ бы отряхнуть эти слезы и, давъ волю фантазіи, создать совершенно новый образъ, поставить на вакантное мѣсто другую женщину, назвавъ ее своей „maman“. Но въ данномъ случаѣ молодой писатель не чувствовалъ внутренняго влеченія къ этого рода „Dichtung“. Здѣсь наглядно подтверждается истина, гласящая, что художникъ, въ своемъ творчествѣ, прежде всего стремится

удовлетворить извѣстнымъ, строго опредѣленнымъ, въ данное время заявляющимъ о себѣ потребностямъ своего ума и чувства. Изъ такихъ потребностей вытекаетъ постановка художественной задачи. Создаваемый образъ является ея рѣшеніемъ. Въ повѣсти „Дѣтство“ Толстымъ руководила именно потребность узнать свою мать, постигнуть ея душу, почувствовать ея не осуществившуюся материнскую ласку и любовь. Художественная задача, обусловленная этимъ живымъ душевнымъ стремленіемъ, приводила къ необходимости перейти отъ Wahrheit мемуаровъ къ тому роду творчества, который такъ свойственъ генію Толстого и состоитъ въ созданіи образовъ, повидимому, объективныхъ, на самомъ же дѣлѣ основанныхъ на анализѣ собственныхъ ощущеній автора. Но въ данномъ случаѣ эти ощущенія были, такъ сказать, *отрицательными* психологическими величинами: это было ощущеніе какого-то пробѣла въ душѣ, сознаніе пустоты въ томъ мѣстѣ душевнаго обихода, гдѣ должны были бы сохраняться живые слѣды материнской любви. Стремясь заполнить этотъ пробѣлъ, молодой художникъ углубляется въ анализъ своего внутренняго міра и старается заставить трепетать ту струну, которая у него, не помнившаго матери, никогда не трепетала. Насколько это удалось Толстому въ повѣсти „Дѣтство?“ Самое выдающееся мѣсто, сюда относящееся, это глава XV. „Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, не лелѣять воспоминаній о ней?...“ — такъ начинается эта глава, въ которой Толстой, видимо, хотѣлъ растолковать самому себѣ всю непосредственную глубину и красоту любви ребенка къ матери и матери—къ своему дитяти. „Чувствуешь, бывало, впросонкахъ, что чья-то нѣжная рука трогаетъ тебя; по одному прикосновенію узнаешь ее, и еще во снѣ невольно схватишь эту руку и крѣпко-крѣпко прижмешь ее къ губамъ. Всѣ уже разошлись; одна свѣча горитъ въ гостиной; maman сказала, что она сама разбудитъ меня; это она присѣла на кресло, на которомъ я сплю, своею чудесною нѣжною ручкою провела по моимъ волосамъ, и надъ ухомъ моимъ звучитъ милый, знакомый голосъ: — Вставай, моя душечка, пора итти спать.—Ничьи равнодушные взоры не стѣсняютъ ея; она не боится излить на меня всю свою нѣжность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крѣпче цѣлую ея руку.—Вставай же, мой ангелъ!—Она другою ру-

кою беретъ меня за шею, и пальчики ея быстро шевелятся и щекотятъ меня. Въ комнатѣ тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробужденіемъ; мамаша сидитъ подлѣ самого меня; она трогаетъ меня; я слышу ея запахъ и голосъ. Все это заставляетъ меня вскочить, обвить руками ея шею, прижать голову къ ея груди и, задыхаясь, сказать: — Ахъ, милая, милая мамаша, я какъ тебя люблю!—Она улыбается своею грустной, очаровательной улыбкой, беретъ обѣими руками мою голову, цѣлуетъ меня въ лобъ и кладетъ къ себѣ на колѣни.—Такъ ты меня очень любишь? — Она молчитъ съ минуту, потомъ говоритъ:—Смотри, люби меня, никогда не забывай. Если не будетъ твоей мамаши, ты не забудешь ея?... Не забудешь, Николенька?—Она еще нѣжнѣе цѣлуетъ меня. — Полно! и не говори этого, голубчикъ мой, душечка моя!—вскрикиваю я, цѣлуя ея колѣни; и слезы ручьями льются изъ моихъ глазъ, — слезы любви и восторга".

Я нарочно привелъ все это мѣсто цѣликомъ: оно представляется мнѣ своего рода пробнымъ камнемъ для нѣкоторыхъ сторонъ художественнаго дарованія Толстого. Приведенная страница едва ли можетъ считаться удавшейся въ художественномъ отношеніи: на этотъ разъ Толстому не удалось „схватить" здѣсь то, что онъ хотѣлъ „схватить", и поймать его тамъ, гдѣ оно—по выраженію Гёте—„интересно". Много разъ—въ видѣ опыта—перечитывалъ я эту страницу, и всегда оставался холоднымъ. А между тѣмъ, она, повидимому, и разсчитана на то, чтобы тронуть читателя, чтобы вызвать живое чувство поэзіи дѣтства, любви дѣтской и материнской. Очевидность такого намѣренія и отсутствіе соотвѣтственнаго эффекта производитъ впечатлѣніе антихудожественное. Иная неудачная въ художественномъ отношеніи страница можетъ, такъ сказать, сойти съ рукъ и не выдать себя, если останется незамѣченнымъ тотъ фактъ, что авторъ „старался", подбиралъ краски, напрягалъ свое воображеніе. Въ данномъ-же случаѣ это-то и замѣтно: ясно виденъ сочиняющій авторъ, сознательно подбирающій подходящія черты для изображенія душевныхъ состояній, которыхъ онъ не испыталъ. Чтобы это стало очевиднѣе, достаточно вспомнить ту сцену въ „Аннѣ Карениной", гдѣ изображено свиданіе Анны съ сыномъ. Вотъ страница, которую нельзя читать безъ глубокаго душевнаго

потрясенія,—вотъ тѣ „рѣчи“ на тему о материнской и дѣтской любви, которымъ „безъ волненія внимать невозможно“. И притомъ—полное отсутствіе какихъ бы то ни было слѣдовъ преднамѣренности: потрясающій эффектъ подкрадывается незамѣтно и застаетъ читателя врасплохъ.

Этотъ поразительный контрастъ между изображеніемъ материнскаго и дѣтскаго чувства въ „Дѣтствѣ“ и его изображеніемъ въ „Аннѣ Карениной“ былъ обусловленъ не тѣмъ, что талантъ Толстого окрѣпъ и развился, а тѣмъ, что художнику стало доступно чувство, котораго онъ не вѣдалъ раньше, въ то время когда писалъ „Дѣтство“. Материнскую любовь мужчина постигаетъ двумя путями: по воспоминаніямъ дѣтства и черезъ посредство отцовскаго чувства. Второй путь гораздо важнѣе перваго: преданія дѣтства съ лѣтами забываются, и гаснутъ тѣ чувства, которыми нѣкогда была переполнена душа ребенка. Образъ матери все дальше и дальше отодвигается въ глубь прошлаго, все гуще и гуще заволакиваетъ его туманомъ забвенія. Но великій художникъ, какъ Толстой, все-таки, сумѣлъ бы, силою творческаго воображенія, разсѣять этотъ туманъ, оживить угасшія чувства и воскресить полузабытый образъ, если бы только онъ когда-либо зналъ ихъ. Но этого-то условія, какъ извѣстно, и не было, и вотъ почему въ повѣсти „Дѣтство“ такъ блѣдны, такъ художественно-безсильны страницы, посвященныя „maman“, вотъ почему онѣ отмѣчены всѣми признаками сочиненности, искусственнаго головного построенія. Авторъ, нанизывая черты за чертами и повторяя до утомительности одно и то же въ различныхъ комбинаціяхъ (она сидитъ возлѣ меня, я слышу ея запахъ и голосъ, она улыбается мнѣ, я цѣлую ея руку и т. д.), видимо, самъ ищетъ живого художественнаго представленія и, несмотря на всѣ поиски, не находитъ его. Зато, впослѣдствіи, когда Толстой, ставъ семьяниномъ, извѣдалъ чувства мужа и отца и черезъ ихъ посредство постигъ материнскую любовь и душевный міръ ребенка, цѣликомъ построенный на органической привязанности къ матери, тогда ему уже не нужно было искать и „расписывать“,—достаточно было только разсказать, какъ вошла Анна Каренина въ комнату сына, какъ ребенокъ проснулся и, потягиваясь, полусонный, прильнулъ къ матери, — заставить Анну сказать: „милый Кутикъ!“ да поставить въ две-

ряхъ фигуру растроганнаго и растерявшагося гувернера, и художественное „слово“ было „найдено“, была написана одна изъ самыхъ изумительныхъ, одна изъ самыхъ безсмертныхъ страницъ во всемірной литературѣ.

За исключеніемъ „maman“, всѣ прочіе, важнѣйшіе образы въ трехъ автобіографическихъ повѣстяхъ являются какъ бы первыми эскизами или набросками той кисти, которая впослѣдствіи напишетъ великолѣпныя, во весь ростъ, фигуры бытовыхъ типовъ „Войны и мира“ и „Анны Карениной“. Сюда принадлежатъ: отецъ разсказчика, его бабушка, братъ Володя, знакомые изъ общества, а также и лица другихъ состояній, входящія въ обиходъ домашней помѣщичьей жизни, какъ учитель Карлъ Ивановичъ, Мими, Наталья Саввишна. Эти фигуры, хотя и не достигаютъ той высоты художественности, на которой стоятъ бытовые типы „Войны и мира“ и „Анны Карениной“, тѣмъ не менѣе являются образами съ опредѣленной, ярко очерченной физіономіей и значительной типичностью. Для изображенія этихъ лицъ Толстой имѣлъ въ своемъ распоряженіи „натуру“, и всѣ они входили такъ или иначе въ сферу его внутренняго опыта. Въ этомъ отношеніи любопытно слѣдующее свидѣтельство Левенфельда: „Теперь, когда мы знаемъ, что онъ лишился отца и матери въ... нѣжномъ возрастѣ... мы должны признать въ родителяхъ и бабушкѣ Иртеньева произведенія художественнаго творчества, въ созданіи которыхъ свободная фантазія и наблюденія надъ широкимъ кругомъ лицъ принимали одинаковое участіе... Такъ какъ Толстой не зналъ своего отца, то онъ избралъ, до извѣстной степени, въ качествѣ образца, другого пожилого человѣка изъ круга своихъ знакомыхъ: дядя его будущей супруги со стороны матери послужилъ ему образцомъ для отца Иртетьева, а Мими въ „Дѣтствѣ“ Толстой срисовалъ съ дамы, бывшей гувернанткой въ домѣ этого самаго дяди, съ воспитательницы тещи Толстого“ (48—49).

Здѣсь представляютъ интересъ фактическія свѣдѣнія, но мысль, что образы родителей Иртеньева были созданы путемъ свободной фантазіи и наблюденій надъ широкимъ кругомъ лицъ, требуетъ, на мой взглядъ, нѣкоторыхъ оговорокъ. Фигура отца Иртеньева была списана съ опредѣленной личности, которая тутъ уже и указана. Что касается матери, то выше очерченный характеръ этого образа не позволяетъ

думать, чтобы онъ могъ быть полученъ путемъ наблюденія. Въ его созданіи участвовала одна только „свободная фантазія“, дѣйствовавшая на этотъ разъ почти апріорно,— оттого-то образъ и вышелъ такимъ блѣднымъ. Вообще, роль этихъ двухъ элементовъ, свободной фантазіи и наблюденій надъ *широкимъ* кругомъ лицъ, едва ли была значительною въ началѣ дѣятельности Толстого, въ особенности когда онъ писалъ „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“. Кругъ его наблюденій по необходимости ограниченъ тогда сравнительно узкими предѣлами его родни и той части великосвѣтской среды, въ которой онъ вращался. Правда, къ той же эпохѣ относятся и нѣкоторыя наблюденія надъ извѣстными типами изъ другихъ классовъ (напр. студенты изъ разночинцевъ въ „Юности“), а также надъ народной жизнью („Утро помѣщика“ и „Казаки“). Но эти наблюденія были только первыми попытками выйти изъ заколдованнаго круга узкихъ, семейно-кружковыхъ впечатлѣній. Нѣкоторыя изъ этихъ попытокъ привели къ блистательнымъ результатамъ; сюда прежде всего нужно отнести великолѣпные типы „Казаковъ“ (дядя Ерошка, Лукашка, Маріанка и др.). Но всѣ образы, сюда относящіеся, начиная со студентовъ-разночинцевъ въ „Юности“, носятъ на себѣ ясные слѣды того, что художникъ, ихъ писавшій, принадлежитъ къ другому, именно великосвѣтскому кругу, что онъ смотритъ на Божій міръ глазами аристократа, и самъ, чувствуя узкость и негуманность этой точки зрѣнія, борется съ нею, старается сбросить съ себя эти очки и взглянуть на людей и вещи съ иной, высшей и болѣе человѣчной точки зрѣнія. Не всегда это ему удается, и тамъ, гдѣ наименѣе удается, этотъ протестъ, эта борьба съ самимъ собою сказывается ярче и сами по себѣ являются предметомъ художественнаго воспроизведенія. Въ этомъ отношеніи очень характерна глава XXXI „Юности“, озаглавленная „Comme il faut“. Этимъ терминомъ Толстой обозначилъ одно изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ ему воспитаніемъ и обществомъ, въ силу котораго онъ дѣлилъ всѣхъ людей „на comme il faut и на comme il ne faut pas“; „второй родъ подраздѣлялся на людей собственно не comme il faut и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ — притворялся, что презираю, но въ сущности не-

навидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали,— я ихъ презиралъ совершенно". „Главное зло,— читаемъ далѣе,— состояло въ убѣжденіи, что comme il faut есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ comme il faut, что, достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняетъ свое назначеніе и даже становится выше большой части людей". Сознать, что это — зло, и стараться освободиться отъ него — это, конечно, первый шагъ къ той элементарной, по крайней мѣрѣ, внутренней свободѣ, которая безусловно необходима художнику. Но не такъ-то легко въ самомъ дѣлѣ ее завоевать. Протестуя противъ точки зрѣнія comme il faut, Толстой въ „Юности" фактически рисуетъ разночинцевъ именно съ этой точки зрѣнія: она сквозитъ въ самомъ способѣ изображенія, всѣ эти Оперовы, Семеновы и прочіе появляются въ полѣ зрѣнія читателя какъ разъ въ той же постановкѣ и такомъ же освѣщеніи, какъ и въ глазахъ самого героя comme il faut: герой, а за нимъ и читатель смотритъ на нихъ, какъ на куріозные образчики изъ какого-то особаго міра, какъ на экземпляры, выхваченные изъ массы напоказъ, которые скоро сливаются опять въ безразличную кучу, утрачивая свои индивидуальные признаки,— Семеновъ смѣшивается съ Оперовымъ, Оперовъ съ Иконинымъ, и отъ нихъ остается только общее впечатлѣніе, родъ запаха, что они не comme il faut.

Есть, конечно, разные пути, ведущіе къ освобожденію отъ этой узкой и негуманной точки зрѣнія на людей, столь вредной вообще, а для художника — въ частности, напримѣръ путь внутренней переработки своего духовнаго содержанія черезъ усвоеніе широкихъ идей и человѣчныхъ стремленій, путь фактическаго ознакомленія съ жизнью и психологіей людей другихъ слоевъ. Этими путями и шелъ Толстой въ началѣ своей дѣятельности и достигъ значительнсй степени внутренней свободы, давшей ему возможность изобразить въ „Казакахъ" народные типы съ глубокою художественною правдою и такъ, что читатель уже не забудетъ этихъ образовъ и не смѣшаетъ дядю Ерошку съ Лукашкой и Лукашку съ Назаркой. Но, какъ увидимъ ниже, и тутъ Толстому — въ лицѣ Оленина — не удалось вполнѣ отвлечься отъ „ветхаго

человѣка“ и вытравить въ себѣ спаціально-аристократическую основу въ отношеніяхъ къ людямъ и жизни вообще. Другой путь къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ въ области внутренней свободы открывался передъ нимъ. Это былъ путь болѣе широкихъ наблюденій и болѣе глубокаго изученія той самой среды, которая ограничивала его свободу, развивъ въ немъ исключительную точку зрѣнія на людей, привычку ко злу „comme il faut“. Нужно было взять быка за рога. Дѣло въ томъ, что и въ великосвѣтской средѣ, какъ и во всякой другой, есть свой „міръ“ и свой „міркъ“. Отличительныя черты, привычки, точки зрѣнія и пр., принадлежащія средѣ, сильнѣе выражаются и получаютъ особливо-уродливое развитіе въ ея „міркѣ“ и, наоборотъ, въ значительной степени стушевываются и парализуются, перекрещиваясь другими бытовыми продуктами той же сословной психологіи,—въ ея „мірѣ“. Это различіе проявляется съ наибольшею силою въ тѣхъ классахъ, которые играютъ или играли извѣстную историческую роль и были ареною различныхъ умственныхъ движеній. Возьмите, напримѣръ, какой-нибудь уголокъ западно-европейской буржуазной жизни: обыватели этого уголка, хотя бы они и не были проникнуты крайними буржуазными стремленіями или идеалами, непремѣнно будутъ отражать въ себѣ черты сословной узкости, мѣщанскихъ предразсудковъ въ гораздо большей мѣрѣ и въ болѣе уродливой формѣ, чѣмъ тотъ „буржуа“, который живетъ болѣе широкой жизнью своего класса и, соприкасаясь съ различными теченіями этой жизни, находитъ въ массѣ психическихъ продуктовъ, приносимыхъ и уносимыхъ этими теченіями, и такіе, которые могутъ ему послужить противоядіемъ противъ узкости его же сословной психологіи. Явленіе это гораздо сложнѣе, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Помимо различныхъ вліяній умственнаго и нравственнаго порядка, дѣйствующихъ на личность въ широкомъ „мірѣ“ его класса и отсутствующихъ въ „міркѣ“, здѣсь дѣйствуютъ еще особые, пока мало изученные, психическіе процессы, именно тѣ, которые развиваются въ общеніи личности съ ея средою и опредѣляютъ собою, то, что можно назвать *общественнымъ самочувствіемъ* человѣка. Въ „міркѣ“ сословныя черты этого самочувствія выступаютъ ярче и уродливѣе, чѣмъ въ „мірѣ“. Въ широкой классовой средѣ, населенной *массою* представителей того же

классоваго типа, спеціальныя черты сословной психологіи отвлекаются отъ индивидуумовъ въ массѣ, и личность въ извѣстной мѣрѣ освобождаясь отъ нихъ, въ той же мѣрѣ становится человѣчнѣе; напротивъ, въ узкой средѣ, наполненной сравнительно небольшимъ числомъ представителей класса, эти черты, не отвлекаемыя притяженіемъ сословной массы, тѣмъ рѣзче проявляются въ отдѣльныхъ личностяхъ. Въ этомъ отношеніи явленія сословной психологіи должны быть отличаемы отъ другихъ коллективныхъ психическихъ процессовъ, которыхъ сила и интенсивность возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ массы индивидуумовъ, являющихся носителями этихъ процессовъ. Паника или, наоборотъ, отвага тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше толпа. То же самое думаю, относится къ умственнымъ явленіямъ: большая толпа дураковъ глупѣе небольшой кучки тѣхъ же дураковъ. Но другое дѣло черты сословной психологіи, а также, нужно прибавить, и національной. Психологически онѣ — форма, а не содержаніе. Это какъ бы та рамка, въ которую вкладывается индивидуальное содержаніе личности. Въ общеніи личности съ массою, въ живомъ взаимодѣйствіи большого числа лицъ той же психологической формы, сословной или національной, затрогивается преимущественно содержаніе, а не форма: люди обмѣниваются мыслями, чувствами, сталкиваются характерами, темпераментами, сходятся и расходятся во взглядахъ, вѣрованіяхъ, убѣжденіяхъ,— а своихъ формальныхъ, сословныхъ или національныхъ чертъ даже не чувствуютъ, какъ не чувствуемъ мы воздуха или собственнаго тѣла, пока оно здорово. Поэтому, эти формальные элементы не выступаютъ наружу съ той назойливостью, какъ это бываетъ въ тѣсныхъ сословныхъ кругахъ, гдѣ обмѣнъ содержаніемъ скуднѣе, или въ національныхъ группахъ, замкнутыхъ въ узкой обособленной жизни и характеризующихся тѣмъ, что у нихъ содержаніе сливается съ формою, что онѣ не способны вложить въ свою національную форму новое содержаніе идей, стремленій, нравовъ, вѣрованій, вкусовъ. Тогда формально-психологическіе элементы выступаютъ вмѣстѣ съ содержаніемъ наружу, проникаютъ въ сознаніе и даютъ въ результатѣ въ одномъ случаѣ сословную обособленность и узкость, въ другомъ — національную исключительность, въ обоихъ — негуманный, чуждый человѣчности и широты укладъ духа.

Послѣ этихъ соображеній мы поймемъ, насколько необходимо было Толстому, какъ художнику и, добавимъ, какъ человѣку, перейти отъ узкой сферы великосвѣтскаго кружка къ наблюденіямъ надъ цѣлымъ „міромъ“ великосвѣтской жизни въ ея различныхъ теченіяхъ и проявленіяхъ, во всемъ разнообразіи вырабатываемыхъ ею характеровъ и умовъ, — какъ изображена она въ „Войнѣ и мирѣ“ и „Аннѣ Карениной“.

Здѣсь же у насъ на очереди анализъ тѣхъ образовъ, въ которыхъ Толстой воплотилъ свою художественную автобіографію. Этотъ анализъ прежде всего раскроетъ то броженіе душевныхъ силъ, ту внутреннюю ломку, чрезъ которыя прошелъ геній Толстого — въ своемъ стремленіи сбросить съ себя гнетъ сословной психологіи и завоевать ту долю внутренней свободы, какая была безусловно необходима для того, чтобы художникъ могъ выступить на только что указанный путь широкихъ наблюденій и объективнаго творчества.

Эта внутренняя борьба и ломка были тѣсно связаны у Толстого съ процессомъ самоанализа и вопросомъ самосознанія, къ разсмотрѣнію которыхъ и перейдемъ теперь.

Въ связи съ субъективизмомъ и эмпиризмомъ, которыми такъ ярко отличается геній Толстого, находится, какъ отпрыскъ этого основного уклада, то, что можно назвать „эгоцентризмомъ“ въ искусствѣ: художественная пытливость прежде всего обращается къ личности самого художника, какъ объекту ближайшему и наиболѣе доступному для эмпирическаго изученія.

Эгоцентрическое направленіе творчества и тѣсно связанный съ нимъ самоанализъ занимаютъ первенствующее мѣсто въ раннихъ произведеніяхъ Толстого. Сюда прежде всего относятся въ „Дѣтствѣ“, „Отрочествѣ“ и „Юности“ фигуры разсказчика Николая Иртеньева и его друга, князя Нехлюдова. Что эти два образа представляютъ собою художественное воспроизведеніе собственной личности автора, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія для всякаго, кто сколько-нибудь вдумчиво читалъ Толстого. Только ради полноты приведу относящіяся сюда указанія Левенфельда. „Безъ опасенія смѣшать правду съ вымысломъ“, говоритъ онъ, „можно въ Николаѣ Иртеньевѣ... видѣть самого Толстого въ годы юности“ (стран. 28). На стран. 41-й, замѣчая, что „источникъ перваго произведенія Толстого — стремленіе къ при-

знаніямъ", Левенфельдъ указываетъ и на то, что князь Нехлюдовъ есть alter ego Николая Иртеньева. „Иртеньева и Нехлюдова" — поясняетъ онъ далѣе, стран. 57, „можно разсматривать, какъ двѣ части болѣе высокаго единства, воплощеннаго въ самомъ Толстомъ".

Нѣтъ надобности приводить здѣсь образчики превосходнаго художественнаго анализа, впервые произведеннаго Толстымъ въ этихъ первыхъ его повѣстяхъ и направленнаго преимущественно на психію самого автора въ разныя эпохи его развитія. Пусть читатель припомнитъ или перечитаетъ тѣ страницы, гдѣ такъ мѣтко и тонко разбираются различныя душевныя состоянія разсказчика, гдѣ такъ правдиво раскрывается его внутренній міръ. Укажу здѣсь только на слѣдующія двѣ важныя и характерныя черты.

Первая состоитъ въ томъ, что психологія ребенка, отрока и юноши, изображенная въ трехъ автобіографическихъ опытахъ Толстого, не есть психологія обобщеннаго, общечеловѣческаго ребенка, отрока и юноши, а самымъ тѣснымъ образомъ пріурочена къ средѣ, національной почвѣ и эпохѣ: это спеціально психологія русской, великосвѣтской, помѣщичьей среды, прослѣженная въ трехъ возрастахъ. Бытовой колоритъ данъ не только въ обстановкѣ, во внѣшнихъ проявленіяхъ и въ способѣ выраженія душевныхъ состояній, которыя въ существѣ своемъ остаются, конечно, человѣческими вообще, но онъ внесенъ, если можно такъ выразиться, въ самый механизмъ этихъ душевныхъ состояній, — и въ силу такой окраски эти послѣднія, не переставая быть общечеловѣческими, вызываютъ въ читателѣ особливый интересъ не къ своей общечеловѣческой основѣ, а къ своей бытовой окраскѣ. Въ „Дѣтствѣ" и „Отрочествѣ" наше заинтересованное вниманіе сосредоточивается спеціально на психологіи „барчука", въ „Юности" — на психологіи молодого человѣка comme il faut. Въ этомъ отношеніи три автобіографическія повѣсти приближаются къ типу настоящихъ мемуаровъ и бытовыхъ картинъ: это въ тѣсномъ смыслѣ *великосвѣтскіе* очерки. Тутъ, въ самомъ началѣ дѣятельности Толстого, ярко обнаружился его субъективизмъ и эмпиризмъ. Художники объективнаго склада, художники-наблюдатели, какъ Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ, могутъ, сколько угодно, наряжать своихъ героевъ въ національный костюмъ и пріуро-

чивать ихъ къ опредѣленной, строго-ограниченной въ пространствѣ и времени, почвѣ, но изъ-подъ національнаго, сословнаго, историческаго и всякаго иного обличья душевныя движенія этихъ героевъ, ихъ характеры и натуры выступаютъ въ той широкой и мощной обобщенности, которая ихъ дѣлаетъ типичными для человѣка вообще, для человѣчества. У Толстого, въ его раннихъ произведеніяхъ преимущественно, а въ послѣдующихъ въ большей или меньшей мѣрѣ, сословное обличье и великосвѣтская психологія героевъ не только служатъ средствомъ придать образамъ необходимую для осуществленія художественнаго эффекта конкретность, но вмѣстѣ съ тѣмъ входятъ въ составъ того содержанія, которое ими апперцепируется. Поэтому на читателя изъ другой среды его первыя произведенія и многое въ послѣдующихъ производятъ впечатлѣніе чего-то чуждаго, не своего, чего-то сословнаго, спеціально великосвѣтскаго. Для всякаго читателя изъ какой бы то ни было среды, если только онъ человѣкъ образованный и имѣетъ достаточный опытъ жизни, Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ — „свой братъ“ и сразу кажутся чѣмъ-то близкимъ, роднымъ; Толстой сперва кажется чуждымъ, не своимъ — и только вчитавшись и вникнувъ въ него, только подчинившись обаянію его генія, читатель принимаетъ его въ число „своихъ“, въ число художниковъ-учителей и друзей человѣчества.

Вторая, очень важная и уже чисто личная, а не бытовая, черта, которую мы должны отмѣтить въ трехъ расматриваемыхъ повѣстяхъ, состоитъ въ слѣдующемъ: здѣсь уже обнаруживается та сторона въ натурѣ Толстого, которая впослѣдствіи займетъ видное мѣсто въ его художественномъ творчествѣ и, наконецъ, обособившись отъ него, выразится въ его дѣятельности, какъ мыслителя и моралиста. Это именно его неудержимое, какъ бы органическое влеченіе, съ одной стороны, къ такъ называемымъ „проклятымъ“ вопросамъ, съ другой — и въ особенности — къ выработкѣ нравственнаго міровоззрѣнія, даже нравственной догмы. „Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ, моральную жизнь“, читаемъ въ XIX гл. „Отрочества“, „всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ; и дѣтскій слабый умъ мой

со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую степень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему".

Въ 50-хъ и даже 60-хъ годахъ эти строки и слѣдующее за ними описаніе головоломныхъ метафизическихъ упражненій героя могли казаться читателямъ продуктомъ чисто объективныхъ замысловъ художника. Непосредственно вслѣдъ за приведеннымъ мѣстомъ читаемъ: „мнѣ кажется, что умъ человѣка въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ проходитъ въ своемъ развитіи по тому же пути, по которому онъ развивается и въ цѣлыхъ поколѣніяхъ; что мысли, служившія основаніемъ различныхъ философскихъ теорій, составляютъ нераздѣльныя части ума; но что каждый человѣкъ болѣе или менѣе ясно сознавалъ ихъ еще прежде, чѣмъ зналъ о существованіи философскихъ теорій". Несмотря на нѣкоторую неясность выраженія въ послѣдней фразѣ, мы все-таки улавливаемъ мысль автора, которая будетъ совершенно вѣрна, если вмѣсто словъ „въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ" поставимъ „въ мыслящемъ человѣкѣ": не всѣ способны задаваться и мучиться отвлеченными вопросами, — большинство живетъ, не мудрствуя лукаво; взять хотя бы брата разсказчика, Володю, для него вовсе не существуетъ этого „пути развитія". Какъ бы то ни было, но, прочитавъ эти строки, читатель 50-хъ или 60-хъ годовъ склоненъ былъ думать, что авторъ просто задался цѣлью — „показать это", „провести эту мысль" на примѣрѣ своего героя, который вслѣдствіе этого получаетъ гораздо больше интереса, чѣмъ напр., Володя, но зато теряетъ въ смыслѣ бытовой типичности: взятъ любопытный, но рѣдкій случай, — описанъ „казусъ" неожиданнаго пробужденія философскихъ стремленій въ молодомъ баричѣ, поставленномъ совершенно въ сторонѣ отъ тѣхъ круговъ, гдѣ эти стремленія такъ или иначе обнаруживались. Случай — всегда возможный въ дѣйствительности, эпизодъ — вполнѣ умѣстный въ мемуарахъ, фотографирующихъ дѣйствительность, но не подходящій для цѣлей художественности. Философскія упражненія Николая Иртеньева, какъ представлены они въ XIX гл. „Отрочества", и его моральныя стремленія, изображенныя въ „Юности", рисуютъ намъ любопытную картину пробужденія и первыхъ шаговъ мощнаго, но въ вы-

сокой степени своеобразнаго ума, отмѣченнаго большой склонностью къ рефлексіи и необыкновеннымъ даромъ анализа. Эта картина нисколько не характерна для мыслящей части того круга, къ которому принадлежитъ Ник. Иртеньевъ; она не можетъ быть также названа типичною для философствующей части человѣчества вообще. Она характерна только для Л. Н. Толстого. Теперь, послѣ всего, что написалъ Толстой съ тѣхъ поръ, въ особенности послѣ статей IV тома, послѣ „Исповѣди“ и сочиненій религіозно-философскихъ и этическихъ, мы уже не можемъ сомнѣваться въ томъ, что XIX глава „Отрочества“ и аналогичныя ей мѣста другихъ раннихъ повѣстей Толстого представляютъ собою не Dichtung, а самую подлинную Wahrheit. Эти страницы не принадлежатъ къ области искусства, это просто — глава изъ автобіографіи необыкновеннаго человѣка, который уже въ ранней молодости не удовлетворялся ходячими понятіями и силился собственнымъ умомъ рѣшить такъ называемые проклятые вопросы и выработать себѣ нормы высшей морали.

Для Толстого здѣсь характерна каждая мелочь. Напр., хотя бы слѣдующее мѣсто: „Отвлеченныя мысли образуются вслѣдствіе способности человѣка уловить сознаніемъ въ извѣстный моментъ состояніе души и перенести его въ воспоминаніе. Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развила во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня, а думалъ о томъ, о чемъ я думалъ. Спрашивалъ себя: о чемъ я думаю! — я отвѣчалъ: я думаю, о чемъ я думаю. А теперь о чемъ я думаю? — я думаю, что я думаю, о чемъ думаю, и т. д. Умъ за разумъ заходилъ...“ („Отроч.“, гл. XIX). Это были первыя пробы, это была ребяческая игра той мощной мысли, которая впослѣдствіи дастъ несравненные образцы психологическаго анализа. Подобно тому, какъ будущій великій изобрѣтатель уже въ дѣтствѣ начинаетъ упражнять свой даръ на игрушкахъ и другихъ вещахъ, разбирая и портя часы и т. д., какъ будущій великій полководецъ играетъ въ солдатики и выдумываетъ небывалые планы кампаній, мечтая о сраженіяхъ и побѣдахъ и т. п., такъ и будущій великій художникъ-психологъ въ отрочествѣ предавался головоломной — „игру-

шечной“ — работѣ рефлексіи, анализа собственныхъ мыслей и чувствъ. Это были первые — инстинктивные — взмахи крыльевъ орленка.

Какъ извѣстно, „Юность“ оканчивается указаніемъ на новый „моральный порывъ“, возникшій послѣ разныхъ ошибокъ, уклоненій отъ „правилъ жизни“, провала на экзаменахъ и т. д. „Оправившись, я рѣшился снова писать правила жизни и твердо былъ убѣжденъ, что я уже никогда не буду дѣлать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не измѣню своимъ правиламъ. Долго ли продолжался этотъ нормальный порывъ, въ чемъ онъ заключался и какія новыя начала положилъ онъ моему моральному развитію, я разскажу въ слѣдующей, въ болѣе счастливой половинѣ юности“. *Овсянико-Куликовскій.*

Постепенное измѣненіе жизни какъ неизбѣжное слѣдствіе метаморфозъ души — основная идея „Дѣтства и отрочества“.

Повѣсть „Дѣтство, отрочество и юность“ — если не самое первое произведеніе графа Толстого, то, во всякомъ случаѣ, одно изъ первыхъ. Писалась она въ продолженіе пяти лѣтъ, отъ 1852 до 1857 года, съ значительными, впрочемъ, перерывами, такъ какъ въ теченіе этого же времени начинающимъ тогда художникомъ были написаны и нѣкоторыя другія изъ его произведеній. Повѣсть эта, разсказанная отъ лица ея героя, изображаетъ жизнь русскаго человѣка помѣщичьей среды, начиная съ первыхъ воспоминаній дѣтства и кончая его юношескимъ возрастомъ. Судя по нѣкоторымъ словамъ автора, какъ бы нечаянно сорвавшимся у него въ повѣсти, можно думать, что у него былъ грандіозный планъ — прослѣдить жизнь человѣка до самой могилы, описать всѣ возрасты, какъ описалъ онъ дѣтство, отрочество и юность. Такъ, въ одномъ мѣстѣ онъ пишетъ: „Я убѣжденъ въ томъ, что ежели мнѣ суждено прожить до глубокой старости, и разсказъ мой догонитъ мой возрастъ“ и т. д. Если наше предположеніе вѣрно, то можно отъ души пожалѣть, что графъ Толстой не выполнилъ этого плана. Вышедшая изъ-подъ его пера книга человѣческой жизни, судя по на-

чалу ея, могла бы быть смѣлымъ и поучительнымъ раскрытіемъ правды этой жизни, особенно интереснымъ потому, что уже по самой задачѣ она должна бы представить всю эту правду, все содержаніе жизни отъ первыхъ проблесковъ сознанія и до потери его въ наступающемъ безсиліи смерти и вслѣдствіе этого должна-бы полно и законченно выразить воззрѣніе художника на жизнь.

Возвращаясь отъ этихъ несбывшихся возможностей къ дѣйствительности, мы прежде всего встрѣчаемся съ вопросомъ объ основной идеѣ или замыслѣ разсматриваемой повѣсти. Богатый бытописательный матеріалъ, заключающійся въ ней, а еще болѣе господствовавшія одно время въ нашей литературѣ обличительныя стремленія, заставили нѣкоторыхъ критиковъ видѣть центръ тяжести всей новѣсти въ изображеніи помѣщичьяго быта крѣпостной Россіи. Самый выборъ сюжета объяснялся желаніемъ показать тѣ условія, подъ вліяніемъ которыхъ неизбѣжно приходилось расти и развиваться въ извѣстный характеръ всякому ребенку привиллегированнаго класса нашего общества. Съ своей стороны мы охотно признаемъ, что всякій желающій, дѣйствительно, найдетъ въ повѣсти графа Толстого много характерныхъ чертъ изображаемаго времени и извѣстной общественной среды, что многія лица повѣсти, какъ, напримѣръ, отецъ Николая Иртенева, его бабушка, нѣмецъ-учитель — всѣмъ извѣстный Карлъ Ивановичъ, — нѣсколькими штрихами схваченная Наталья Савишна, Дубковъ, князь Нехлюдовъ, имѣютъ несомнѣнное значеніе типовъ, принадлежащихъ опредѣленному времени; но, несмотря на это, намъ кажется, что графъ Толстой писалъ свою повѣсть, подчиняясь иному творческому мотиву, что передъ нимъ стояла задача показать формирующуюся душу человѣка не въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ общественно-историческихъ условій, но въ зависимости отъ присущихъ ей законовъ развитія; что онъ хотѣлъ представить постепенное измѣненіе жизни, какъ послѣдствіе неизбѣжныхъ метаморфозъ души. Какъ реалистъ, онъ воплотилъ свою идею въ формы дѣйствительной жизни тогдашней (т.-е. до-реформенной) Россіи; какъ художникъ, онъ создалъ образы, исполненные правды и силы, образы, естественно поднимающіеся до значенія типовъ, но все это только необходимый для выраженія идеи матеріалъ, только канва, по

которой художникъ вышиваетъ узоры внутренней жизни человѣка. За такое предположеніе говоритъ прежде всего избранная авторомъ форма повѣсти. Форма эта, какъ извѣстно, автобіографическая. Для объективнаго изображенія быта эта форма самая неудобная, такъ какъ она ставитъ всегда между изображеніемъ и читателемъ личность разсказчика и заставляетъ постоянно считаться съ его характеромъ (если только разсказчикъ не безличное и безхарактерное *я*, чего нельзя, конечно, сказать про Николая Иртеньева).

Если же художникъ на первый планъ выдвигаетъ интересъ къ внутренней жизни человѣка, если его задача заключается въ изображеніи того или другого психическаго состоянія, то автобіографическая форма произведенія, напротивъ, является весьма цѣлесообразною, такъ какъ позволяетъ весь разсказъ обратить въ характеристику героя разсказчика. И графъ Толстой съ замѣчательнымъ искусствомъ воспользовался удобствами избранной имъ формы. Вчитайтесь въ языкъ, вслушайтесь въ тонъ, всмотритесь въ манеру разсказа въ отдѣльныхъ частяхъ повѣсти, соотвѣтствующихъ дѣтству, отрочеству и юности, и вы увидите, что въ первой — разсказъ этотъ дышитъ свѣжестью и наивною поэзіею дѣтскихъ впечатлѣній; во второй — вы уже чувствуете первыя вспышки еще несознанныхъ страстей и понятій, вносящихъ пока только какую-то смутную тревогу въ спокойный дотолѣ міръ дѣтской души; въ третьей — вы слышите разсказъ юноши, постоянно увлекающагося какой-нибудь идеей, постоянно стремящагося осуществить въ своемъ лицѣ того или другого героя и больше всего боящагося простоты и естественности жизни. Но не одна только форма повѣсти подтверждаетъ высказанную нами мысль объ ея основной задачѣ; къ тому же заключенію приводитъ и содержаніе ея, значительную долю котораго составляетъ никогда не покидаемый графомъ Толстымъ психологическій анализъ, направленный въ разбираемомъ произведеній на раскрытіе тѣхъ своеобразныхъ и забытыхъ уже нами душевныхъ состояній, которыми мы жили въ дѣтствѣ и юности.

Фабула повѣсти проста въ высшей степени. Можно даже сказать, что она вовсе отсутствуетъ, такъ какъ дѣйствіе повѣсти движется не сцѣпленіемъ какихъ-либо внѣшнихъ событій и обстоятельствъ, но естественнымъ процессомъ

роста ея героя. Поэтому и мы не будемъ слѣдить за ходомъ ея событій, а обратимся прямо къ тому достоинству, которое имѣетъ въ глазахъ автора каждый изъ описанныхъ имъ возрастовъ. — Самымъ гармоническимъ возрастомъ, самою счастливою порою въ изображеніи нашего художника является дѣтство. Въ душѣ ребенка не возникъ еще мучительный разладъ внутреннихъ противорѣчій, для него не настало еще время неизбѣжныхъ сомнѣній въ каждой привязанности, въ каждомъ чувствѣ; онъ радуется беззаботными и чистыми радостями, онъ любитъ полно и цѣльно, онъ жадно ловитъ еще новыя для него впечатлѣнія жизни. Все интересно для маленькаго Николеньки Иртеньева: и Карлъ Ивановичъ, котораго онъ уже умѣетъ любить, какъ сироту, какъ одинокаго человѣка; и папа, въ которомъ является ему безупречный образъ того, чѣмъ долженъ быть мужчина, и о возможности осужденія котораго ему не приходило въ голову еще ни одной мысли; и юродивый Гриша съ своими веригами и молитвами; и охота и лошади, которыхъ онъ зналъ въ подробности. Но на вершинѣ всѣхъ воспоминаній дѣтства, на недосягаемой высотѣ красоты и поэзіи стоитъ для него образъ матери. Въ образѣ этомъ графъ Толстой представилъ ту русскую женщину нашего обезпеченнаго дворянства — чистую, нѣжную, строгую къ самой себѣ, безгранично любящую и прощающую, — которая какимъ-то чудомъ явилась въ нашей жизни среди господствующей грубости и распущенности и которая въ наше болѣе „просвѣщенное“ время готова, кажется, отойти въ область преданія. Этотъ образъ матери замѣчателенъ еще и тѣмъ, что во всемъ творчествѣ графа Толстого это едва ли не единственная личность съ идеальнымъ характеромъ. Художникъ пощадилъ ее отъ разлагающаго дѣйствія своего анализа и, создавъ ее нѣсколькими легкими штрихами, окружилъ тѣмъ поэтическимъ сіяніемъ.

Сравнивая свое настоящее съ давно пережитою порою дѣтства, авторъ пишетъ: „Вернутся ли когда нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь еще въ дѣтствѣ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двѣ лучшія добродѣтели — невинная веселость и безпредѣльная потребность любви — были единственными побужденіями въ жизни? Гдѣ тѣ горячія молитвы?

Гдѣ лучшій даръ — тѣ чистыя слезы умиленія? Прилетѣлъ ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и напѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію. Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?“

Строки эти производятъ впечатлѣніе какой-то сознанной человѣкомъ утраты. Было что-то большое и прекрасное, мелькнуло въ дѣтствѣ и затѣмъ исчезло навсегда, оставивъ въ душѣ только воспоминаніе о какомъ-то блаженствѣ, о какомъ-то эдемѣ, изъ котораго изгнали тебя проснувшіяся страсти да развившійся разумъ.

Этотъ-то процессъ развитія и изображаетъ авторъ далѣе, описывая отрочество и юность, — изображаетъ съ присущею ему смѣлостью и правдою. „Случалось ли вамъ, читатель, въ извѣстную пору жизни вдругъ замѣчать, что вашъ взглядъ на вещи совершенно измѣняется, какъ будто всѣ предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвѣстною еще стороной? Такого рода моральная перемѣна произошла во мнѣ въ первый разъ во время нашего путешествія, съ которою я и считаю начало моего отрочества. Мнѣ въ первый разъ пришла мысль о томъ, что не мы одни, т.-е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего неимѣющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже неимѣющихъ понятія о нашемъ существованіи“...

Познакомился нашъ герой и съ чувствомъ ненависти (онъ ненавидѣлъ своего учителя — Жерома), и съ чувствомъ одиночества. Началась въ немъ и разрушительная работа мысли, словно на зло человѣку направляющаяся прежде всего на то, что для него наиболѣе дорого. „Я люблю отца, разсказываетъ Иртеньевъ, но умъ человѣка живетъ независимо отъ сердца и часто вмѣщаетъ въ себя мысли, оскорбляющія чувство, непонятныя и жестокія для него. И такія мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить ихъ, приходятъ мнѣ“.

Наконецъ, подростающей мысли нашего героя стали доступны и отвлеченные вопросы, и онъ сильно увлекался ими. „Дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности

старался уяснить тѣ вопросы, продолженіе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигать умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему". То ему приходила мысль, что счастье наше зависитъ отъ насъ самихъ и что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ не быть несчастливъ; — и вотъ, чтобы пріучать себя къ этимъ страданіямъ, онъ уходилъ въ чуланъ и, какъ маленькій факиръ, стегалъ себя веревкой по голой спинѣ такъ больно, что слезы невольно выступали на глазахъ; то вспоминалось ему, что его ежечасно ожидаетъ смерть и что поэтому нелѣпо заботиться о будущемъ, а нужно только пользоваться настоящимъ, — и онъ подъ вліяніемъ этой мысли бросилъ уроки и три дня „занимался только тѣмъ, что, лежа на постели, наслаждался чтеніемъ какого нибудь романа и ѣдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которые покупалъ на послѣднія деньги": то увлекался онъ скептицизмомъ и думалъ, что кромѣ него никого и ничего не существуетъ во всемъ мірѣ. „Были минуты, что я, пишетъ онъ, подъ вліяніемъ этой постоянной идеи, доходилъ до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался на противоположную сторону, надѣясь врасплохъ застать пустоту (néant) тамъ, гдѣ меня не было". Для насъ здѣсь интереснѣе всего тотъ общій выводъ, который дѣлаетъ авторъ о значеніи ума въ вопросѣ человѣческаго счастья. „Жалкая ничтожная, пружина моральной дѣятельности, — умъ человѣка!" читаемъ мы. „Слабый умъ мой не могъ проникнуть непроницаемаго, а въ непосильномъ трудѣ терялъ одно за другимъ убѣжденія, которыя, для счастья моей жизни, я никогда бы не долженъ былъ смѣть затрогивать. Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума ослабившей во мнѣ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность разсудка".

И такъ—вотъ жребій человѣка! Выше и выше поднимаясь по ступенямъ духовнаго развитія, полнѣе и полнѣе освобождая свое сознаніе отъ господства страстей и привычекъ, человѣкъ въ то же время дальше и дальше отходитъ отъ своего счастья. Для счастья нужна какая-либо святыня, какая-либо завѣтная область, нужно что-либо безусловно прекрасное и обязательное, а развившаяся и свободная мысль человѣка не знаетъ для себя преградъ, все дѣлаетъ предметомъ своего

анализа, въ силу природы вещей всюду находитъ пятна и тѣни, въ самой прекрасной дѣйствительности видитъ лишь слабое подобіе идеальнаго и, облетая жизнь человѣка, отнимаетъ у него одно за другимъ условія его счастья. Мысль эта, впрочемъ, не новая: еще Шекспиръ подмѣтилъ этотъ фатумъ, тяготѣющій надъ человѣческимъ духомъ, и далъ ему вѣчное выраженіе въ Гамлетѣ. Характерно только, что и графъ Толстой находитъ нужнымъ высказать эту же мысль.

Юность, по словамъ графа Толстого, начинается съ того времени, когда благородныя мысли и стремленія къ нравственному усовершенствованію, привившіяся прежде только уму, становятся доступными и чувству и находятъ для себя живой органъ въ сложившейся уже моральной природѣ недавняго ребенка. Сущность новаго настроенія нашего героя всего лучше выражается въ слѣдующемъ искреннемъ и сильномъ порывѣ: „какъ могъ я не понимать этого (что красота, счастье и добродѣтель легки и возможны для него), какъ дуренъ я былъ прежде, какъ я могъ бы и могу быть хорошъ и счастливъ въ будущемъ!“ говорилъ онъ самъ себѣ: — „надо скорѣй, скорѣй, сію же минуту сдѣлаться другимъ человѣкомъ и начать жить иначе.“ Всякій, у кого была юность не съ однимъ только разгуломъ физическихъ силъ, но и съ нравственнымъ содержаніемъ, вспомнитъ, что именно эти слова говорилъ онъ себѣ, что эти же образы красоты, счастья и добродѣтели манили его въ будущее и что внѣ ихъ онъ не понималъ и не хотѣлъ жизни... Но мы живемъ... А кто изъ насъ осуществилъ въ своей жизни эту красоту и счастье? Есть ли между нами даже такіе, у кого-бы потребность красоты не смѣнилась стремленіемъ къ комфорту, жажда счастья — исканіемъ пріятныхъ ощущеній, желаніе добродѣтели — необходимостью всепризнанной морали?... Какъ же свершается это паденіе жизни — не внѣшней жизни, которая всегда одинакова, а нашего внутренняго міра, нашей души?—Обратился къ повѣсти и посмотримъ, что вышло изъ стремленія юноши Иртеньева“ сдѣлаться другимъ человѣкомъ.

Стремленіе это выливается у Иртеньева въ цѣломъ рядѣ мечтаній. Такъ, передъ исповѣдью онъ мечталъ, что очистится отъ всѣхъ грѣховъ и больше не будетъ совершать поступковъ, которые теперь его мучатъ; мечталъ о томъ, что каждое воскресенье будетъ ходить въ церковь, что изъ

своихъ денегъ будетъ помогать бѣднымъ, что самъ будетъ прибирать свою комнату, чтобы не затруднить человѣка; мечталъ онъ и о томъ, какъ сдѣлается первымъ ученымъ въ Европѣ; мечталъ о томъ, какъ будетъ ходить глять на Воробьевы горы и встрѣтитъ тамъ *ее*. О ней, о воображаемой женщинѣ (которая была для него немножко Сонечка, немножко Маша, жена лакея, въ то время, кога она моетъ бѣлье въ корытѣ, и немножко женщина съ жемчугами на бѣлой шеѣ, которую онъ видѣлъ въ театрѣ), мечтаетъ онъ очень много; мечтаетъ онъ и о славѣ, о томъ, какъ люди будутъ знать и любить его, — и Богъ только знаетъ, о чемъ онъ не мечталъ тогда. Мечтанія эти не остаются безъ вліянія на его жизнь: такъ, вспомнивъ „одинъ стыдный грѣхъ“, который онъ утаилъ на исповѣди, онъ рѣшается ѣхать въ монастырь и исповѣдаться вторично. Эпизодъ этой поѣздки въ художественномъ отношеніи истинный шедевръ: графъ Толстой передаетъ его съ легкимъ оттѣнкомъ юмора, не мѣшающимъ ему отмѣтить и искреннее умиленіе юноши въ моментъ исповѣди, и въ то же время позволяющимъ указать и то тщеславное чувство, которое заставляетъ молодого ревнителя своей нравственной чистоты разсказать извозчику о цѣли своей поѣздки въ монастырь.

Сдавъ послѣдній экзаменъ въ университетѣ, герой нашъ, чтобы походить на большого, ѣздитъ по магазинамъ и тратитъ всѣ свои деньги на покупку совершенно ненужныхъ ему вещей; покупаетъ онъ также себѣ и табаку, такъ какъ ему, какъ студенту, нужно курить. Пріѣхавъ домой, онъ пробуетъ курить, но съ непривычки у него закружилась голова, ему сдѣлалось тошно и онъ, лежа на диванѣ, грустно думалъ съ разочарованіемъ: „вѣрно я еще не совсѣмъ большой, если не могу курить, какъ другіе, и что видно мнѣ не судьба, какъ другимъ, держать чубукъ между среднимъ и безымяннымъ пальцемъ, затягиваться и пускать дымъ черезъ русые усы“.

Далѣе авторъ разсказываетъ намъ, какъ стремящійся къ красотѣ и правдѣ юноша выдумалъ себѣ любовь. „Мнѣ давно уже было совѣстно, глядя на всѣхъ своихъ влюбленныхъ пріятелей, за то, что я отсталъ отъ нихъ“, говоритъ откровенный и правдивый разсказчикъ. И вотъ, увидѣвшись съ одною барышней, Сонечкой, которую онъ зналъ еще

въ дѣтствѣ, онъ рѣшилъ въ тотъ же день, что влюбленъ въ нее. Объ этомъ чувствѣ онъ разсказалъ своему другу Дмитрію Нехлюдову; по пріѣздѣ же въ деревню, на каникулы, онъ подражая влюбленнымъ, цѣлые два дня ходилъ передъ своими домашними грустнымъ и задумчивымъ; на третій день, однако, притворства уже не хватило, и онъ совсѣмъ забылъ о своей любви.

Затѣмъ графъ Толстой раскрываетъ въ своемъ героѣ столь свойственное юношамъ тщеславное желаніе выказать себя другимъ человѣкомъ, чѣмъ есть, желаніе, заводившее студента Иртеньева въ дебри самой отчаянной лжи, заставлявшее его рисоваться фразами, мысли которыхъ онъ вовсе не сочувствовалъ, или напускать на себя несвойственныя и чуждыя ему настроенія.

Но, показывая всю ложь и фальшь, которыми полна дѣйствительность юности, графъ Толстой не забываетъ и того прекраснаго, что живетъ въ мечтахъ, порывахъ и стремленіяхъ этого возраста. Стоитъ прочесть, напримѣръ, слѣдующій исполненный поэтической прелести, отрывокъ, изображающій юношескія грезы, навѣянныя картиною ясной лѣтней ночи: „Все (въ этой картинѣ) получало для меня странный смыслъ — смыслъ слишкомъ большой красоты и какого-то недоконченнаго счастья. И вотъ явилась она, съ длинною, черною косой, высокою грудью, всегда печальная и прекрасная, съ обнаженными руками, съ сладострастными объятьями. Она любитъ меня, я жертвовалъ для одной минуты ея любви всею жизнью. Но луна все выше и выше, свѣтлѣе и свѣтлѣе стояла на небѣ, пышный блескъ пруда, равномѣрно усиливающійся, какъ звукъ, становился яснѣе и яснѣе, тѣни становились чернѣе и чернѣе, свѣтъ прозрачнѣе и прозрачнѣе, и вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мнѣ, что она съ обнаженными руками и пылкими объятіями еще далеко-далеко, еще не все благо; и чѣмъ больше я смотрѣлъ на высокій, полный мѣсяцъ, тѣмъ истинная красота и благо казались мнѣ выше и выше, чище и чище, ближе и ближе къ Нему, къ источнику всего прекраснаго и благого, и слезы какой то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мнѣ на глаза“.

Итакъ, вступая черезъ отрочество, разрушившее наивный и очаровательно-чистый міръ дѣтства, въ юность, человѣкъ

встрѣчаетъ въ ней много прекрасныхъ надеждъ, чувствуетъ въ себѣ много силъ и стремленій, которыя должны бы дать ему полное и высокое счастье; но едва онъ начинаетъ жить, тратить этотъ многообѣщающій запасъ силъ, какъ жизнь его наполняется какою-то мелочностью и ложью, столь непохожими на великія ожиданія отъ нея. Сбываются ли эти ожиданія въ позднѣйшіе періоды человѣческой жизни, объ этомъ не говоритъ разсматриваемая повѣсть, опускающая передъ нами занавѣсъ раньше даже, чѣмъ оканчивается юность; но объ этомъ говорятъ другія произведенія художника Толстого. *Бар. Дистерло.*

Форма и содержаніе „Дѣтства и Отрочества“ и способъ изображенія.

Изъ всѣхъ формъ повѣствованія, разсказъ отъ собственнаго лица автора или отъ подставного лица, исправляющаго его должность, предпочитается писателями бо́льшею частію въ первыя эпохи дѣятельности ихъ — въ эпохи свѣжихъ впечатлѣній и силъ. Несмотря на относительную бѣдность этой формы, она представляетъ ту выгодность, что поле для картины и канва для мысли, по милости ея, всегда заготовлены впередъ и избавляютъ писателя отъ труда искать благонадежный поводъ къ разсказу. Съ нея началъ Тургеневъ и на ней еще стоитъ гр. Л. Н. Т., два повѣствователя весьма различные по качествамъ своимъ и по направленію, но сходные тѣмъ, что у обоихъ чувствуется присутствіе мысли въ разсказахъ и оба могутъ подать случай къ соображеніямъ о роли мысли вообще въ изящной словесности. Разсказъ отъ собственнаго лица освобождаетъ автора отъ многихъ условій повѣствованія и значительно облегчаетъ ему путь. Съ первыхъ пріемовъ писатель уже становится въ положеніе человѣка, не слишкомъ озабоченнаго достиженіемъ предположенной цѣли, что позволяетъ ему иногда рѣзвиться передъ своимъ читателемъ, на просторѣ, а иногда даже кончить вояжъ на полдорогѣ. При разсказѣ отъ собственнаго лица немаловажное удобство состоитъ еще и въ томъ, что писатель самъ себѣ назначаетъ границы и можетъ избавиться отъ необходимости сообщить предмету

описанія настоящій его объемъ, истинныя его очертанія. Отъ каждаго предмета онъ свободно беретъ только ту часть, которая или удачно освѣщена, или живописно выдалась впередъ. Задача писателя, разумѣется, на половину облегчена всѣми этими привилегіями, но и это еще не все. Писатель, разсказывающій отъ себя, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и адвокатъ своего дѣла. Онъ искусно оправдывается передъ читателемъ въ своихъ недоговорахъ, и если успѣлъ возбудить его симпатію, легко получаетъ согласіе даже на сдѣлки съ лицами и характерами, которые въ строгомъ, художественномъ повѣствованіи никогда бы не могли явиться. Онъ вполнѣ пользуется правомъ человѣка, состоящаго на лицо: съ нимъ всегда поступаютъ снисходительнѣе, чѣмъ съ отсутствующимъ. Однакожъ, по закону равновѣсія, существующему вездѣ, даже въ отношеніяхъ между авторомъ и чтецомъ его, выгоды, перечисленныя нами, не бываютъ подъ силу. Если съ одной стороны ослабѣваютъ требованія и изысканія критики, то они дѣлаются строже и придирчивѣе съ другой. И во-первыхъ, разсказчикъ обязанъ выразить личное мнѣніе свое о каждомъ предметѣ, встрѣчающемся на пути его, чего никогда не требуется отъ правильнаго повѣствованія, гдѣ только важно общее впечатлѣніе; затѣмъ, примѣры и наблюденія его должны отличаться самостоятельностью, зоркостью и умомъ въ степени, какой другого рода произведенія ее обязаны достигать; наконецъ, по участію живой личности автора во всѣхъ, такъ сказать, обстоятельствахъ повѣствованія, она сама должна обладать качествами, способными остановить вниманіе читателя... Только на этихъ условіяхъ предоставляется право разсказчику свободно отдаться теченію и даже капризу своей мысли и своего вдохновенія. Случалось и, вѣроятно, еще много разъ будетъ случаться, что писатели, прельщенные выгодами формы личнаго повѣствованія, принимались за нее, не взвѣсивъ предварительно важности условій, съ ней сопряженныхъ.

Авторъ „Исторіи четырехъ эпохъ“ далъ публикѣ еще только описаніе двухъ первыхъ эпохъ своихъ, именно: „Дѣтство“ и „Отрочество“, но уже способъ созданія его достаточно уяснился и можетъ быть оцѣненъ критикой. Онъ, разумѣется, говоритъ отъ себя и про себя, но здѣсь обыкновенные недостатки формы личнаго разсказа могли быть

отстранены съ успѣхомъ по существу дѣла. Авторъ передаетъ намъ дѣйствительное развитіе собственнаго нравственнаго существа съ той минуты, когда мысль, какъ синій огонекъ разгорающагося газоваго проводника едва-едва теплится, не освѣщая еще вокругъ себя ничего, до тѣхъ поръ, пока, съ развитіемъ организма, она все болѣе и болѣе крѣпнетъ и начинаетъ ярко озарять предметы и лица. Само собой разумѣется, что строгость психическаго наблюденія, необходимаго при этомъ, уже должна была исключить произволъ, развязность въ пріемахъ и игру съ предметомъ описанія. Разсказы гр. Л. Н. Т. имѣютъ строгое выраженіе, и отсюда тайна впечатлѣнія, производимаго ими на читателя. Съ необычайнымъ вниманіемъ слѣдитъ онъ за нарождающимися впечатлѣніями сперва ребенка, а потомъ отрока, и каждое слово его проникнуто уваженіемъ, какъ къ задачѣ, принятой имъ на себя, такъ и къ возрасту, который столько же имѣетъ неразрѣшенныхъ вопросовъ, нравственныхъ паденій и переворотовъ, сколько и всякій другой возрастъ. Все это не могло остаться безъ послѣдствій. Полнота выраженій въ лицахъ и предметахъ, глубокія психическія разъясненія и, наконецъ, картина нравовъ извѣстнаго свѣтскаго и строго приличнаго круга, картина, написанная такой тонкой кистью, какой мы давно не видали у себя при описаніи высшаго общества, были плодомъ серіознаго пониманія авторомъ своего предмета. Вмѣстѣ съ тѣмъ изображеніе первыхъ колебаній воли, сознаніе мыслей у ребенка, благодаря тому же качеству, возвышаются у автора до исторіи всѣхъ дѣтей извѣстнаго мѣста и извѣстной эпохи, и какъ исторія, написанная поэтомъ, она уже заключаетъ, рядомъ съ поводами къ эстетическому наслажденію, и обильную пищу для всякаго мыслящаго человѣка.

Замѣчательная дѣятельность мысли была уже необходима, разумѣется, автору для представленія молодого существа, жизнь котораго есть только развитіе идей, въ чемъ, между прочимъ, дѣти сходятся со многими писателями — разница только въ значеніи и качествѣ идей. Но при участіи мысли въ созданіи — первый вопросъ, представляющійся обсужденію всегда одинъ: какъ проявляется мысль у автора? Повѣствованіе гр. Л. Н. Т. имѣетъ многія существенныя качества изслѣдованія, не имѣя ни малѣйшихъ внѣшнихъ признаковъ

его и оставаясь, по преимуществу, произведеніемъ изящной словесности. Искусство здѣсь находится въ дружномъ отношеніи къ мысли, постоянно присутствующей въ разсказѣ, и указать способъ, какимъ образомъ совершилось это примиреніе, — значитъ подтвердить живымъ примѣромъ основныя положенія нашей статьи. Прежде всего должно замѣтить, что авторъ всегда держится перваго жизненнаго условія всякаго художественнаго повѣствованія: онъ не пытается извлечь изъ предмета описанія то, что онъ дать не можетъ, и поэтому не отступаетъ ни на шагъ отъ простого психическаго изслѣдованія его. Нѣтъ признаковъ противоэстетическаго смѣшенія цѣлей въ разсказахъ гр. Л. Н. Т.— ничего не приноситъ онъ извнѣ, заготовленнаго другими, такъ же какъ отстраняетъ отъ нихъ вліяніе какихъ-либо любимыхъ идей, почерпнутыхъ въ особенномъ представленіи общества и человѣка, болѣе или менѣе благородномъ, болѣе или менѣе имѣющемъ похвальную цѣль. Онъ избѣгнулъ этихъ пятенъ современной литературы: оттого и содержаніе произведеній его имѣетъ здоровый видъ, убѣдительность и ясность почти физическихъ предметовъ. Онъ зорко смотритъ на себя и вокругъ себя, и мысль его въ обоихъ случаяхъ устремлена только на то, чтобъ показать сущность характеровъ и происшествій за внѣшними подробностями, затемняющими ихъ значеніе для менѣе проницательныхъ глазъ. Когда достигаетъ онъ поясненія ихъ же природными свойствами, онъ останавливается, не заботясь о томъ, какой видъ начинаютъ они принимать послѣ того: работа его кончилась, и это мы называемъ художнической работой.

Затѣмъ любопытно посмотрѣть на самое приложеніе его психическаго анализа къ дѣлу. Едва вспоминаетъ онъ какое-либо дѣтское ощущеніе, какую-либо раннюю попытку ребяческой мысли, какъ въ то же время представляется ему давленіе этой мысли на самый характеръ молодого человѣка и цѣпь случаевъ, происшествій, вызванныхъ ею; другими словами, онъ облекаетъ ее въ форму искусства, даетъ ей плоть и настоящее бытіе въ области изящнаго. Въ какомъ вѣрномъ отношеніи находятся эти результаты съ первымъ поводомъ, родившимъ ихъ, читатель можетъ убѣдиться самъ въ разсказахъ гр. Л. Н. Т. Рѣдкіе писатели такъ логически послѣдовательны, такъ строго вѣрны своимъ идеямъ и рѣдкіе

такъ сильно убѣждены въ единствѣ мысли и поступка, какъ онъ. Все это показываетъ, во-первыхъ, истинное пониманіе сущности автобіографіи, а во-вторыхъ, глубокое его познаніе самой природы того возраста, котораго онъ сдѣлался историкомъ. При этомъ живомъ художественномъ объясненіи дѣтства есть одна черта у автора, которая обнаруживаетъ его способность пониманія предметовъ чисто поэтически, именно: онъ вѣруетъ въ жизненное дѣйствіе его организма и съ настоящимъ чувствомъ поэта уловляетъ ту минуту, когда природа сама по себѣ, безъ всякаго пособія со стороны, даетъ искру мысли, первый признакъ чувства и первую наклонность.

Онъ слѣдитъ потомъ за ходомъ ихъ во всемъ ихъ извилистомъ полетѣ черезъ множество ощущеній и случаевъ, которые они окрашиваютъ своимъ цвѣтомъ. Какъ поступаетъ авторъ въ отношеніи самого себя, своей внутренней исторіи, такъ поступаетъ онъ и въ отношеніи внѣшней обстановки, гдѣ судьба опредѣлила ему находиться.

Онъ не обсуждаетъ тотъ кругъ, куда былъ поставленъ, и который, не очень глубоко и серіозно понимая вещи, бережетъ только внѣшній видъ достоинства и благородства: онъ его описываетъ. Кругъ этотъ служитъ рамой для автора, гдѣ вращается повѣствованіе его о странствіяхъ дѣтской мысли, безпрестанно возникающей по закону собственной производительности. Отношенія между кругомъ и юнымъ наблюденіемъ, старающимся разгадать его и испытывающимъ на себѣ его вліяніе, составляетъ хронику, исполненную занимательности, перипетій и катастрофъ, которыя, къ удивленію читателя, оковываютъ его вниманіе, какъ перипетіи и катастрофы драматическихъ героевъ, и такимъ образомъ, изъ представленія параллельнаго хода жизненныхъ явленій и психическихъ движеній образуется у него разсказъ, исполненный мысли и вполнѣ художественный. Само собой разумѣется, что если таково общее впечатлѣніе его разсказовъ, то и всѣ подробности ихъ отличаются тѣмъ же характеромъ.

У повѣствователя нашего уже почти нѣтъ малозначительныхъ внѣшнихъ признаковъ для лица, ничтожныхъ подробностей для событія. Наоборотъ, каждая черта въ тѣхъ и другихъ доведена до значенія, иногда до разумности, смѣемъ выразиться, поражающей даже и такіе глаза, которые отъ

привычки къ темнотѣ мало способны къ различенію предметовъ. Отсюда рождается замѣчательная выпуклость какъ лицъ, такъ и происшествій. Авторъ доводитъ читателя, неослабной провѣркой всего встрѣчающагося ему, до убѣжденія, что въ одномъ жестѣ, въ незначительной привычкѣ, въ необдуманномъ словѣ человѣка скрывается иногда душа его, и что они часто опредѣляютъ характеръ лица такъ же вѣрно и несомнѣнно, какъ самые яркіе, очевидные поступки его. Обѣ части разсказа наполнены подобными изображеніями роли второстепенныхъ и третьестепенныхъ признаковъ въ жизни человѣка, но особенно выказалось это присутствіемъ мысли, наполняющей содержаніемъ все, до чего она коснулась, въ главахъ второго разсказа: „Отрочество“. Въ одной изъ нихъ, напримѣръ, авторъ рисуетъ способъ держаться двухъ подругъ, Любочки и Катеньки, и, не говоря ни слова о разности ихъ характеровъ, открываетъ нравственную сущность обѣихъ дѣвушекъ — въ манерѣ ходить, носить голову, складывать руки, говорить съ людьми и смотрѣть на подходящаго, возвышая такимъ образомъ незначительные внѣшніе признаки до вѣрныхъ, глубокихъ психическихъ свидѣтельствъ.

Происшествія въ разсказѣ имѣютъ точно такое же значеніе: вездѣ его переводъ мысли на дѣло, на существенность. Каждая дробная часть душевной, нравственной жизни отражается у автора въ такомъ же добромъ, мелкомъ, но граціозномъ и вѣрномъ случаѣ. Истина обоихъ, какъ нерваго повода, такъ и результата, особенно подтверждается тѣмъ, что въ разсказѣ гр. Л. Н. Т. нѣтъ признака анахронизмовъ или хронологическаго смѣшенія происшествій. Впечатлѣнія и событія дѣтства проще, наивнѣе, граціознѣе впечатлѣній и событій отрочества, которыя становятся сложнѣе, запутаннѣе, разсудочнѣе и потому драматичнѣе. Вотъ почему мысли и оболочка ея въ области искусства, т.-е. характеры, образъ и событія слиты у автора и представляютъ одно цѣлое, дѣйствующее сильно и благодѣтельно на читателя.

Мы возстали противъ авторскаго вмѣшательства вообще въ разсказъ, но, конечно, подобное изложеніе двухъ первоначальныхъ эпохъ жизни не могло быть сдѣлано иначе возмужалой рукой, которая вездѣ и проглядываетъ. Вмѣшательство автора тутъ, однакоже, отходитъ въ общую систему,

которая, какъ можно замѣтить, присутствовала при сочиненіи разсказовъ. Оно допущено, какъ поясненіе того, что смутно лежитъ въ представленіи ребенка, но что уже лежитъ въ немъ — несомнѣнно. Авторъ дѣлается только толмачомъ дѣтскихъ впечатлѣній. Такъ, буря на дорогѣ, во второмъ разсказѣ, столь превосходно описанная, конечно, не такъ полно и подробно могла отразиться въ воображеніи ребенка, но она отразилась въ немъ цѣликомъ, грудой, уже заключавшей всѣ подробности, уловленныя и опредѣленныя впослѣдствіи. Возмужалый авторъ только ихъ развилъ, извлекъ изъ темнаго представленія для ясной, поэтической картины и ею пояснилъ себѣ то, что въ первые годы только чувствовалъ. Таково и вездѣ его вмѣшательство.

Оставляемъ нѣкоторыя критическія замѣчанія до полнаго выхода произведенія гр. Л. Н. Т., но скажемъ теперь же, что если послѣднія двѣ части его разсказа, которыхъ ожидаемъ съ нетерпѣніемъ, будутъ надѣлены такой же дѣльной мыслію и такимъ же изложеніемъ многоразличныхъ ея проявленій въ жизни, то мы можемъ теперь же поздравить себя съ замѣчательнымъ литературнымъ явленіемъ. Конечно, послѣдующая работа автора гораздо труднѣе, чѣмъ та, которую онъ уже представилъ публикѣ; дѣтство и отрочество имѣютъ въ самомъ себѣ много такого, что подкупаетъ и привлекаетъ читателя: эпохи юношества и возмужалости уже требуютъ изображенія характера, который, по сущности своей, по своимъ стремленіямъ и даже по своимъ паденіямъ достоинъ былъ бы усилій и изысканій мысли. Тутъ предстоитъ опасность встрѣтить разнорѣчивыя мнѣнія о человѣкѣ, чего вполнѣ можетъ избѣгнуть эпоха дѣтства, имѣющая въ себѣ полное оправданіе. Не будемъ однакоже загадывать напередъ, а скорѣе полагаться на природную силу таланта въ авторѣ, которую онъ особенно показалъ въ сферѣ искренняго и глубокаго разъясненія душевныхъ оттѣнковъ. Судя даже по тому, что теперь имѣемъ отъ него, мы уже съ полнымъ убѣжденіемъ причисляемъ гр. Л. Н. Т. къ лучшимъ нашимъ разсказчикамъ и ставимъ его имя на ряду съ именами гг. Гончарова, Григоровича, Писемскаго и Тургенева, — именами, которыя, конечно, останутся въ памяти читателей и на страницахъ исторіи русской словесности и будутъ почтены добрымъ словомъ какъ тамъ, такъ и здѣсь.

Анненковъ.

Художественныя достоинства „Дѣтства и Отрочества“.

Повѣсть Л. Н. Т. „Отрочество“ мы читали, перечитали и готовы опять читать. Мы испытывали тѣ же чувства удовольствія безграничнаго, съ которыми познакомились два года назадъ, читая „Дѣтство“, повѣсть того же автора. Не знаемъ, что больше хвалить въ этихъ двухъ повѣстяхъ: талантъ ли автора неоспоримый, мастерство ли разсказа, или ту умную наблюдательность, которая такъ рѣдка. Сверхъ того, гр. Л. Н. Т. во многихъ мѣстахъ своихъ повѣстей — истинный поэтъ. Всѣ эти достоинства поставили гр. Л. Н. Т. сразу, какъ семь лѣтъ назадъ г. Гончарова, съ которымъ у него очень много общаго, въ число немногихъ лучшихъ нашихъ писателей послѣдняго времени.

Насъ поразило въ гр. Л. Н. Т. то умѣнье писать, которое дается только долгими и трудными годами опытности. Ни одного слова лишняго, ни одной черты ненужной, ни одной фразы безъ картинки или безъ цѣли: это доказываетъ, что гр. Л. Н. Т. трудится и долго трудится надъ своими произведеніями и не бросаетъ ихъ въ печать недоконченными. Обѣ повѣсти, по смыслу уже самаго заглавія „Дѣтство“ и „Отрочество“, обнимаютъ предметы очень широкіе. Дѣтство и отрочество могутъ быть или такія, какъ они описаны у графа Л. Н. Т., могутъ существовать и при совершенно другихъ условіяхъ. Всѣ недавно читали дѣтство и отрочество Копперфильда, написанное авторомъ, знаменитымъ своими описаніями дѣтскаго возраста; читали у того же Диккенса исторію множества другихъ дѣтей, развившихся подъ совершенно другими условіями, какъ, напримѣръ, несчастнаго Джо въ послѣднемъ романѣ: „Холодный домъ“. Слѣдовательно, это рама очень широкая, и въ нее можно вставлять какія угодно картины. Графъ Т. написалъ на эту тему нашу русскую картину и сумѣлъ въ ней быть такимъ же глубокимъ наблюдателемъ общей человѣческой натуры, какъ и Диккенсъ — вотъ его главное достоинство. Англичанинъ пойметъ ее такъ же хорошо, какъ и русскій, хотя это и совершенно русская картина. Отъ этого же, въ исторіи дитяти, которую описываетъ гр. Т., хотя и не всѣ найдутъ общественныя

условія своего развитія, но въ то же время ее всѣ поймутъ и будутъ сочувствовать этому дитяти, потому что будутъ видѣть въ немъ себя, только подъ другими формами. Если жизнь деревенская, путешествіе на долгихъ въ Москву и пребываніе въ Москвѣ знакомятъ васъ съ эссенціею чисто русскаго общества, то въ первомъ пробужденіи ума, въ первыхъ наклонностяхъ дитяти и въ дальнѣйшемъ его развитіи мы видимъ исторію не одной русской, но и вообще человѣческой жизни.

Дѣтство, какъ обширная цѣпь разнородныхъ поэтическихъ и безотчетныхъ нашихъ представленій объ окружающемъ, дало автору возможность взглянуть на всю деревенскую жизнь въ такихъ же поэтическихъ чертахъ. Онъ выбиралъ изъ этой жизни все, что поражаетъ дѣтское воображеніе и умъ, а талантъ автора былъ такъ силенъ, что представилъ эту жизнь именно такою, какъ ее видитъ ребенокъ. Все окружающее его входитъ въ его повѣсть настолько, насколько оно поражаетъ воображеніе дитяти, и потому всѣ главы повѣсти, повидимому совершенно разрозненныя, соединяются въ одно: всѣ онѣ показываютъ взглядъ ребенка на міръ. Но большой талантъ автора виденъ еще вотъ въ чемъ. Казалось бы, при такой манерѣ изображать дѣйствительную жизнь подъ вліяніемъ дѣтскихъ впечатлѣній, трудно дать мѣсто взгляду не дѣтскому и вполнѣ обрисовать характеры: подивитесь же, когда по прочтеніи этихъ разсказовъ, ваше воображеніе живо нарисуетъ вамъ и мать, и отца, и няню, и гувернера, и все семейство, и нарисуетъ красками поэтическими.

Въ отрочествѣ безотчетность дѣтскаго представленія исчезаетъ; умъ начинаетъ какъ будто что-то понимать и, какъ справедливо говоритъ авторъ, начинаетъ понимать, что, кромѣ родныхъ и семейства, существуетъ много другихъ людей, которые живутъ... Но „какъ живутъ, чему ихъ учатъ и кто ихъ учитъ, во что они играютъ, и наказываютъ ли ихъ?...“ Первый толчокъ, который получилъ умъ ребенка, во время дороги изъ деревни въ Москву, начинаетъ съ лѣтами развиваться быстрѣе, и характеръ ребенка завязывается. Сцена на балѣ въ Москвѣ, за которую „отрока“ посадили въ чуланъ, написана съ такимъ же великимъ знаніемъ, какъ и сцены дѣтства. Что-то борется, ломается въ ребенкѣ; неопредѣленныя мысли, неясныя чувства, безотчетныя желанія, всѣ вы-

ражаются въ этомъ переходномъ возрастѣ — и они прекрасно изображены и поняты гр. Т. Слабѣе и не вполнѣ изображены тѣ вопросы, которые занимаютъ насъ въ отрочествѣ, — занимаютъ и въ то же время пугаютъ пробуждающуюся мысль. Что̀ именно могло занимать мысль пятнадцатилѣтняго Николая, совершенно справедливо указано авторомъ въ XVIII главѣ „Отрочества“, но указано, какъ общая программа. Не такъ онъ выразилъ дѣтство и его смутныя представленія: они слились у него съ жизнію и случаями семейной жизни; не такъ онъ выразилъ и первое броженіе неустановившагося характера: оно все видно на сценѣ на балу, въ забавахъ съ товарищами, въ ненависти къ Jerom'у; но первое развитіе мысли осталось пока только программою... Впрочемъ, въ „Отрочествѣ“ оно только и начинается: дальнѣйшее развитіе должно быть въ юности, гдѣ мы, конечно, и увидимъ его. Что поражало впервые пугливую мысль въ отрочествѣ, становится яснѣе въ юности, потому что дѣлается опредѣленнѣе. Гр. Т.— истинный поэтъ, и на кого не подѣйствуетъ описаніе грозы въ „Отрочествѣ“, тому не совѣтуемъ читать стиховъ ни г. Тютчева ни г. Фета: тотъ ровно ничего не пойметъ въ нихъ; на кого не подѣйствуютъ послѣднія главы „Дѣтства“, гдѣ описана смерть матери, въ воображеніи и чувствѣ того ужъ ничѣмъ не пробьешь отверстія. Кто прочтетъ XV главу „Дѣтства“ и не задумается, у того въ жизни рѣшительно нѣтъ никакихъ воспоминаній.

Въ доказательство нашихъ словъ, позволимъ себѣ указать на описаніе грозы во время дороги, какъ отдѣльный и полный эпизодъ. Въ немъ читатель увидитъ и ту наблюдательность, о которой мы говорили, и ту поэзію, съ которой мы знакомы по стихотвореніямъ гг. Фета и Тютчева; увидитъ и мастерство Т. не говорить фразъ, ничего незначащихъ, но каждымъ словомъ рисовать новыя картины; увидитъ также и отсутствіе всякой аффектаціи въ разсказѣ и простоту необъяснимую. Кто не читалъ самой повѣсти, тотъ все-таки не пойметъ изъ нашихъ словъ всѣхъ достоинствъ разсказа Толстого. Кто, слыша въ нашей литературѣ и особенно критикѣ много толковъ о художественности, не понялъ (а это очень немудрено), что такое писатель-художникъ, тому посовѣтуемъ прочесть произведеніе Толстого, и онъ пойметъ художественность лучше всякихъ разсужденій. Толстой пре-

имущественно и исключительно художникъ: всѣ эти достоинства, о которыхъ мы говорили выше, служатъ Толстому, какъ вспомогательныя средства сдѣлать свой разсказъ художественнымъ. Это его цѣль, дальше которой онъ и не идетъ. Но ею-то и стоитъ полюбоваться: какъ выставить столько лицъ, сколько ихъ въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“, выставить въ идеальномъ свѣтѣ, и ни одно изъ нихъ не утрировать! Какъ спрятать до такой степени мысль за цѣлый рядъ живыхъ лицъ, что сперва кажется, будто все произведеніе написано безъ всякой мысли! Какъ умѣть изъ такихъ мелкихъ подробностей, разъединенныхъ между собою, составить цѣлую картину, полную жизни и тѣсно связанную въ частяхъ!

Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ 1854 г.

Личное участіе Толстого въ оборонѣ Севастополя.

Политическія недоразумѣнія вызвали между тѣмъ войну. 18 мая 1853 г. Меньшиковъ, русскій посолъ при турецкомъ дворѣ, прекратилъ съ Турціей всякія дипломатическія отношенія. Уже 31-го числа Россія увѣдомила султана о занятіи ею Придунайскихъ княжествъ; а 2-го іюня русскія войска перешли Прутъ и заняли Молдавію. Омеръ-Паша вышелъ навстрѣчу. 28-го октября онъ перешелъ у Виддина черезъ Дунай, и, въ то время какъ европейскія державы переговаривались между собой, какое положеніе имъ занять по отношенію къ императору Николаю, со стороны Турціи была 4 ноября 1853 г. объявлена война Россіи. Событія приняли небывало быстрый ходъ. 30-го ноября русскій адмиралъ Нахимовъ уничтожилъ турецкій флотъ при Синопѣ. Побѣда русскихъ вызвала участіе западныхъ державъ, и союзники Порты — французы и англичане объявили Россіи войну. То была кровавая война, которой исторія, по мѣсту дѣйствія, дала имъ Крымской.

Левъ Николаевичъ еще до начала войны просилъ о переводѣ его въ ту часть арміи, которая стояла на Дунаѣ, подъ командой Михаила Дмитріевича Горчакова. Зимой 1853 г. Толстой опять въ Ясной Полянѣ. Возвращенію его радуется не одна тетушка, а всѣ братья его съ общимъ ихъ другомъ,

Перфильевымъ, собрались въ Ясной Полянѣ. Послѣ короткаго пребыванія на родинѣ Толстой отправляется въ Бухарестъ, гдѣ проводитъ нѣсколько дней декабря въ Дунайской арміи. Успѣхъ Горчаковскихъ войскъ былъ очень незначителенъ. Въ первые мѣсяцы 1853 г. они тщетно старались прогнать турокъ изъ Калафата. 4-го ноября смѣлому Омеръ-пашѣ даже удалось укрѣпиться на сѣверномъ берегу рѣки и отбить нападеніе русскихъ при Олтеницѣ. Въ числѣ офицеровъ побѣжденнаго войска находился и графъ Левъ Николаевичъ Толстой.

Съ конца апрѣля по іюль 1854 г. русскія войска расположены были подъ стѣнами и валами Силистріи; но храбрость Муссы-паши и искусство прусскаго артиллерійскаго офицера Граха отбили всѣ штурмы русскихъ и заставили русскаго главнокомандующаго, — такъ какъ въ это время къ Галлиполи и Варнѣ подоспѣли непріятельскія войска, — отозвать свое слабое войско обратно за Дунай, а потомъ и за Прутъ.

Изъ Силистріи Толстой перешелъ въ Яссы, а изъ Яссъ — въ Крымъ и Севастополь.

Севастополь, какъ это уже извѣстно, былъ одной изъ самыхъ сильныхъ морскихъ крѣпостей на берегу Чернаго моря, и союзникамъ пришлось 11 мѣсяцевъ бороться съ русской выдержкой и храбростью, прежде чѣмъ открыть эти ворота на югъ Россіи. 5-го сентября началась высадка съ непріятельскихъ союзныхъ кораблей. Главнокомандующимъ русскихъ войскъ былъ назначенъ князь Меньшиковъ. Въ то время какъ союзники старались проникнуть въ глубь страны, искусству инженера Тотлебена удалось посредствомъ возведенія фортовъ и бастіоновъ сдѣлать крѣпость почти неприступной. Продолжавшееся обстрѣливаніе Севастополя съ массой человѣческихъ жертвъ, отрѣзъ подвоза жизненныхъ припасовъ принудили однако русскихъ 27 августа 1855 года къ сдачѣ Севастополя. Храбрости и самопожертвованію русскихъ войскъ, какъ матросовъ, такъ и солдатъ сухопутнаго войска не могли надивиться и сами непріятели. Съ изумительной неутомимостью исполняли они всѣ приказанія инженера Тотлебена. Всѣ работали для укрѣпленія города, все населеніе, воодушевленное патріотизмомъ, помогало войску; женщины и дѣти не отставали отъ него; даже преступники, выпущенные изъ тюремъ, приняли участіе въ общей работѣ.

Многія недѣли, и даже мѣсяцы, носилась смерть надъ улицами города: пули бомбы такъ и свистали въ воздухѣ. Безпрерывный лязгъ оружія отнималъ послѣдній покой у обывателей. Самая ужасная и самая сильная борьба происходила на Малаховомъ курганѣ,—этой по природѣ и искусству самой сильной части Севастополя.

Офицеръ Левъ Николаевичъ Толстой принималъ дѣятельное участіе во всѣхъ этихъ опасностяхъ. Его мѣсто было одно изъ самыхъ опасныхъ — на 4-мъ бастіонѣ: не проходило почти часа, чтобы надъ головами осажденныхъ не витала смерть. И несмотря на постоянное безпокойство, поэтъ находилъ въ себѣ достаточно творческой силы, чтобы написать свой первый изъ военныхъ крымскихъ разсказовъ: „Севастополь въ декабрѣ“. Можетъ-быть, именно волненіе этихъ дней такъ повліяло, что изъ маленькаго очерка вышло геніальное произведеніе.

Толстой въ кругу своихъ товарищей былъ любимъ и уважаемъ. Его считали столь же храбрымъ и дѣльнымъ офицеромъ, какъ и любезнымъ товарищемъ, съ которымъ можно весело провести короткое время отдыха.

„Своими разсказами и быстрой импровизаціей стиховъ“, такъ передаетъ намъ одинъ изъ его батарейныхъ товарищей, „графъ воодушевлялъ всѣхъ и заставлялъ забывать тяжелыя минуты войны. Онъ былъ, въ полномъ смыслѣ слова, душой всей нашей батареи. Когда онъ находился среди насъ, то мы вовсе не замѣчали, какъ проходило время; въ его же отсутствіе (что случалось часто, потому что онъ охотно дѣлалъ небольшія прогулки въ Симферополь), товарищи обыкновенно вѣшали носы отъ скуки. Наконецъ, онъ возвращался, совсѣмъ какъ заблудшій сынъ — угрюмый, худой, недовольный цѣлымъ свѣтомъ. Тогда онъ отводилъ меня въ сторону — и начиналась генеральная исповѣдь. Онъ имѣлъ обыкновеніе разсказывать все: сколько онъ проигралъ, сколько выпилъ, гдѣ проводилъ дни и, конечно, ночи и т. д. Онъ жаловался и страдалъ отъ укоровъ совѣсти, будто, Богъ вѣсть, какія совершилъ преступленія. Понятно, бѣдному малому нужно было оказать участіе, вѣдь это былъ такой человѣкъ! Однимъ словомъ — рѣдкій человѣкъ! Откровенно говоря, я не совсѣмъ понималъ его. Во всякомъ случаѣ, это былъ превосходный товарищъ, честная душа и золотое

сердце. Кому случалось сойтись съ нимъ близко, тотъ не могъ не полюбить его и, навѣрное, никогда не забудетъ".

Въ то время когда наши войска съ безпримѣрнымъ терпѣніемъ выносили страшныя страданія, восторженная Россія читала поэтическія изображенія ея геройства въ дивныхъ образахъ одного изъ участниковъ войны. Императоръ Николай Павловичъ былъ тоже заинтересованъ произведеніями молодого офицера. Онъ тотчасъ же сдѣлалъ распоряженіе удалить его съ 4-го бастіона, чтобы сохранить жизнь подающаго такія богатыя надежды таланта, и приказалъ внимательно слѣдить за участью этого молодого человѣка. Левъ Николаевичъ былъ переведенъ на флангъ, по правую сторону рѣчки Бельбекъ, и назначенъ командиромъ горной батареи. И здѣсь сумѣлъ онъ соединить исполненіе обязанностей солдата съ призваніемъ поэта. Въ это время вышелъ не только „Севастополь въ маѣ", но и второй разсказъ, плодъ кавказскихъ впечатлѣній и событій, — „Рубка лѣса". 4 августа 1855 г. онъ командовалъ своей батареей въ сраженіи при Черной. Только что передъ этимъ въ Крымъ пріѣхалъ баронъ П. А. Вревскій. Онъ привезъ съ собой приказъ императора Александра II князю Горчакову немедленно собрать военный совѣтъ и дѣйствовать по его рѣшенію. Военный совѣтъ рѣшилъ попробовать фланговымъ нападеніемъ разбить позицію союзныхъ войскъ на югѣ и востокѣ Севастополя. Но генералъ Фаухеръ вторично отразилъ нападеніе русскихъ и занялъ въ тылу у нихъ берегъ рѣки вмѣстѣ съ Чернымъ мостомъ.

Введенный въ заблужденіе неправильно понятымъ приказомъ высшей власти, генералъ Реадъ предпринялъ смѣлое намѣреніе атаковать Федюхинскія высоты и съ отважностью повелъ своихъ храбрыхъ солдатъ на вѣрную смерть.

Несчастный эпизодъ этой кровавой войны рѣшительнымъ образомъ подѣйствовалъ на судьбу молодого артиллерійскаго офицера. Начиная съ 5-го августа, нападенія союзниковъ продолжались безъ перерыва. Достойно глубокаго удивленія то терпѣніе, которое выказали русскіе передъ смѣлой храбростью французовъ и холоднымъ мужествомъ англичанъ; но все увеличивавшееся число жертвъ, наконецъ, надломило энергію осажденныхъ. Послѣ 25-го августа началась страшная бом-

бардировка, которая въ ночь на 28-е августа положила рѣшительный конецъ этой кровопролитной войнѣ.

Толстой неотступно оставался при войскѣ и пережилъ всю горькую участь осажденныхъ на своемъ посту, какъ командиръ горной батареи. Въ день рѣшительной битвы онъ находился въ числѣ храбрыхъ защитниковъ укрѣпленій и вмѣстѣ съ другими покинулъ городъ только на слѣдующую ночь.

Командиръ артиллеріи Крыжановскій поручилъ Толстому изъ всѣхъ рапортовъ артиллерійскихъ офицеровъ всѣхъ бастіоновъ составить одинъ общій и лично доставить его въ столицу, потому что сейчасъ же, послѣ кровавыхъ событій 28-го августа, Толстой былъ причисленъ къ ракетной батареѣ и вскорѣ посланъ курьеромъ въ Петербургъ. Но раньше чѣмъ этотъ богатый событіями годъ пришелъ къ концу, графъ подалъ въ отставку. Онъ сложилъ съ себя оружіе, чтобы съ этого времени держать въ рукахъ одно оружіе — перо.

Это міровое событіе сильно подѣйствовало на умъ и сердце Льва Николаевича Толстого. Здѣсь характеръ войны былъ другой, чѣмъ на Кавказѣ: здѣсь интеллигенція отличалась такой же храбростью, если не большей, чѣмъ простые солдаты, здѣсь господствовали подчиненіе, послушаніе, патріотизмъ, воодушевленіе, какъ у низшаго рядового, такъ и у образованнаго офицера. И если и здѣсь, какъ и тамъ, на Кавказѣ, алчность, жажда славы, карьеры, крестовъ и почестей шли рядомъ съ храбростью и самопожертвованіемъ, — то здѣсь, все-таки, сглаживалась та рѣзкая противоположность, какая поразила на Кавказѣ наблюдательный глазъ писателя между легкомысліемъ офицерскихъ чиновъ и преданностью простыхъ солдатъ и сплотилась въ одно общее восторженное настроеніе, въ горячую любовь къ отечеству.

И снова воплощаетъ Толстой видѣнное и лично имъ пережитое въ образы съ доступной ему одному и изумительной вѣрностью дѣйствительности, но въ которыхъ какъ бы умышленно отсутствуетъ художественная подкладка. Для него, съ его тонкимъ чутьемъ, не существуетъ ни хорошаго ни худого; описывая храбрость и изображая густыми красками зло и ужасныя стороны войны, онъ вовсе не имѣетъ цѣли сдѣлать первую предметомъ подражанія или напугать кого-либо послѣдними; даже въ отдѣльныхъ дѣйствующихъ лич-

ностяхъ въ своихъ произведеніяхъ онъ не старается вывести образцы воинственныхъ добродѣтелей или отталкивающихъ примѣровъ противоположности. Всѣ люди „не могутъ быть ни злодѣями ни героями повѣсти. Герой же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ — правда".

Толстой не безъ расчетливаго основанія выбралъ 3 мѣсяца для изображенія Севастополя, такъ какъ они имѣли рѣшительное значеніе для войны: время развитія, время обороны и трагическаго конца, — „Севастополь въ декабрѣ", „Севастополь въ маѣ" и „Севастополь въ августѣ".

„Севастополь въ декабрѣ" рисуетъ намъ картины первыхъ дней осады Севастополя, когда въ городѣ не было почти ни одного укрѣпленія, не было войскъ, не было физической возможности удержать его, и, все-таки, не было ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ не отдастся непріятелю, — дней, когда герой, достойный древней Греціи — Корниловъ, объѣзжая войска, говорилъ: „Умремъ, ребята, а не отдадимъ Севастополя!" А русскіе, неспособные къ фразерству, отвѣчали; „Умремъ! ура!"

Толстой ведетъ насъ къ пристани, гдѣ два или три отставныхъ матроса предлагаютъ вамъ свои услуги. Вы выбираете яликъ и плывете мимо полосатой громады кораблей, близко и далеко разсѣянныхъ по бухтѣ, и мимо небольшихъ шлюпокъ, движущихся по блестящей лазури водъ, мимо красивыхъ, свѣтлыхъ строеній города, окрашенныхъ розовыми лучами утренняго солнца. Старикъ-матросъ указываетъ вамъ на „Константина", на которомъ всѣ пушки были цѣлы и на которомъ жилъ самъ Корниловъ.

Вашъ яликъ быстро скользитъ мимо набережной, гдѣ кипитъ пестрая жизнь. Вы выходите на берегъ и входите въ большой залъ собранія; тамъ, гдѣ раньше царило веселье, теперь лежатъ жертвы войны, — легко и тяжело раненые, на которыхъ видна заботливая рука самаритянокъ. Въ это время къ вамъ подходитъ женщина, жена матроса, и начинаетъ разсказывать намъ о храбрости своего мужа, который лежитъ тутъ съ ампутированной ногой, про его страданія, про отчаянное положеніе, въ которомъ онъ находился 4 недѣли, про то, какъ, будучи раненъ, остановилъ носилки съ тѣмъ,

чтобы посмотрѣть на залпъ русской батареи, какъ великіе князья говорили съ нимъ и пожаловали ему 25 руб., и какъ онъ сказалъ имъ, что хочетъ опять итти на бастіонъ, чтобы учить молодыхъ солдатъ, если самъ не будетъ въ состояніи работать. Среди раненыхъ солдатъ и матросовъ лежитъ на койкѣ женщина съ горячечнымъ румянцемъ на щекахъ.

— Это нашу матроску 5-го числа въ ногу задѣло бомбой, — скажетъ вамъ путеводительница, — она мужу на бастіонъ обѣдъ носила, и теперь выше колѣнъ ногу отрѣзали. — Если ваши нервы крѣпки, то загляните въ операціонную комнату, гдѣ доктора, съ окровавленными по локоть руками и съ блѣдными угрюмыми физіономіями исполняютъ свой тяжелый долгъ. „Что значитъ смерть и страданія такого ничтожнаго червяка, какъ я, въ сравненіи съ столькими смертями и съ столькими страданіями?“ болѣзненнымъ стономъ вырывается изъ груди разсказчика. Вотъ, навстрѣчу вамъ попадается похоронное шествіе: въ красномъ гробу несутъ офицера съ музыкой и развѣвающимися знаменами. Зайдите теперь въ трактиръ. Офицеры ведутъ разсказы про нынѣшнюю ночь, про то, какъ дорого и нехорошо подаютъ котлетки, про дѣло 24-го числа, про то, какъ убитъ тотъ-то и тотъ-то изъ товарищей, и о томъ, какъ плохо живется на 4-мъ бастіонѣ. Улицы, ведущія туда, уже болѣе не обитаемы: непріятельская батарея выбила гдѣ окно, гдѣ уголъ стѣны, гдѣ крышу. Строенія кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами и какъ будто гордо и нѣсколько презрительно смотрятъ на васъ. Однако вездѣ господствуютъ порядокъ, спокойствіе, мужество, потому что всѣ готовы умереть за отечество. Прошло 6 мѣсяцевъ, какъ тысячи бомбъ, ядеръ и пуль не переставали летать съ бастіоновъ въ траншеи и изъ траншей въ бастіоны.

Войско и населеніе, кажется, привыкли уже къ вѣчному безпокойству и несутъ съ невозмутимымъ равнодушіемъ свою печальную участь. На бульварѣ, какъ и въ мирное время, играетъ полковая музыка, и толпы военнаго люда и женщинъ празднично двигаются около павильона. Внизу по тѣнистымъ, пахучимъ аллеямъ бѣлыхъ акацій ходили и сидѣли уединенно отдѣльныя группы. Одну изъ этихъ группъ составляютъ 4 офицера, которые, понятно, ни о чемъ другомъ не говорятъ, какъ о прошедшихъ и предстоящихъ сраже-

ніяхъ. Къ нимъ подходитъ штабсъ-капитанъ Михайловъ; онъ уже 13-й разъ попадаетъ на бастіонъ, и хотя онъ вызвался на это добровольно, но злосчатное число все-таки усиливаетъ его дурныя предчувствія: имъ овладѣваетъ невыразимо печальное настроеніе духа. Поэтому, войдя въ свою маленькую комнату съ земляным поломъ и кривыми окнами, залѣпленными бумагой, онъ садится къ столу и пишетъ прощальное письмо къ отцу. Узнавъ о томъ, его пьяный Никита, съ взбудораженными сальными волосами, вдругъ разразился непринужденными рыданіями и бросился цѣловать руки своего барина, который его любилъ, баловалъ и съ которымъ онъ жилъ уже 12 лѣтъ.

Адъютантъ Калугинъ, одинъ изъ группы 4 офицеровъ, имѣетъ лучшее помѣщеніе, чѣмъ Михайловъ, — у него даже замѣтна нѣкоторая роскошь, и офицеры сидятъ у него вокругъ стола такъ же уютно, какъ у себя дома въ лучшее время. Но среди веселья вдругъ входитъ пѣхотный офицеръ и требуетъ его немедленно къ генералу. Калугинъ спѣшитъ къ нему и возвращается съ извѣстіемъ, что предстоитъ что-то серіозное. Приближающаяся катастрофа дѣлается замѣтной и на улицахъ. Калугинъ и Гальцинъ наблюдаютъ изъ окна огненныя линіи бомбъ, скрещивающихся въ воздухѣ, молніи выстрѣловъ, на мгновеніе освѣщающихъ темно-синее небо, и бѣлый дымъ пороха. Иногда становилось трудно отличить звѣзду отъ бомбы. Въ это время къ крыльцу, подъ окномъ, подскакалъ офицеръ, чтобы просить у генерала, остановившагося въ квартирѣ Калугина, подкрѣпленія, и Калугинъ верхомъ на казачьей лошади поѣхалъ на бастіонъ; Гальцинъ, простившись съ товарищемъ, вышелъ на улицу и сталъ ходить по ней взадъ и впередъ. Съ бастіоновъ несутъ и ведутъ раненыхъ; лазаретъ буквально переполненъ. Въ ту минуту когда въ комнату входилъ Гальцинъ, докторъ записывалъ уже 532-го. Даже Калугину кажется „скверно“, и ему невольно приходитъ предчувствіе о смерти; но Калугинъ былъ самолюбивъ и одаренъ деревянными нервами, то, что̀ называютъ однимъ словомъ — храбръ; онъ не поддался первому чувству, и сталъ ободрять себя; среди страшныхъ стоновъ раненыхъ, онъ доходитъ до блиндажа. Михайловъ и другъ его, ротмистръ Праскухинъ, твердо стоятъ на томъ посту, куда призывалъ ихъ долгъ. Покидая ложементы и

идя рядомъ, они замѣтили сзади себя молнію, ярко блеснувшую, — то была бомба, летѣвшая прямо на бастіонъ. Михайловъ и Праскухинъ прилегли къ землѣ; Праскухинъ умираетъ, раненый осколкомъ въ середину груди. Михайловъ же легко раненъ въ голову. Придя въ себя, онъ спѣшитъ въ траншею къ своему другу, желая убѣдиться въ томъ, можетъ ли онъ его еще спасти. Убѣдясь въ томъ, что Праскухинъ убитъ, Михайловъ, пыхтя и придерживая рукой сбившуюся повязку на головѣ, потащился назадъ къ батальону, который былъ уже почти внѣ выстрѣловъ. Страшный день кончается перемиріемъ: „на нашемъ бастіонѣ и на французской траншеѣ выставлены бѣлые флаги, и между ними, въ цвѣтущей долинѣ, кучами лежатъ изуродованные трупы. Прекрасное солнце спускается къ синему морю, и синее море, колыхаясь, блеститъ на золотыхъ лучахъ солнца. Тысячи людей толпятся, смотрятъ, говорятъ и улыбаются другъ другу. И эти люди — христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія, глядя на то, что они сдѣлали, не упадутъ съ раскаяніемъ вдругъ на колѣни передъ Тѣмъ, Кто, давъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждаго вмѣстѣ съ страхомъ смерти, любовь къ добру и къ прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья?“

Вотъ уже 11 мѣсяцевъ продолжается осада; все болѣе слабѣетъ надежда у осажденныхъ отбить нападеніе непріятелей. 10-го августа было новое сраженіе. Козельцевъ, раненый 10-го мая осколкомъ въ голову, на которой еще до сихъ поръ онъ носитъ повязку и теперь, чувствуя себя уже съ недѣлю совершенно здоровымъ, ѣхалъ къ полку къ концу августа въ Севастополь. Это былъ одинъ изъ самыхъ страшныхъ дней; бомбардированіе было ужасное. Почтовая станція татарской деревни Дуванка была переполнена солдатами и офицерами. За однимъ столомъ сидятъ нѣсколько совершенно юныхъ офицеровъ-добровольцевъ, только что выпущенныхъ изъ Пажескаго корпуса и спѣшившихъ теперь къ своимъ батареямъ — и вдругъ, когда Козельцевъ хотѣлъ спросить у нихъ о своемъ братѣ, онъ узнаетъ его въ 17-лѣтнемъ мальчикѣ, съ веселыми, черными глазами и румянцемъ во всю щеку. Молодой Козельцевъ не пошелъ даже въ гвардію, такъ хотѣлось ему поскорѣе попасть въ Севастополь. „Я за

тѣмъ просился, что, все-таки, какъ-то совѣстно жить въ Петербургѣ, когда тутъ умираютъ за отечество". И вдругъ имъ овладѣваетъ ужасъ при мысли, что сейчасъ прямо въ Севастополь подъ бомбы... Около такъ называемаго городка, въ одномъ изъ дощатыхъ бараковъ, построенныхъ матросскими семействами, въ палаткѣ, братья нашли офицера, завѣдывавшаго обозами, считавшаго въ это время цѣлую кипу ассигнацій. Отъ него узнаютъ они, наконецъ, гдѣ стоитъ батарея младшаго Козельцева и полкъ старшаго брата. Въ сопровожденіи старшаго брата Володя проходитъ опасный путь къ бастіонамъ. Они простились на перевязочномъ пунктѣ, почти ничего не сказавъ другъ другу въ это послѣднее прощанье, потому что Володѣ по жребію достается итти на самое опасное мѣсто — въ блиндажъ на Малаховомъ курганѣ, гдѣ онъ принимаетъ дѣятельное участіе въ самый тяжелый день для Севастополя, 27-го августа. Это день рѣшительнаго штурма. Бомбардировка продолжалась почти до 12-го часа. Ровно съ боемъ 12 часовъ дня начался штурмъ Малахова кургана, 2-го, 3-го и 5-го бастіоновъ. Козельцевъ-старшій въ схваткѣ съ французами былъ такъ тяжело раненъ пулей, что никакая врачебная помощь не могла уже его спасти. Взявъ слабыми руками крестъ, прижимаясь къ нему губами и плача, онъ спросилъ священника: что, выбиты французы? — Вездѣ побѣда за нами осталась, — отвѣчалъ священникъ, чтобы утѣшить раненаго, скрывая отъ него то, что на Малаховомъ курганѣ уже развѣвалось французское знамя. — Слава Богу! проговорилъ раненый, и мысль о братѣ мелькнула на мгновеніе въ его головѣ. — Дай Богъ ему такое же счастье! подумалъ онъ. Володя командовалъ стрѣлять картечью въ то время, когда французы обходили ихъ сзади. Володя ясно видѣлъ, какъ синіе мундиры заклепывали его пушки, — никакое сопротивленіе не помогло. Володя ничкомъ лежалъ на томъ мѣстѣ, гдѣ незадолго до того стоялъ. Все въ Севастополѣ вдругъ затихло. Войска медленно выдвигались въ непроницаемой темнотѣ прочь отъ того мѣста, на которомъ они оставили столько храбрыхъ братьевъ — отъ того мѣста, которое 11 мѣсяцевъ отстаивали отъ столь сильнѣйшаго врага.

„Надолго оставитъ въ Россіи великіе слѣды эта эпопея Севастополя, которой героемъ былъ народъ русскій..."

Поэтъ говоритъ въ духѣ патріотическаго воодушевленія, хотя въ то же время онъ чувствуетъ боль отъ личнаго жгучаго убѣжденія, потому что великія картины смерти научили сознавать его, какъ ничтожна жизнь отдѣльнаго человѣка въ сравненіи съ общими страданіями и вѣчными міровыми идеалами. Но, можетъ-быть, война — одно изъ заблужденій народа? Вѣдь люди не ненавидятъ другъ друга, но то, что влечетъ ихъ одного противъ другого, людей одной вѣры, однихъ міровоззрѣній, — одно только заблужденіе. Во время перемирія отношенія русскихъ и французовъ самыя дружественныя. Оба офицера, встрѣтившись въ цвѣтущей долинѣ, гдѣ кучей лежатъ трупы людей, русскихъ и французовъ, разговариваютъ такъ, какъ въ самое мирное время.

— Э ву де ла гардъ?

— Pardon, monsieur, du 6-ème de ligne.

— Э сеси у аште? — спрашиваетъ офицеръ, указывая на деревянную желтую сигарочницу, въ которой французъ куритъ папиросу.

— A Balaclava, monsieur! C'est tout simple en bois de palme.

— Жоли, — говоритъ офицеръ.

— Si vous voulez bien, garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez.

И учтивый французъ выдуваетъ папироску и подаетъ офицеру сигарочницу съ маленькимъ поклономъ. Офицеръ подаетъ ему свою, и всѣ присутствующіе въ группѣ, какъ французы, такъ и русскіе, кажутся очень довольными и улыбаются. Такъ говорятъ между собою офицеры, а нижніе чины — тѣ сходятся съ французами еще скорѣе. Вотъ пѣхотный бойкій солдатъ, въ розовой рубашкѣ и шинели въ накидку, подходитъ къ французу и проситъ у него огня закурить трубку. Французъ разжигаетъ, расковыриваетъ трубочку и высыпаетъ огня русскому.

— Табакъ бунъ? — спрашиваетъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc, — говоритъ французъ: — et chez vous autres tabac — russe? bon?

— Русъ — бунъ, — говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, при чемъ присутствующіе покатываются со смѣху: — Франсе нѣтъ бунъ, божуръ, мосье! — продолжаетъ все тотъ же сол-

датъ, выпуская при этомъ сразу весь свой зарядъ знаній языка и треплетъ француза по животу и смѣется. Французы тоже смѣются.

— Кафтанъ бунъ, — говоритъ бойкій солдатъ, разсматривая шитыя полы зуава, и опять смѣется.

— Ne sors pas de ta ligne, à vos places, sacré nom! — кричитъ французскій капралъ, и солдаты съ видимымъ неудовольствіемъ расходятся.

Подобно тому какъ здѣсь офицеръ выставленъ рядомъ съ простымъ солдатомъ, такъ можно это найти и въ изображеніи всей Севастопольской кампаніи. И если здѣсь, какъ въ „Кавказскихъ разсказахъ“, нѣтъ контраста между офицерами и рядовыми, то вездѣ чувствуется любовь автора, обращенная къ народу. Народъ, по мнѣнію Толстого, страдаетъ потому, что мы не знаемъ великихъ сокровищъ, таящихся въ немъ. Даже тѣ люди, которые имѣютъ ежедневное сообщеніе съ народомъ и должны бы были хорошо знать нравственныя добродѣтели народа, точно слѣпые проходятъ мимо нихъ, потому, что традиціонные предразсудки притупляютъ ихъ взглядъ. Даже офицеръ нерѣдко сомнѣвается въ мужествѣ и безпримѣрной готовности солдата по первому приказу отдать свою душу за царя и отечество. Вотъ маленькій образчикъ:

Князь Гальцинъ, во время своего обхода по городу, останавливаетъ одного солдата, возвращающагося съ бастіона.

— Эй ты, остановись! Ты зачѣмъ идешь?— кричитъ онъ ему.

Солдатъ остановился и лѣвой рукой снялъ шапку.

— Куда ты идешь и зачѣмъ? — закричалъ онъ на него строго. Но въ это время, подойдя ближе, онъ замѣтилъ, что правая рука его была за обшлагомъ и въ крови, выше локтя.

— Раненъ, ваше благородіе.

— Чѣмъ раненъ?

— Сюда-то, должно, пулей, — сказалъ солдатъ, указывая на руку, — а ужъ здѣсь, не могу знать, чѣмъ голову-то прошибло, — и, нагнувъ ее, показалъ окровавленные и слипшіеся волосы на затылкѣ.

— А ружье чье?

— Стуцеръ французскій, ваше благородіе, отнялъ. Да я бы не пошелъ, кабы не эвтого солдатика проводить; а то

упадетъ неравно, — прибавилъ онъ, указывая на солдата, который шелъ немного впереди, опираясь на ружье и съ трудомъ таща и передвигая лѣвую ногу.

„Князю Гальцину вдругъ ужасно стыдно стало за свои несправедливыя подозрѣнія“, заканчиваетъ авторъ этотъ маленькій эпизодъ уличной жизни въ осажденномъ городѣ.

Левенфельдъ.

Военный бытъ въ изящной литературѣ до Толстого.

Вся читающая публика оцѣнила талантъ Толстого, и мы не считаемъ нужнымъ распространяться о томъ, что хорошо знаетъ сама публика. Но, можетъ-быть, еще немногіе изъ читателей отдаютъ себѣ полный отчетъ въ томъ, какой огромный шагъ сдѣланъ былъ графомъ Толстымъ, какъ живописцемъ военныхъ сценъ, по изученію дѣйствительной и вседневной жизни военнаго русскаго человѣка. До сихъ поръ между нашими литераторами было весьма мало настоящихъ военныхъ людей, — обстоятельство чрезвычайно невыгодное въ томъ отношеніи, что нравы и бытъ военнаго сословія, столь многочисленнаго въ Россіи, ускользали отъ пера нашихъ писателей по ихъ малому знакомству съ этимъ нравомъ и бытомъ. Сколько ни читай книгъ, сколько ни встрѣчай офицеровъ въ гостиной, сколько ни гляди на казармы и на солдатъ во время ученья, военной жизни (точно такъ же, какъ и всякой другой жизни) не узнаешь изъ такихъ праздныхъ наблюденій. Лермонтовъ, самъ служившій въ офицерахъ и бывавшій подъ пулями, сдѣлалъ многое, но мы лишились этого человѣка, едва успѣвъ насладиться его первыми созданіями. Послѣ Лермонтова пришло время рутины, ничѣмъ ни оправдываемой и ничѣмъ не измѣняемой. Обыкновенно люди, мало знающіе и худо изучившіе свой предметъ, силятся прикрыть скудость свою обобщеніями и хитрыми выводами, въ которыхъ бываетъ все, кромѣ истины и дѣйствительности. По причинѣ малаго знанія и страсти къ обобщеніямъ, наша литература, со времени Грушницкаго и Максима Максимыча до появленія разсказовъ графа Толстого, относилась къ русской военной жизни съ величавостью долговязаго младенца, нахватавшагося

верховъ по книжкамъ и силящагося судить о предметахъ, ему вовсе незнакомыхъ. Бытъ русскаго воина, его интересы и подвиги, его достоинства и слабости, его возвышенныя и темныя стороны — все это было незнакомо рѣдкимъ изъ нашихъ писателей, изрѣдка выводившихъ военнаго человѣка въ своихъ разсказахъ. Такіе писатели дѣйствовали двумя путями: или жили на счетъ Лермонтова, передѣлывая его типы на свой ладъ, или, что еще хуже, не зная ни военнаго быта ни военныхъ людей, составляли военнаго человѣка, подобно нѣмцу-критику, рисовавшему верблюдовъ не съ натуры, но изъ сокровенной глубины своего самосознанія! Но сокровенная глубина самосознанія вела лишь къ пустой дидактикѣ и карающему юмору, не каравшему ровно никого и ничего на свѣтѣ. Подъ вліяніемъ этой скудости и развелись въ нашихъ романахъ нигдѣ не существующіе типы юношей, непремѣнно усатыхъ и самодовольныхъ, комическихъ безъ комизма, очертанныхъ безъ знанія дѣла. Старосвѣтскіе литераторы въ офицерѣ изображали непремѣнно красавца и удальца, перваго любовника, Вельскаго или Лидина; повѣствователи новаго поколѣнія бросились въ противоположную крайность. Каждый рисовалъ не съ натуры, а *отъ себя*, и эта рисовка *отъ себя* происходила оттого, что изъ художниковъ никто не изучалъ натуры, а бродилъ въ сумракѣ своего сокровеннаго самосознанія. Намъ говорятъ, что военные люди всегда щекотливы на сатиру, и что это обстоятельство связывало руки у нравоописателей, но мы смѣемъ сказать, что, по странной игрѣ случая, эта дѣйствительная или воображаемая щекотливость принесла пользу словесности, избавивъ ее отъ цѣлаго ряда нелѣпыхъ созданій, цѣлой сотни ложныхъ типовъ. Кто изъ новыхъ писателей, послѣ Лермонтова и отчасти Гоголя, могъ знать и описывать военнаго русскаго человѣка? Кто изъ нихъ могъ бы сочинить хотя одну страницу изъ „Набѣга“ и „Рубки лѣса“? А между тѣмъ поползновеніе писать военныя сцены было у многихъ, только сцены эти писались бы отъ себя изъ сокровенной глубины литераторскаго самосознанія. Нѣтъ, мы отъ души радуемся, что такихъ сценъ у насъ писалось немного.

Въ такомъ отношеніи находилась русская литература наша къ военному быту, когда графъ Толстой сталъ печатать свои военные разсказы. Первымъ появился „Набѣгъ“, разсказецъ

хорошенькій и какъ будто набросанный съ небрежностью, но разсказецъ, до такой степени исполненный поэзіи военной жизни, что многіе знатоки литературы, наслаждаясь поэзіей „Набѣга“, почти не отдали справедливости другимъ сторонамъ произведенія. Дѣйствительно, въ „Набѣгѣ“ есть что-то особенно опьяняющее, волнующее душу и не дающее возможности остановиться на прозаической, вседневной сторонѣ разсказа. Эта картина выступленія войскъ, приготовленій къ бою, ночлеговъ подъ открытымъ небомъ, ощущеній подъ первыми пулями, картина смерти и веселости, рыцарства и беззаботности, удальства и унылыхъ минутъ послѣ набѣга, была дѣйствительно плѣнительна, но не менѣе плѣнительны и вѣрны были лица военныхъ людей, выведенныхъ въ набѣгѣ. Розенкранца и капитана Хлопова еще не бывало въ нашей повѣствовательной литературѣ. Съ появленіемъ „Рубки лѣса“ слава образцоваго военнаго разсказчика окончательно утвердилась за графомъ Толстымъ, въ то же самое время печатавшимъ свои „Очерки Севастополя“. Сильный талантъ, наблюдатель и мастеръ, военный человѣкъ, истинный воинъ по службѣ и призванію, — сказались читателю самому недальновидному.

Намъ, пишущимъ людямъ, стало радостно думать, что одинъ изъ нашихъ талантливѣйшихъ сверстниковъ присутствуетъ съ русскими войсками на сценѣ дивныхъ севастопольскихъ подвиговъ, не только въ качествѣ зрителя и живописца, но въ качествѣ настоящаго воина, до тонкости знающаго военныхъ людей и военный бытъ, военныя радости и горести военнаго званія. Русская литература не могла имѣть въ стѣнахъ Севастополя лучшаго и надежнѣйшаго представителя. И когда осада кончилась, и когда авторъ „Рубки лѣса“ вернулся къ намъ не только цѣлый и здоровый, но еще съ „Севастополемъ въ августѣ“ для декабрьской книжки „Современника“, онъ былъ встрѣченъ въ Москвѣ и Петербургѣ, какъ одинъ изъ первыхъ русскихъ писателей и чуть ли не единственный знатокъ поэзіи военнаго быта. Рукопись, имъ привезенная, не обманула ожиданій нашихъ, и послѣдній очеркъ Севастополя вышелъ едва ли не лучше двухъ первыхъ. Послѣ братьевъ Козельцовыхъ, Вланга, совѣстно вспоминать о военныхъ типахъ, когда-то выводимыхъ въ нашей литературѣ.

Передъ знаніемъ дѣла совершенно разрушились всѣ фантастическія понятія о военной жизни такъ, какъ они описы-

вались до сихъ поръ въ литературѣ нашей. И что до крайности поучительно: у графа Толстого, въ его разсказахъ изъ военнаго быта, знаніе дѣла всегда идетъ объ руку съ несомнѣнной поэзіею. Тутъ-то и видна справедливость стараго сравненія поэзіи съ вѣковымъ и сильнымъ деревомъ. Чѣмъ глубже сидятъ корни дерева, тѣмъ выше вздымается къ небу его вершина. У насъ многіе поэты думаютъ противное. Не давши своей житейской опытности пустить корень въ глубину родной почвы, они думаютъ, что ихъ поэзія вознесется къ небу изъ глубины самосознанія и грубыхъ дидактическихъ теорій. Не заложивъ прочнаго фундамента, они уже придаютъ изукрашенный видъ крышѣ своей постройки. Оттого ихъ зданіе валится на бокъ, оттого ихъ дерево чахнетъ и хирѣетъ и гнется къ землѣ, а они тому радуются. Это великое несчастіе дидактиковъ, утверждающихъ намъ, что верхушка вѣкового дуба должна стлаться по землѣ, а не возноситься къ небу. Въ землѣ долженъ сидѣть корень дерева; если же оно не возноситъ къ небу свои вершины, значитъ дерево или гнило, или еще очень молодо... *Дружининъ.*

Типы и картины въ военныхъ разсказахъ Толстого.

Современныя военныя событія сдѣлались въ нашей литературѣ источникомъ многихъ разсказовъ, чрезвычайно живописныхъ; они же были предлогомъ и къ установленію той новой манеры въ этихъ описаніяхъ, которую выработала литература въ послѣднее время. Каждое великое отечественное событіе всегда отзывалось въ нашей словесности и выражалось въ описаніи сраженій, походовъ, въ историческихъ запискахъ очевидцевъ. Слѣдовательно, нѣтъ ничего удивительнаго, что и нынѣшняя великая война привела литературу къ тѣмъ же результатамъ. Но въ манерѣ описанія, собственно въ литературномъ отношеніи, мы видимъ разницу между записками современниковъ другихъ войнъ и между нынѣшними писателями, видимъ другіе пріемы, другую наблюдательность, другой языкъ, носящіе на себѣ рѣзкую печать литературы нашей эпохи. Вотъ на это-то мы и хотимъ обратить вниманіе.

Долгое время въ нашей литературѣ Марлинскій, а потомъ Лермонтовъ были образцами, которымъ старались подражать всѣ, когда дѣло касалось изображенія личностей, взятыхъ изъ военнаго круга; долгое время нѣкоторые писатели были образцомъ того, какъ должно вести разговоръ съ простымъ солдатомъ, какъ излагать его бесѣду, какъ выражать его чувства и мысли. Эти чувства, эти мысли одни и тѣ же, какъ у прежнихъ писателей, такъ и у новѣйшихъ: та же, любовь къ родинѣ, та же вѣрность долгу, та же непоколебимая готовность на защиту всего родного; словомъ, сущность, содержаніе тѣ же. И такъ какъ эта сущность, это содержаніе всѣмъ и каждому извѣстны, то мы и считаемъ излишнимъ еще разъ повторять всѣмъ извѣстное. Мы будемъ говорить объ одной только литературной сторонѣ разсказовъ, въ которой замѣтимъ много новаго. Чтобы начать сначала, мы должны обратиться къ одному разсказу, напечатанному еще въ 1853 году.

Авторъ этого разсказа, безспорно, одинъ изъ первыхъ талантовъ нашей современной литературы. Мы говоримъ о разсказѣ „Набѣгъ“ соч. гр. Л. Н. Т. Въ разсказѣ было такъ много новаго, и разсказъ былъ такъ простъ и естественъ, что на него даже мало обратили вниманія, какъ на вещь, которая не бросается въ глаза. Въ этомъ разсказѣ было высказано все, что впослѣдствіи тѣмъ же самымъ авторомъ было подробнѣе развито въ другихъ превосходныхъ военныхъ картинахъ, каковы: „Севастополь въ декабрѣ 1854 года“ и „Рубка лѣсу“. Какъ все неподдѣльное съ теченіемъ времени пріобрѣтаетъ только больше и больше удивленія, такъ и первый разсказъ гр. Л. Н. Т. можетъ быть названъ родоначальникомъ тѣхъ прелестныхъ военныхъ эскизовъ, въ которыхъ простота, естественность, истина вступили въ полныя свои права и совершенно измѣнили прежнюю литературную манеру разсказовъ подобнаго рода. Въ этихъ разсказахъ мы замѣтили примѣненіе всѣхъ тѣхъ же началъ, которыя въ другихъ родахъ нашей литературы, напримѣръ, оказали уже столько благодѣтельнаго вліянія. Но не будемъ торопиться дѣлать заключенія и прежде познакомимся съ фактами.

Припомнимъ только первый его разсказъ „Набѣгъ“, бывшій истиннымъ и счастливымъ нововведеніемъ въ описаніи военныхъ сценъ, о которыхъ мы намѣрены говорить.

Въ этомъ разсказѣ обращаетъ на себя невольно вниманіе капитанъ Хлоповъ. На этомъ капитанѣ Хлоповѣ сосредоточена, повидимому, вся любовь автора; онъ — герой разсказа, онъ же — и нововведеніе. Однако опредѣлить это лицо было крайне трудно автору, потому что въ немъ нѣтъ ничего особеннаго. „У него была одна изъ тѣхъ спокойныхъ русскихъ физіономій, которымъ пріятно и легко прямо смотрѣть въ глаза“. Вотъ все, что можно сказать о капитанѣ Хлоповѣ. Онъ не Максимъ Максимычъ Лермонтова, но нѣсколько съ родни ему; точно такъ же, какъ поручикъ Розенкранцъ не Печоринъ и не Мулла-Нуръ, хотя съ виду и походилъ на Мулла-Нура. Капитанъ Хлоповъ не похожъ на капитана Миронова въ „Капитанской дочкѣ“, но тоже съ родни ему. Чтобы лучше узнать капитана Хлопова, нужно прежде познакомиться съ поручикомъ Розенкранцомъ.

„На немъ (Розенкранцѣ) былъ черный бешметъ съ галунами, такія же ноговицы, новые, плотно обтягивающіе ногу чувяки съ чиразами, желтая черкеска и высокая, заломленная назадъ папаха. На груди и спинѣ его лежали серебряные галуны, на которыхъ надѣты были натруска и пистолетъ за поясомъ; другой пистолетъ и кинжалъ въ серебряной оправѣ, висѣли на поясѣ. Сверхъ всего этого была опоясана шашка въ красныхъ сафьянныхъ ножнахъ съ галунами, и надѣта черезъ плечо винтовка въ черномъ чехлѣ. По его одеждѣ, посадкѣ, манерѣ держаться и, вообще, по всѣмъ движеніямъ замѣтно было, что онъ старается быть похожимъ на татарина. Онъ даже говорилъ что-то на неизвѣстномъ мнѣ языкѣ татарамъ, которые ѣхали съ нимъ, но, по недоумѣвающимъ, насмѣшливымъ взглядамъ, которые бросали эти послѣдніе другъ на друга, мнѣ показалось, что они не понимаютъ его. Это былъ одинъ изъ удальцовъ-джигитовъ, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрятъ на Кавказъ не иначе, какъ сквозь призму „героя нашего времени“, Мулла-Нуровъ и т. п. и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководствуются не собственными наклонностями, а примѣромъ этихъ образцовъ. Поручикъ всегда ходилъ въ азіатскомъ платьѣ и оружіи, имѣлъ кунаковъ не только во всѣхъ мирныхъ аулахъ, но и въ горахъ; по самымъ опаснымъ мѣстамъ ѣзжалъ безъ оказіи, ходилъ съ мирными татарами по ночамъ засаживаться на дорогу, подкарауливать и убивать горцевъ,

былъ влюбленъ въ татарку и писалъ свои записки. Фамилія его была Розенкранцъ".

Не таковъ капитанъ Хлоповъ: „(Въ походѣ) на немъ былъ старый истертый сюртукъ безъ эполетъ, лезгинскіе широкіе штаны, бѣлая папашка, съ опустившимся, пожелтѣвшимъ курпемъ (овчиной) и незавидная азіатская шашка черезъ плечо. Бѣленькій маштачокъ (маленькая лошадка), на которомъ онъ ѣхалъ, шелъ понуря голову, мелкой иноходью, и безпрестанно взмахивалъ жиденькимъ хвостомъ. Несмотря на то, что въ фигурѣ добраго капитана было не только мало воинственнаго, но и красиваго, въ ней выражалось такъ много равнодушія ко всему окружающему, что она внушала невольное уваженіе".

Посмотрите, какъ разсуждаетъ о храбрости добрый капитанъ Хлоповъ. Слушая его, вы подумаете, что поручикъ Розенкранцъ, который связалъ престарѣлаго татарина въ разоренномъ аулѣ, азартнѣйшій изъ рыцарей.

„Вотъ, въ тридцать-второмъ году (говоритъ капитанъ) былъ тоже неслужащій какой-то, изъ испанцевъ, кажется. Два похода съ нами ходилъ, въ синемъ плащѣ въ какомъ-то, да, наконецъ, и сложилъ тутъ свою голову.

„ — Здѣсь, батюшка, никого не удивишь.

„ — Что онъ храбрый былъ? — спросилъ я его.

„ — А Богъ его знаетъ: все, бывало, впереди ѣздитъ; гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ.

„ — Такъ, стало-быть, храбрый, — сказалъ я.

„ — Нѣтъ, это не значитъ храбрый, что суется туда, гдѣ его не спрашиваютъ...

„ — Что же вы называете храбрымъ?

„— Храбрый, храбрый? — повторилъ капитанъ съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ: — *храбръ тотъ, который ведетъ себя какъ слѣдуетъ*, — сказалъ онъ, подумавъ немного".

Но оставимъ частности, въ которыхъ, между тѣмъ, и выражается вся сила таланта гр. Л. Н. Т., и постараемся яснѣе высказать мысль автора. Для этого мы должны привести одну сцену изъ разсказа, хотя далеко не лучшую въ художественномъ отношеніи, но поясняющую основную мысль.

„Едва мы отступили саженъ на триста отъ аула, какъ надъ нами со свистомъ стали летать непріятельскія ядра. Я видѣлъ, какъ ядромъ убило солдата... Но зачѣмъ разска-

зывать подробности этой страшной картины, когда я самъ дорого бы далъ, чтобы забыть ее?

„Поручикъ Розенкранцъ самъ стрѣлялъ изъ винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплымъ голосомъ кричалъ на солдатъ и во весь духъ скакалъ съ одного конца цѣпи на другой. Онъ былъ нѣсколько блѣденъ, и это очень шло къ его воинственному лицу.

„Хорошенькій прапорщикъ [1]) былъ въ восторгѣ: прекрасные черные глаза его блестѣли отвагой, ротъ слегка улыбался; онъ безпрестанно подъѣжалъ къ капитану и просилъ его позволенія броситься *на ура*.

„ — Мы ихъ отобьемъ, — убѣдительно говорилъ онъ: — право, отобьемъ.

„ — Не нужно, — кротко отвѣчалъ капитанъ: — надо отступать.

„Рота капитана занимала опушку лѣса и лежа отстрѣливалась отъ непріятеля. Капитанъ, въ своемъ изношенномъ сюртукѣ и взъерошенной шапочкѣ, опустивъ поводья бѣлому маштачку и подкорчивъ на короткихъ стременахъ ноги, молча стоялъ на одномъ мѣстѣ. (Солдаты такъ хорошо знали и дѣлали свое дѣло, что нечего было приказывать имъ.) Только изрѣдка онъ возвышалъ голосъ, прикрикивая на тѣхъ, которые поднимали головы. Въ фигурѣ капитана было очень мало воинственнаго; но зато въ ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. „Вотъ кто истинно храбръ“, сказалось мнѣ невольно.

„*Онъ былъ точно такимъ же, какимъ я всегда видалъ его:* тѣ же спокойныя движенія, тотъ же ровный голосъ, то же выраженіе безхитростности на его некрасивомъ, но простомъ лицѣ; только по болѣе, чѣмъ обыкновенно, свѣтлому взгляду можно было замѣтить въ немъ вниманіе человѣка, спокойно занятаго своимъ дѣломъ. Легко сказать: *такимъ же, какимъ и всегда;* но сколько различныхъ оттѣнковъ я замѣчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ сказаться спокойнѣе, другой суровѣе, третій веселѣе, чѣмъ обыкновенно; по лицу же капитана замѣтно, что онъ и не понимаетъ, зачѣмъ казаться.

„Французъ, который при Ватерлоо сказалъ: „la garde meurt, mais ne se rend pas“ и другіе, въ особенности французскіе ге-

[1]) Характеръ котораго съ необыкновеннымъ искусствомъ обрисованъ въ разсказѣ двумя-тремя словами.

рои, которые говорили достопамятныя изреченія, были храбры и дѣйствительно говорили достопамятныя изреченія; но между ихъ храбростію и храбростію капитана есть та разница, что если бы великое слово, въ какомъ бы то ни было случаѣ, даже шевелилось въ душѣ моего героя, я увѣренъ, онъ не сказалъ бы его: во-первыхъ, потому, что, сказавъ великое слово, онъ боялся бы этимъ самымъ испортить великое дѣло, а во-вторыхъ, потому, что когда человѣкъ чувствуетъ въ себѣ силы сдѣлать великое дѣло, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнѣнію, особенная и высокая черта русской храбрости; и какъ же послѣ этого не болѣть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французскія пошлыя фразы, имѣющія претензію на подражаніе устарѣлому французскому рыцарству?...“

Повторяемъ: мы стараемся уяснить идею, и потому всѣ поэтическія частности, въ которыхъ выражена идея, поневолѣ, чтобы не быть многословными, опускаемъ.

Отъ этого перваго разсказа гр. Л. Н. Т. переходимъ къ другому, напечатанному два года спустя: „Рубка лѣсу“. И мѣсто дѣйствія и самое дѣйствіе обоихъ разсказовъ одно и то же. Точно такъ же отрядъ русскій отправился въ горы Кавказа, въ первомъ случаѣ, для наказанія непокорныхъ горцевъ и разоренія ихъ аула; во-второмъ,—для рубки лѣса. Самое описаніе двухъ разсказовъ одинаково; но лица другія, хотя опять выражаютъ совершенно одну и ту же мысль. Здѣсь главное, хотя и невидимо дѣйствующее лицо — русскій солдатъ, у котораго довольно мѣтко схвачено много характеристическихъ чертъ. Въ противоположность съ простымъ русскимъ солдатомъ поставленъ нѣкто капитанъ Болховъ, какъ въ предыдущемъ разсказѣ разыгрывалъ ту же роль Розенкранцъ. Этотъ капитанъ Болховъ, Богъ знаетъ, по какимъ побужденіямъ, явился на Кавказѣ; онъ совсѣмъ ужъ не Мулла-Нуръ съ виду, но въ душѣ у него очень много печоринскаго, и поэтому онъ имѣетъ вліяніе на кружокъ. Непремѣнно должно предположить, что онъ великій губитель женскихъ сердецъ: онъ все, кажется, извѣдалъ и потому считаетъ долгомъ вездѣ скучать. Точно такъ же, какъ въ „Набѣгѣ“ разоблаченъ былъ Розенкранцъ и выставленъ на видъ капитанъ Хлоповъ, точно такъ вся ходульность и мишурность капитана Болхова была поражена подобной же сценой.

„Оставивъ солдатъ разсуждать о томъ, какъ татары ускакали, когда увидали гранату, и зачѣмъ они тутъ ѣздили, и много ли ихъ еще въ лѣсу есть, я отошелъ съ ротнымъ командиромъ за нѣсколько шаговъ и сѣлъ подъ деревомъ, ожидая разогрѣвавшихся битковъ, которые онъ предложилъ мнѣ. Ротный командиръ Болховъ имѣлъ состояніе и служилъ прежде въ гвардіи. Товарищи любили его: онъ былъ довольно уменъ и имѣлъ достаточно такта. Поговоривъ о погодѣ, о военныхъ дѣйствіяхъ, объ общихъ знакомыхъ офицеровъ и убѣдившись по вопросамъ и отвѣтамъ, по взгляду на вещи, въ удовлетворительности понятій одинъ другого, мы невольно перешли къ разговору болѣе короткому. Притомъ же на Кавказѣ между встрѣчающимися одного круга людьми, хотя не высказанно, но весьма очевидно проявляется вопросъ: зачѣмъ вы здѣсь? и на этотъ-то мой молчаливый вопросъ, мнѣ казалось, собесѣдникъ мой хотѣлъ отвѣтить.

„— Когда этотъ отрядъ кончится? — сказалъ онъ лѣниво. — Скучно.

„ — А мнѣ не скучно, — сказалъ я: — вѣдь въ штабѣ еще скучнѣе.

„ — О, въ штабѣ въ десять тысячъ разъ хуже, — сказалъ онъ со злостью: — нѣтъ, когда все это совсѣмъ кончится?

„ — Что же вы хотите, чтобъ кончилось? — спросилъ я.

„ — Все, совсѣмъ! Что же, готовы битки, Николаевъ? — прибавилъ онъ.

„ — Для чего же вы пошли служить на Кавказъ, — сказалъ я: — коли Кавказъ вамъ не нравился?

„ — Знаете для чего? — отвѣчалъ онъ съ рѣшительной откровенностью: — по преданію. Въ Россіи вѣдь существуетъ престранное преданіе про Кавказъ — будто это какая-то обѣтованная земля для всякаго рода несчастныхъ людей...

„ — Да, это почти правда, — сказалъ я: — большая часть изъ насъ...

„ — Но что лучше всего, — перебилъ онъ меня: — что всѣ мы, по преданію ѣдущіе на Кавказъ, ужасно ошибаемся въ своихъ расчетахъ, и рѣшительно я не вижу, почему вслѣдствіе несчастной любви или разстройства дѣлъ — скорѣе ѣхать служить на Кавказъ, чѣмъ въ Казань или Калугу. Вѣдь въ Россіи воображаютъ Кавказъ какъ-то величественно, съ вѣчными дѣвственными льдами, бурными потоками, съ кин-

жалами, бурками, черкешенками — все это страшное что-то, а въ сущности ничего въ этомъ нѣтъ веселаго. Ежели бы они знали, по крайней мѣрѣ, что въ дѣвственныхъ льдахъ мы никогда не бываемъ, да и быть-то въ нихъ ничего веселаго нѣтъ, и что Кавказъ раздѣляется на губерніи: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д., и я бы и вы не пріѣхали иначе.

„ — Да, — сказалъ я смѣясь: — мы въ Россіи совсѣмъ иначе смотримъ на Кавказъ, чѣмъ здѣсь; это — испытывали ли вы когда-нибудь? — какъ читать стихи на языкѣ, который плохо знаешь: воображаешь себѣ гораздо лучше, чѣмъ есть...

„ — Не знаю, право; но ужасно не нравится мнѣ этотъ Кавказъ, — перебилъ онъ меня.

„ — Нѣтъ, Кавказъ для меня и теперь хорошъ, только иначе...

„ — Можетъ-быть и хорошъ, — продолжалъ онъ съ какою-то раздражительностью: — знаю только то, что я не хорошъ на Кавказѣ.

„ — Отчего же такъ? — сказалъ я, чтобы сказать что-нибудь.

„ — Я чувствую себя неспособнымъ къ здѣшней службѣ, я не могу переносить опасности. — Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня. — Безъ шутокъ.

„Хотя это непрошенное признаніе чрезвычайно удивило меня, я не противорѣчилъ, какъ, видимо, хотѣлось того моему собесѣднику, но ожидалъ отъ него самого опроверженія своихъ словъ, какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ.

„ — И что смѣшно, — продолжалъ онъ: — что здѣсь ужаснѣйшая драма разыгрывается, а самъ ѣшь битки съ лукомъ и увѣряешь, что весело.

„ — Вино есть, Николаевъ? — прибавилъ онъ, зѣвая. Этотъ натянутый разговоръ, худо скрытый смыслъ котораго очень ясенъ, былъ перебитъ слѣдующимъ разговоромъ солдатъ:

„ — Это *они*, братцы мои! — послышался въ это время встревоженный голосъ одного изъ солдатъ, и всѣ глаза обратились на опушку дальняго лѣса. Вдали, увеличиваясь и уносясь по вѣтру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понялъ, что это былъ противъ насъ выстрѣлъ непріятеля, — все, что было на моихъ глазахъ въ эту минуту, все вокругъ приняло какой-то новый, почти величественный характеръ: и ко́злы ружей, и дымъ костровъ, и голубое

небо, и зеленые лафеты, и загорѣлое, усатое лицо Николаева, — все это какъ будто говорило мнѣ, что ядро, которое вылетѣло изъ дула и летитъ въ это мгновеніе въ пространствѣ, можетъ-быть, направлено прямо въ мою грудь.

„— Вы гдѣ брали вино? — лѣниво спросилъ я Болхова, между тѣмъ какъ въ глубинѣ души моей одинаково внятно говорили два голоса — одинъ: Господи, пріими духъ мой съ миромъ; другой: надѣюсь не нагнуться, а улыбаться въ то время, какъ будетъ пролетать ядро; и въ то же мгновеніе надъ головой просвистѣло что-то ужасно непріятно, и въ двухъ шагахъ шлепнулось отъ насъ ядро.

„— Вотъ ежели бы я былъ Наполеонъ или Фридрихъ,— сказалъ въ то время Болховъ, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мнѣ: — я бы непремѣнно сказалъ какую-нибудь любезность.

„— Да вы и теперь сказали, — отвѣчалъ я, съ трудомъ скрывая тревогу, произведенную во мнѣ прошедшей опасностью.

„— Да что жъ, что сказалъ — никто не запишетъ.

„— А я запишу.

„— Да вы ежели и запишете, такъ въ *критику*, какъ говоритъ Мищенковъ, — прибавилъ онъ, улыбаясь.

„— *Тьфу ты проклятый!* — сказалъ въ это время сзади насъ Антоновъ, съ досадой плюя въ сторону: — *крошка по ногамъ не задѣла.*

„Все мое старанье казаться хладнокровнымъ и всѣ наши хитрыя фразы *показались мнѣ вдругъ невыносимо-глупыми*, послѣ этого простодушнаго восклицанія“.

Всякій истинный, дышащій правдой взглядъ на вещи тѣмъ плодотворенъ въ художественной дѣятельности, что онъ мгновенно превращается во множество лицъ, и всѣ эти лица кажутся живыми, какъ жива истина, ихъ согрѣвающая. Лишь только заученная маска, однообразная у всѣхъ, спала съ лица героевъ, которыхъ рядили черезчуръ ужъ монотонно и неестественно, вдругъ всѣ они показали свои лица характерныя и настоящія, какими они всегда были. Такъ въ томъ же самомъ разсказѣ авторъ представилъ уже намъ много лицъ типическихъ изъ солдатскаго кружка. Хотя всѣхъ ихъ авторъ коснулся только всквользь — какъ это онъ до сихъ поръ дѣлалъ во всѣхъ своихъ военныхъ разсказахъ —

однакожъ лица эти ужъ какъ будто намъ знакомы. Здѣсь мы почувствовали вновь вліяніе современной русской повѣсти на военные разсказы гр. Л. Н. Т. Если первую черту этого вліянія можно назвать разоблаченіемъ мишурности и вычурности, которою въ прежнее время были одѣты Розенкранцы и Болховы, и желаніе противопоставить имъ лица простыя, каковы, напримѣръ, капитанъ Хлоповъ, Тросенко и имъ подобные, то вторую черту, заимствованную изъ современной же нашей литературы, мы должны назвать стремленіемъ къ типическимъ лицамъ изъ простонароднаго круга. Въ прежней нашей литературѣ — пробѣгите разсказы — типъ русскаго солдата былъ однообразенъ. Не такъ поступаетъ гр. Л. Н. Т. Тамъ, гдѣ онъ говоритъ, какъ человѣкъ мыслящій, у него русскій солдатъ одинъ, и характеристика его одна; гдѣ же онъ представляетъ намъ лица, какъ художникъ, тамъ у каждаго своя личность; это разнообразіе лицъ даетъ ему средства подмѣчать характеристическія черты и создавать типы. Это, мы полагаемъ, вторая причина успѣха гр. Л. Н. Т. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ вообще о русскомъ солдатѣ:

„Духъ русскаго солдата не основанъ такъ, какъ храбрость южныхъ народовъ, на скоро воспламеняемомъ и остывающемъ энтузіазмѣ: его такъ же трудно разжечь, какъ и заставить упасть духомъ. Для него не нужны эффекты и краснорѣчивыя рѣчи, для него нужны, напротивъ, спокойствіе, порядокъ и отсутствіе всего натянутаго. Въ русскомъ — настоящемъ русскомъ — солдатѣ никогда не замѣтите хвастовства, ухорства, желанія отуманиться, разгорячиться во время опасности, напротивъ, скромность, простота и способность видѣть въ опасности совсѣмъ другое, чѣмъ опасность, составляетъ отличительныя черты его характера. Я видѣлъ солдата, раненаго въ ногу, въ первую минуту жалѣвшаго только о пробитомъ новомъ полушубкѣ; ѣздового, вылѣзающаго изъ-подъ убитой подъ нимъ лошади и растегивающаго подпругу, чтобы снять съ нея сѣдло“.

Но на этомъ не останавливается наблюдательность автора: ему, какъ художнику школы новѣйшей, нужны типы, и онъ сначала старается представить эти типы въ общихъ чертахъ, какъ программу, не болѣе. Въ этой программѣ видна мысль — а ее только на этотъ разъ и мы слѣдимъ въ произведеніяхъ

гр. Л. Н. Т. — хотя мысль уловить у такихъ художниковъ, какъ гр. Л. Н. Т., труднѣе всего. Рѣдко они обмолвливаются сухою, голою мыслью.

„Въ Россіи есть особенные типы солдатъ, подъ которые подходятъ солдаты всѣхъ войскъ: кавказскихъ, армейскихъ, гвардейскихъ, пѣхотныхъ, кавалерійскихъ, артиллерійскихъ и т. д. Чаще другихъ встрѣчающійся типъ солдата, — типъ болѣе всего милый, симпатичный и большей частью соединенный съ лучшими христіанскими добродѣтелями — кротостью, набожностью, терпѣніемъ и преданностью волѣ Божіей, есть типъ *покорнаго* вообще. Есть еще многіе другіе типы.

„Типъ *начальствующихъ* вообще встрѣчается, преимущественно, въ высшей солдатской сферѣ: ефрейторовъ, унтеръ-офицеровъ, фельдфебелей и т. п. Типы эти разнообразны: *начальствующіе суровые* — типъ весьма благородный, энергическій, преимущественно военный, не исключающій высокихъ поэтическихъ порывовъ.

„Типъ *отчаяннаго*, точно такъ же какъ и типъ начальствующаго, хорошъ въ *отчаянныхъ забавникахъ*, отличительными чертами которыхъ бываютъ непоколебимая веселость, огромныя способности ко всему, богатство натуры и удаль; и ужасно дуренъ въ *отчаянныхъ развратныхъ*, которые, однако, нужно сказать, къ чести русскаго войска, встрѣчаются весьма рѣдко и ежели встрѣчаются, то бываютъ удалены отъ товарищества самимъ обществомъ солдатскимъ. Невѣріе и какое-то удальство въ порокѣ — главныя черты въ характерѣ этого разряда“.

Далѣе идутъ типы: *покорныхъ-хлопотливыхъ*, *забавника* и прочее.

Когда гр. Л. Н. Т. перешелъ отъ общихъ опредѣленій типовъ къ частнымъ, когда у него явились на сценѣ Максимовъ, Антоновъ, Валенчукъ, рекрутъ — передъ нами обнаружилась и та *мягкая* наблюдательность автора, въ которой такъ чудесно слиты и юморъ, и добродушіе, и веселость, и прямой взглядъ на вещи, тотъ многосторонній талантъ гр. Л. Н. Т., которымъ надѣлены очень-очень немногіе. Опять пошли картина за картиною одна другой лучше, одна другой поэтичнѣе. Но, къ сожалѣнію, мы теперь не можемъ вдаваться въ подробности, въ которыхъ такъ же много истин-

ной поэзіи, какъ и въ „Дѣтствѣ„ и въ „Отрочествѣ“ — произведеніяхъ, взятыхъ изъ другого круга жизни. За одинъ разговоръ солдатъ у огня, ночью, послѣ смерти Валенчука (XIII и XIV главы „Рубка лѣса“) мы готовы отдать иной многотомный романъ. Эти пять страничекъ проникнуты такой неподдѣльной поэзіей, что ихъ можно перечитывать по нѣскольку разъ.

Въ другой картинѣ, именно „Севастополь въ декабрѣ-мѣсяцѣ“, гр. Л. Н. Т. опять возвращается къ своимъ любимымъ лицамъ, которыхъ въ „Рубкѣ лѣса“ онъ старался подраздѣлить на типы. Безъ всякихъ разсужденій, повидимому, въ одной простой картинѣ знаменитаго „Четвертаго бастіона“, сказано вамъ гораздо болѣе, нежели можно сказать отвлеченными разсужденіями. Вглядитесь въ физіономію простого солдата, вслушайтесь въ его отрывистыя фразы, и вы почувствуете, что гр. Л. Н. Т. нигдѣ не измѣняетъ своему вѣрному и простому взгляду на предметъ. Вы почувствуете, что онъ постоянно преслѣдуетъ одну и ту же идею, только, какъ художникъ, выражаетъ ее въ картинахъ:

„Пройдя еще шаговъ триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпаннами землей, орудіями на платформахъ и земляными валами. Здѣсь найдете вы, можетъ-быть, человѣкъ пять матросовъ, играющихъ въ карты подъ брустверомъ, и морского офицера, который, замѣтивъ въ васъ новаго человѣка — любопытнаго, съ удовольствіемъ покажетъ вамъ свое хозяйство и все, что можетъ быть для васъ интереснаго. Офицеръ этотъ такъ спокойно свертываетъ папиросу изъ желтой бумаги, сидя на орудіи, такъ спокойно прохаживается отъ одной амбразуры къ другой, такъ спокойно, безъ малѣйшей аффектаціи, говоритъ съ вами, что, несмотря на пули, которыя чаще чѣмъ прежде жужжатъ надъ вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно разсматриваете и слушаете разсказы офицера. Офицеръ этотъ разскажетъ вамъ — но только ежели вы его разспросите — про бомбардированіе 5-го числа, разскажетъ, какъ на его батареѣ только одно орудіе могло дѣйствовать и изъ всей прислуги осталось только восемь человѣкъ, и какъ на другое утро, 6-го числа, онъ *палилъ*[1]) изъ

[1]) *Моряки* всѣ говорятъ палить, а не стрѣлять.

всѣхъ орудій; разскажетъ вамъ, какъ 5-го попала бомба въ матросскую землянку и положила одиннадцать человѣкъ; покажетъ вамъ изъ амбразуры батареи и траншеи непріятельскія, которыя не дальше, какъ въ тридцать-сорокъ саженъ. Одного я боюсь, что подъ вліяніемъ жужжанія пуль, высовываясь изъ амбразуры, чтобы посмотрѣть непріятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этотъ бѣлый каменистый валъ, который такъ близко отъ васъ и на которомъ вспыхиваютъ бѣлые дымы, это-то и есть непріятель — *онъ*, какъ говорятъ солдаты и матросы.

„При этомъ офицеръ хладнокровно скажетъ: „Послать комендора, прислугу къ пушкѣ“ — и человѣкъ 14 матросовъ, живо, весело, кто засовывая въ карманъ трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформѣ, подойдутъ къ пушкѣ и зарядятъ ее. Вглядитесь въ лица, въ осанки, въ движенія этихъ людей; въ каждой морщинѣ этого загорѣлаго, смуглаго лица, въ каждой мышцѣ, въ ширинѣ этихъ плечъ, въ толщинѣ этихъ ногъ, обутыхъ въ громадные сапоги, въ каждомъ движеніи, спокойномъ, твердомъ, неторопливомъ, видны эти главныя черты, составляющія силу русскаго — простота и твердость; но здѣсь на каждомъ лицѣ кажется, что опасность, злоба и страданія, кромѣ этихъ главныхъ признаковъ войны, проложили еще слѣды сознанія своего достоинства и высокой мысли и чувства.

„Вдругъ, ужаснѣйшій, потрясающій не одни ушные органы, но все существо ваше, гулъ поражаетъ васъ такъ, что вы вздрагиваете всѣмъ тѣломъ; вслѣдъ за тѣмъ вы слышите удаляющійся свистъ снаряда, и густой пороховой дымъ застилаетъ васъ, платформу и черныя фигуры движущихся по ней матросовъ. По случаю этого нашего выстрѣла вы услышите различные толки матросовъ и увидите ихъ одушевленіе и проявленіе чувства, котораго, можетъ-быть, вы не ожидали видѣть, это — чувство злобы, мщенія врагу, которое таится въ душѣ каждаго. „Въ самую *амбразуру* попали, кажись, убило двоихъ, вонъ понесли“, услышите вы радостныя восклицанія. „А вотъ *онъ* разсерчаетъ, сейчасъ пуститъ сюда“, скажетъ кто-нибудь; и дѣйствительно, скоро вслѣдъ за этимъ вы увидите впереди себя молнію, дымъ; часовой, стоящій на брустверѣ, крикнетъ *пу-у-шка!* и вслѣдъ за этимъ мимо васъ взвизгнетъ ядро, шлепнется въ землю и воронкой взбросить

вкругъ себя брызги грязи и камни. Батарейный командиръ разсердится за это ядро, прикажетъ зарядить другое и третье орудіе, непріятель также станетъ отвѣчать намъ, и вы испытаете интересныя вещи. Часовой опять закричитъ „пушка“, и вы услышите тотъ же звукъ и ударъ, тѣ же брызги, или закричитъ „маркела“ (мортира) и вы услышите равномѣрное — довольно пріятное и такое, съ которымъ трудно соединяется мысль объ ужасномъ — посвистываніе бомбы, услышите приближающееся къ вамъ и ускоряющееся это посвистываніе, потомъ увидите черный шаръ, ударъ о землю и разрывъ. Со свистомъ и визгомъ разлетятся потомъ осколки, зашуршатъ въ воздухѣ камни и забрызгаютъ васъ грязью. При этихъ звукахъ вы испытаете странное чувство наслажденія и вмѣстѣ страха. Въ ту минуту, какъ снарядъ, вы знаете, летитъ на васъ, вамъ непремѣнно придетъ въ голову, что снарядъ этотъ убьетъ васъ, но чувство самолюбія поддерживаетъ васъ, и никто не замѣчаетъ ножа, который рѣжетъ вамъ сердце; но зато, когда снарядъ пролетитъ, не задѣвъ васъ, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо-пріятное чувство, но только на мгновеніе, овладѣваетъ вами, такъ что вы находите какую-то особенную прелесть въ опасности, въ этой игрѣ съ жизнью и смертью, вамъ хочется, чтобы еще и еще и поближе упало около васъ ядро или бомба. Но вотъ еще часовой прокричалъ своимъ громкимъ голосомъ „маркела!“ еще посвистываніе, ударъ и разрывъ бомбы, но вмѣстѣ съ этимъ звукомъ васъ поражаетъ стонъ человѣка; вы подходите къ раненому, который въ крови и грязи имѣетъ какой-то странный, нечеловѣческій видъ. У матроса вырвало часть груди. Въ первыя минуты на забрызганномъ грязью лицѣ его виденъ одинъ испугъ и какое-то притворное, преждевременное выраженіе страданія, свойственное человѣку въ такомъ положеніи; но въ то время, какъ ему приносятъ носилки и онъ самъ на здоровый бокъ ложится на нихъ, вы замѣчаете, что выраженіе это измѣняется выраженіемъ восторженности и высокой невысказанной мысли: глаза горятъ ярче, зубы сжимаются, голова съ усиліемъ поднимается выше, и въ это время, какъ его поднимаютъ, онъ останавливаетъ носилки и дрожащимъ голосомъ съ трудомъ говоритъ товарищамъ: „простите, братцы!“ еще хочетъ сказать что-то трогательное, но повторяетъ еще разъ: „простите, братцы!“ Въ это

время товарищъ-матросъ подходитъ къ нему, надѣваетъ фуражку на голову, которую подставляетъ ему раненый, и, размахивая руками, возвращается къ своему орудію...“

Мы до сихъ поръ старались только опредѣлить характеръ писателя, его взглядъ, его направленіе — трудъ очень скользкій въ отношеніи къ такому автору, какъ гр. Л. Н. Т., который, казалось бы, рисуетъ передъ покорнымъ воображеніемъ читателя только однѣ картины своей чудесной фантазіи. Картины эти такъ хороши, что сначала не задаешь себѣ и вопроса: что кроется въ нихъ симпатичнаго и почему онѣ такъ сильно привлекаютъ къ себѣ? Есть много картинъ строгихъ, правильныхъ — и холодныхъ. Не таковы картины разбираемаго нами автора, и потому должно было прежде всего отдать отчетъ въ этой симпатіи. Лишь только опредѣленъ вѣрно взглядъ автора на вещи, лишь только читатель узнаетъ, чего хочетъ авторъ и куда онъ стремится — вся дѣятельность писателя вдругъ оживляется, какъ отъ какого-то магнетическаго соприкосновенія. Самый процессъ творчества дѣлается яснымъ. Отъ этого-то мы и говорили объ *идеѣ* въ произведеніяхъ гр. Л. Н. Т. Теперь намъ уже понятно, что талантъ его, описывающій событія изъ совершенно иного міра, въ который не пускаются наши лучшіе современные писатели, есть въ то же время талантъ очень близкій, родственный имъ и по духу и по манерѣ. Передъ нимъ открытъ иной міръ, но онъ старается взять то же, чего ищутъ въ другихъ положеніяхъ наши другіе писатели, т.-е. преслѣдованіе всего мишурнаго, ложнаго, неестественнаго находитъ въ немъ яснаго гонителя, а истина, добро и лучшія свойства простого человѣка, — своего защитника. Какъ ни обширно и ни обще это опредѣленіе, но на этотъ разъ мы не сумѣемъ выразиться лучше.

Гр. Л. Н. Т. беретъ свои любимыя лица изъ того же простонароднаго круга, изъ котораго берутъ ихъ и всѣ другіе лучшіе наши писатели. Въ немъ мы видимъ товарища по труду гг. Тургеневу, Писемскому, Григоровичу, Островскому; въ созданныхъ имъ лицахъ видимъ живыхъ братій лучшимъ типическимъ лицамъ упомянутыхъ нами писателей.

Полагаемъ, послѣ этого не нужно распространяться о томъ, что всѣ остатки „Капитановъ Фрегата“, „Мулла-Нуровъ“ Марлинскаго и „Героевъ нашего времени“, переодѣтые авторомъ

въ Розенкранцовъ, Болховыхъ и имъ подобныхъ, низведены съ своихъ ложныхъ пьедесталовъ. Эти лица и подобныя имъ уже довольно давно, начиная съ 1840 года, въ нашей литературѣ, въ повѣстяхъ и романахъ начали терять по частицамъ свой блескъ. Не будемъ также распространяться и о томъ, о чемъ уже намекнули выше, что родоначальниковъ капитана Хлопова и простыхъ русскихъ солдатъ мы видѣли отчасти, хотя въ другой формѣ, и у Лермонтова въ Максимѣ Максимовичѣ, и у Пушкина въ капитанѣ Мироновѣ. Но заслуга гр. Л. Н. Т. состоитъ въ томъ, что онъ заставилъ своихъ Розенкранцовъ и Болховыхъ помѣряться силами съ капитаномъ Хлоповымъ и ему подобными, свелъ ихъ лицомъ къ лицу, выбравъ для этого самое удобное, въ буквальномъ смыслѣ, поле сраженія — и герои нашего времени окончательно и навсегда смутились передъ своими незнаменитыми соперниками! Если прежняя литература изображала иногда Розенкранцовъ и Болховыхъ съ отрицательной точки зрѣнія, то гр. Л. Н. Т. сдѣлалъ послѣдній и важный шагъ: онъ имъ противопоставилъ лица положительныя, и этимъ покончилъ дѣло.

Но вотъ эта-то положительная сторона, конечно, и составляла сильный камень преткновенія таланту гр. Л. Н. Т. Однакожъ онъ побѣдилъ трудности большею частью счастливо. Преимущественно ему удались лица солдатъ и капитанъ Хлоповъ. У другого таланта, менѣе сильнаго, нужно было бы опасаться, съ этой стороны, увлеченія идеей, излишней идеализаціи. Но гр. Л. Н. Т. умѣлъ удержаться въ границахъ, и гдѣ чувствовалъ пустое пространство, гдѣ не находилъ жизни, не старался наполнять это пустое пространство своими собственными мыслями. Онъ, какъ художникъ, позволялъ себѣ скорѣе останавливаться на характерахъ безличныхъ, но пріятныхъ, каковъ, напримѣръ, прапорщикъ Аланинъ въ „Набѣгѣ“, нежели надѣлить капитана Хлопова небывалыми чертами. Это намъ доказываетъ, что гр. Л. Н. Т. истинный художникъ у котораго талантъ господствуетъ надъ мыслью, а не мысль надъ талантомъ, у котораго инстинктъ художника господствуетъ надъ творчествомъ ума. Отъ этого у гр. Л. Н. Т. въ разсказахъ нѣтъ лица, которое было бы положительно дурно, рѣзко непріятно, какъ всѣ характеры, созданные однимъ систематическимъ умомъ, потому что этотъ умъ без-

пощаденъ и всегда любитъ крайности. Отъ этого-то, выше мы сказали, картины, изображаемыя гр. Л. Н. Т., дышатъ тою мягкою наблюдательностью, которая даетъ полный просторъ и юмору, и веселости, и добродушію, которая отзывается на многіе звуки, а не на одинъ монотонный мотивъ. Это всегда и легко замѣтить у художниковъ при созданіи второстепенныхъ лицъ въ разсказахъ, гдѣ писатели даютъ полный просторъ разгуляться своей фантазіи на свободѣ, не удерживая ея главною мыслью разсказа, при описаніи картинъ, такъ сказать, вставочныхъ. Этихъ второстепенныхъ лицъ у писателей-нехудожниковъ почти никогда не бываетъ, т.-е. они такъ безцвѣтны, что ихъ нельзя назвать лицами. Писатель-нехудожникъ слишкомъ усиленно и какъ-то напряженно держится за мысль, которую развиваетъ, и понятно, что всѣ его усилія сосредоточиваются на одномъ, главномъ дѣйствующемъ лицѣ.

Гр. Л. Н. Т. не представилъ намъ еще ни одной *повѣсти* въ настоящемъ смыслѣ слова, т.-е. повѣсти *съ любовью*. Введи авторъ въ эти разсказы любовь, нѣтъ сомнѣнія, капитанъ Хлоповъ и подобныя ему лица проиграли бы поле сраженія въ битвѣ съ Болховыми, Розенкранцами и другими блестящими лицами разсказовъ, потому что, къ сожалѣнію, на самомъ дѣлѣ, оно бываетъ такъ — и идея погибла бы. Дай торжество подобнымъ лицамъ авторъ — и онъ впалъ бы въ неестественный, натянутый тонъ, который происходитъ оттого, что писатель чувствуетъ, какъ подъ нимъ шатается міръ дѣйствительности: тогда-то обыкновенно авторъ старается всѣми убѣжденіями склонить читателя на сторону своего любимаго лица; но чѣмъ больше онъ убѣждаетъ и разсуждаетъ, тѣмъ больше онъ теряетъ достоинства художника.

Слѣдовательно, не имѣя пока повѣсти въ строгомъ смыслѣ, т.-е. въ томъ, въ какомъ мы привыкли ее понимать, мы не находимъ нужнымъ пускаться въ предположенія, какъ гр. Л. Н. Т. сумѣлъ бы выполнить и всѣ условія, налагаемыя этой формой, какъ онъ сумѣлъ бы выбрать сюжетъ, который укладывается именно въ эту, а не въ какую-либо другую форму.

Обратимся къ другой сторонѣ военныхъ разсказовъ.

Если въ изображеніи лицъ, въ манерѣ создавать характеры, мы видѣли огромное вліяніе нашей современной лите-

ратуры, то еще больше замѣтимъ его въ *самомъ способѣ разсказывать*. Намъ бы очень хотѣлось привести на память читателю тѣ военные разсказы прежнихъ лѣтъ, гдѣ солдатъ не говоритъ иначе, какъ избранными пословицами, шутитъ извѣстными шутками и прибаутками, объясняется отмѣнно складно, какъ человѣкъ образованный, у котораго передъ глазами лежатъ, напримѣръ, „пословицы“ г. Снегирева, который начитался разсказовъ г. Даля или Скобелева, и думаетъ, что онъ знаетъ языкъ простого человѣка. Неудивительно, что это было такъ въ военныхъ разсказахъ: такъ было тогда и во всей литературѣ. Языкъ простонародный былъ terra incognita, и потому всякій, кто скажетъ, напримѣръ, что „ученье свѣтъ, а неученье тьма“, или что-нибудь въ этомъ родѣ, считался уже знающимъ кое-что изъ русскаго простонароднаго языка. Языкъ крестьянина, языкъ солдата, языкъ купца, весь слагался изъ подобныхъ поговорокъ (даже у двухъ-трехъ извѣстныхъ писателей, которые считали себя знатоками въ этомъ дѣлѣ), такъ что представлялъ изъ себя что-то натянутое, неестественное, изъ разсказчика же дѣлалъ какого-то забавника и каламбуриста. Средину между пословицами и поговорками занимали обыкновенно цѣлыя фразы, выписанныя изъ печатныхъ книгъ, и рѣчь имѣла видъ какой-то пестрой смѣси книжнаго, литературнаго языка и народныхъ поговорокъ. Но съ того времени наша литература, обратившись къ изученію простонароднаго быта, начала изучать языкъ народный. Конечно, это изученіе *было постепенное*, и чѣмъ больше писатели всматривались въ бытъ, тѣмъ ближе къ цѣли подходилъ и самый языкъ. Послѣднее десятилѣтіе нашей литературы особенно много сдѣлало въ этомъ отношеніи, и мы такъ быстро развивались, что, постепенно хваля то одного, то другого писателя, спустя два-три года, уже замѣчали и недостатки въ тѣхъ, кого хвалили прежде безусловно. Въ этомъ языкѣ слышались фразы прямо записанныя съ изустной рѣчи, слышались фразы сочиненныя, слышалось желаніе передать даже самую темноту и неопредѣленность языка простолюдина, хотя онѣ могли имѣть значеніе, можетъ-быть, только для филолога, но отнюдь не для литератора. Какъ бы то ни было, но въ этомъ замѣтенъ былъ трудъ, и трудъ большой, похвальный во всѣхъ отношеніяхъ.

Вдругъ въ это время литература обогатилась множествомъ разсказовъ, какъ мы уже говорили, изъ славныхъ событій нашей нынѣшней войны. Разсказчики очутились вдругъ между двумя крайностями: между преданіемъ прежнихъ военныхъ разсказовъ, которые сочинялись авторами по способамъ, нами выше изложеннымъ, и между простонароднымъ языкомъ, выработаннымъ новѣйшими нашими писателями, изучившими этотъ бытъ. Къ прежнему языку разсказовъ, очевидно, нельзя уже было возвратиться, и такіе писатели, какъ гр. Л. Н. Т., сразу сумѣли поставить себя на настоящую точку зрѣнія и создали разговоръ простого солдата такимъ, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ. Но для этого нуженъ былъ талантъ гр. Л. Н. Т. Другіе, желая быть до мелочей вѣрными языку, рѣшились записывать эти разсказы со словъ самихъ солдатъ, и мы получили такимъ образомъ прекрасные образчики того разговорнаго языка, котораго домогались, къ которому стремились такъ усиленно и который давался очень немногимъ. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ особеннаго вниманія рукописный сборникъ солдатскихъ разсказовъ г. *Сокольскаго,* изъ котораго былъ напечатанъ разсказъ рядового Таторскаго подъ названіемъ: „Восемь мѣсяцевъ въ плѣну у французовъ“ и „Дѣло подъ Журжею“, разсказъ тоже рядового Иванова, запасаненый г. *Кузнецовымъ.* Мысль счастливая, и мы увѣрены, что результаты ея будутъ чрезвычайно благотворны; оба разсказа въ этомъ отношеніи заслуживаютъ особеннаго вниманія. Всмотритесь въ постройку фразъ, повидимому, неправильную, часто противорѣчащую требованіямъ синтаксиса и вмѣстѣ совершенно ясную; вглядитесь въ это отсутствіе напыщенности, которою страдали прежніе разсказы; вслушайтесь въ этотъ юморъ и эту наблюдательность, которая не оставляетъ солдата, когда онъ разсказываетъ самое трагическое свое положеніе, когда ему предстояло быть убитымъ или взятымъ въ плѣнъ, и вы какъ будто начнете понимать, что мы далеко еще не владѣемъ ключомъ къ этому таинственному, не причудливому, но ясному разговору простого человѣка. Вотъ тотъ языкъ, слѣдовательно, которымъ должно дѣйствовать на умъ и чувство простого человѣка! Вотъ тотъ взглядъ на вещи, неподдѣльный, подъ который старается поддѣлываться каждый писатель, какъ только начинаетъ говорить отъ имени простого человѣка! Изучите

его прежде внимательно, и тогда уже посмотрите на сочиненный языкъ. Если бъ мѣсто намъ позволило, мы привели бы и сравнили здѣсь нѣсколько прежнихъ солдатскихъ разсказовъ и разсказъ, напримѣръ, рядового Иванова. Въ прежнее время, въ угоду литературнымъ требованіямъ своего времени, *писатель не рѣшился бы* записать такой разсказъ со словъ солдата; онъ непремѣнно украсилъ бы его своими собственными разсужденіями, а языкъ выправилъ бы по книжнымъ правиламъ и далъ бы ему фальшивый лоскъ. Но другія времена... и тому, кто не видитъ въ нашей нынѣшней литературѣ ничего хорошаго — еще одинъ урокъ.

Послѣ такихъ разсказовъ, мы вполнѣ понимаемъ, какъ глубоко вникнулъ гр. Л. Н. Т. въ описываемый имъ бытъ, и почему въ разсказѣ его заключалась какая-то прелесть, которую сначала трудно было уловить. Въ разсказѣ, записанномъ г. Кузнецовымъ, вы чувствуете и человѣка и солдата вмѣстѣ, и когда вспомнишь, что простой человѣкъ такъ безыскусственно и не только безъ гордости, но и безъ сознанія особеннаго достоинства своего дѣла, разсказываетъ, можетъ-быть, лучшій подвигъ своей жизни, что онъ не старается украсить разсказъ ни однимъ хитрымъ словомъ и не желаетъ скрыть своихъ естественныхъ чувствъ — когда подумаешь обо всемъ этомъ да припомнишь прежніе военные разсказы нашихъ писателей, невольно подивишься тому, какъ можно было допустить столько неестественнаго въ эти разсказы...

А намъ часто еще приходится слышать вопросъ: къ чему ведутъ эти повѣсти, драмы и романы, въ которыхъ дѣйствуютъ и разговариваютъ купцы, крестьяне, солдаты?...

Дудышкинъ.

Правдивость и самобытность военныхъ разсказовъ Толстого.

Полный, неоспоримый, завидный успѣхъ новаго повѣствователя начался съ его очерковъ Севастополя, при началѣ, въ самомъ разгарѣ и при концѣ его знаменитой осады. Тутъ уже каждое слово, каждая мастерская подробность, каждое замѣчаніе талантливаго писателя, свидѣтеля великихъ сценъ великой

драмы, было оцѣнено и встрѣчено общею симпатіею. Вся читающая Россія восхищалась Севастополемъ въ ноябрѣ, Севастополемъ весною, Севастополемъ въ августѣ мѣсяцѣ. Вся читающая Россія видѣла въ поэтическихъ разсказахъ графа Толстого не одни любопытные факты, сообщаемые очевидцемъ, не одни восторженные разсказы о подвигахъ, способныхъ воодушевить самаго безстрастнаго разсказчика. Всякій читатель, одаренный здравымъ смысломъ, видѣлъ и зналъ, что на небольшомъ клочкѣ земли, приковывавшемъ къ себѣ взоры всего свѣта черезъ необыкновенныя дѣла, тамъ происходившія, находился настоящій русскій военный писатель, одаренный зоркимъ глазомъ, слогомъ истиннаго художника,— писатель, готовый дѣлиться съ публикой исторіею всего имъ видѣннаго и пережитого во время осады Севастополя. Замѣчательно, что изъ числа всѣхъ непріязненныхъ державъ, войска которыхъ бились подъ стѣнами нашей Трои, ни одна не имѣла у себя хроникера осады, который могъ бы соперничать съ графомъ Львомъ Толстымъ, авторомъ немногихъ замѣтокъ о Севастополѣ, небольшихъ по объему и далеко не охватывавшихъ всего предмета. Наше увѣреніе мы произносимъ со знаніемъ дѣла, ибо не только, во время войны, внимательно слѣдили за корреспондентами иностранныхъ газетъ; но даже имѣли терпѣніе перечитать большое количество разсказовъ и записокъ, набросанныхъ какъ зрителями, такъ и участниками севастопольской осады. О Турціи и Сардиніи говорить нечего— первая не имѣетъ писателей, вторая подарила намъ только небольшое число страницъ, преисполненныхъ самаго смѣшного бомбаста. Французская литература представила книгу бездарнаго Базанкура,— книгу почти единственную за все время, ибо статей и брошюръ военно-ученаго содержанія мы считать здѣсь не можемъ. Англія была богата отличными корреспондентами газетъ, и изъ нихъ нѣкоторые, особенно знаменитый корреспондентъ газеты „Times“, превосходили графа Толстого великолѣпной художественностью изложенія, замѣченною всѣми европейскими читателями. И несмотря на огромность таланта, британскіе корреспонденты были все-таки нечѣмъ инымъ, какъ фельетонистами, хотя фельетонистами великаго дарованія. Они гнались за красотой слога, были бѣдны по части безпристрастія, наконецъ, смотрѣли на дѣло не глазами поэтовъ и мыслителей, а глазами восторженной театральной

публики, опьяненной видомъ красныхъ мундировъ, сверкающихъ штыковъ, скачущихъ коней и стрѣляющихъ орудій. Они были фразерами, сами того не вѣдая. Они довели страсть къ живописнымъ подробностямъ до такой степени, что, за этими подробностями, почти не видали смысла великой трагедіи, передъ ихъ взорами совершавшейся. Недавно въ Англіи вышли особою книгою разсказы Росселя, корреспондента „Times“, — разсказы, о которыхъ мы теперь упоминаемъ. Мы прочли ихъ сызнова, — сызнова отдали полную дань похвалы ихъ блестящему автору, и все-таки остались при своемъ мнѣніи: замѣтки графа Толстого о Севастополѣ кажутся намъ произведеніемъ несравненно высшимъ. Эти замѣтки, въ которыхъ дѣйствуютъ вымышленныя лица, поражаютъ правдою и отсутствіемъ фразы, — письма великобританскаго разсказчика, въ которыхъ все списано съ натуры, озадачиваютъ внимательнаго читателя иногда стремленіемъ къ фразѣ, иногда положительною неправдою. Мы совѣтуемъ людямъ, читающимъ по-англійски, самимъ провѣрить наши замѣчанія. Пусть они возьмутъ изъ Росселевой книги, на выборъ, ея блистательнѣйшіе пассажи, повергавшіе всю Европу въ восхищеніе, какъ, напримѣръ, начало инкерманскаго дѣла, кавалерійскую атаку подъ Балаклавою, атаку русскихъ гусаровъ на шотландскій полкъ сира Колина Кембелля, изображеніе поля инкерманскаго ночью, послѣ битвы. Все это великолѣпно, поразительно, показываетъ въ авторѣ истиннаго художника, надо въ томъ признаться. Но во сколько разъ вѣрнѣе и трогательнѣе въ замѣткахъ графа Толстого изображеніе графской пристани, звѣздной ночи во время бомбардировки, перемирія для уборки тѣлъ, наконецъ, Володи Козельцова, семнадцатилѣтняго артиллерійскаго прапорщика, въ первую ночь послѣ пріѣзда въ Севастополь. По части чисто художественной, нашъ русскій авторъ иногда не уступаетъ своему англійскому сопернику; чтобы въ томъ убѣдиться, достаточно прочитать тѣ страницы „Севастополя въ августѣ“, на которыхъ разсказанъ переходъ братьевъ Козельцовыхъ съ сѣверной стороны на южную, въ темную ночь, при волнахъ, бьющихъ въ края моста, въ виду непріятельскаго флота, огни котораго какъ-то дерзко пробиваются сквозь мглу тягостной ночи! Но не одной картинностью изображеній силенъ нашъ русскій писатель. Мысль и поэзія неразлучны съ его очерками, и эта

мысль есть мысль человѣка высоконравственнаго, эта поэзія не можетъ назваться театральною поэзіею. Англійскій писатель съ потрясающей вѣрностью рисуетъ намъ, въ какихъ изумительныхъ положеніяхъ лежали люди, убитые подъ Инкерманомъ — этотъ дагерротипный очеркъ, при всей его разительности, очевидно, составленъ для празднаго читателя, говорящаго за чаемъ: „Я хочу знать все, все, — и въ чемъ былъ одѣтъ непріятель, и что подумали иностранцы, увидавъ шотландскіе полки, лишенные самой необходимой части одежды!“ До дагерротиповъ подобнаго рода графъ Толстой не доходитъ, его воздержность можетъ служить урокомъ всякому писателю, особенно начинающему. Изображая намъ перемиріе во время уборки труповъ, онъ не станетъ изображать намъ положеній, въ какихъ лежали жертвы недавняго боя, но онъ заставитъ читателя почувствовать то, что чувствовалъ самъ во время сказаннаго зрѣлища. Англійскій корреспондентъ, разсказывая про кавалерійское дѣло подъ Балаклавою, несмотря на всю свою горячность, подступаетъ къ своей задачѣ словно къ описанію великолѣпной скачки съ препятствіями. Графъ Толстой скупъ на великолѣпныя описанія, ибо хорошо знаетъ, что война кажется великолѣпнымъ дѣломъ только для поверхностныхъ зрителей, дилетантовъ. Подвиги, имъ изображаемые, не имѣютъ въ себѣ никакого великолѣпія, кромѣ великолѣпія, нравственнаго, если позволено такъ выразиться. Его герои не скачутъ на кровныхъ лошадяхъ при трубномъ звукѣ — они сидятъ въ душныхъ блиндажахъ, геройски переносятъ операціи, лежа на окровавленной госпитальной койкѣ, поддерживаютъ раненаго товарища и безстрашно идутъ на вылазку, во всей трогательной прозѣ военной жизни, въ фуражкахъ и розовыхъ рубашкахъ съ разстегнутымъ воротомъ, иногда даже въ стоптанныхъ сапогахъ, потому что недосугъ думать о сапогахъ, когда предстоятъ дѣла другого рода. Нужно ли сказывать, чьи картины вѣрнѣе и который изъ двухъ писателей оказалъ большую услугу массѣ своихъ согражданъ?

Превосходство нашего автора надъ многими хроникерами Крымской кампаніи заключается не въ одномъ складѣ его дарованія, преисполненнаго правды и разумности. Графъ Толстой, въ своихъ разсказахъ о Севастополѣ, важенъ какъ человѣкъ военный, какъ счастливѣйшій представитель обра-

зованнѣйшей части нашего достославнаго воинства. Онъ попалъ въ Крымъ не въ видѣ зрителя и живописца по приглашенію, не въ видѣ туриста, любящаго сильныя ощущенія, даже не въ видѣ литератора, явившагося на полѣ борьбы за новымъ вдохновеніемъ. Нашъ новый новеллистъ и дорогой товарищъ — русскій офицеръ, начавшій свою службу на Кавказѣ, много ночей спавшій у костра, рядомъ съ артиллерійскими солдатами, видавшій въ свою жизнь военныя дѣла и уже присмотрѣвшійся къ той картинности военнаго быта, которая всегда неотразимо поражаетъ людей незнакомыхъ съ жизнью воина. Для него русскій солдатъ занимателенъ не въ однѣхъ массахъ и не въ одной полной парадной формѣ, такъ драгоцѣнной англійскимъ корреспондентамъ: графъ Толстой знаетъ и любитъ солдата во всѣхъ видахъ и во всѣхъ случаяхъ солдатской жизни. Для его ума, изощреннаго раннимъ наблюденіемъ, извѣстное число военныхъ людей уже не представляется какою-то безразличною массою одинаково одѣтаго народа, сходнаго между собой по нравамъ, какъ и по костюму. Все общее, случайное, давно уже отброшено нашимъ нравописателемъ военнаго быта; все типическое, оригинальное, самостоятельное, прямо вытекающее изъ характера русскаго человѣка, предназначеннаго на военную дѣятельность, даетъ пищу графу Толстому, какъ поэту и какъ простому разсказчику. Отчего намъ какъ нельзя болѣе понятна та завидная популярность, какою пользуется графъ Толстой. Можетъ-быть, онъ самъ не догадывается о размѣрахъ этой популярности; но по нашему собственному опыту, довольно многостороннему по этой части, ея размѣры, увеличиваясь со всякимъ днемъ, уже достигли самой завидной степени. Много разъ намъ приходилось своими ушами слышать отзывы такого рода: „Никогда, ни одинъ русскій писатель не умѣлъ такимъ образомъ изображать русскаго военнаго человѣка“.

Подведя итогъ всему тому, что мы уже сказали о дарованіи молодого нашего повѣствователя, мы видимъ себя въ правѣ высказать мысль весьма утѣшительную. По независимости своего таланта, по разумности своего направленія, по отвращенію ко всякой фразѣ — качеству, до крайности рѣдкому въ наше время, — графъ Левъ Толстой представляется намъ, какъ одинъ изъ безсознательныхъ представителей

той теоріи свободнаго творчества, которая одна кажется намъ истинною теоріею всякаго искусства. Невозможно предположить, чтобы авторъ „Дѣтства“ дошелъ до этой теоріи путемъ долгаго опыта и изслѣдованіемъ вопросовъ о значеніи искусства; но всякій знаетъ, что натурамъ, блистательно одареннымъ, писателямъ, исполненнымъ истиннаго поэтическаго чутья, пониманіе правды дается вмѣстѣ съ самимъ талантомъ. Не одинъ очень молодой поэтъ, едва вступивъ на литературное поприще, открывалъ тѣ самые пути, около которыхъ опытные критики ходили много лѣтъ, ничего не видя и ничего не открывая. Все дѣло въ свѣжести дарованія, соединенной съ тою стойкостью натуры, безъ которой никогда не предпринимается ничего прочнаго. По первымъ произведеніямъ Л. Н. Т., въ немъ не трудно было распознать писателя вполнѣ независимаго. Самая тѣнь рутины не касалась его молодыхъ силъ. Онъ не зналъ многаго, но зато и не заблуждался во многомъ. Для него какъ будто не существовало прошлаго; всѣ мелкіе грѣшки нашей словесности, — ея общественный сентиментализмъ, ея робость передъ новыми путями, ея одностороннее стремленіе къ отрицательному направленію, наконецъ, остатки стараго дидактическаго педантизма, отнявшіе столько силы у нашихъ современныхъ дѣятелей, — нимало не отразились на талантѣ новаго повѣствователя. Когда постоянный рядъ успѣховъ, наконецъ, доставилъ графу Толстому почетное мѣсто въ строю русскихъ писателей, онъ уже твердо стоялъ на своихъ ногахъ, не чувствуя никакого расположенія увлекаться подражаніемъ кому бы то ни было. Дорожа своей первой дѣятельностью, онъ ясно увидалъ, какъ безполезно рисковать ею, устремляясь съ своей собственной дороги на путь чуждый. Ни къ сентиментализму, ни къ дидактическимъ фразамъ любви онъ не чувствовалъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ далекъ и отъ другой крайности воззрѣнія, вслѣдствіе котораго искусство чистое, но понятое черезчуръ исключительно, становится проводникомъ мелкаго дагерротипнаго реализма, не оживленнаго никакой дѣльной мыслью. Вѣря въ себя и въ свое призваніе, онъ отшатнулся отъ всѣхъ преходящихъ воззрѣній и пошелъ по той дорогѣ, куда влекла его сила таланта. Судьба, такъ благосклонная къ нашему автору при самомъ началѣ его поприща, не измѣнила ему и въ минуту кризиса. Теперь

для насъ не можетъ быть сомнѣнія въ дальнѣйшемъ направленіи всей дѣятельности графа Толстого. Онъ навсегда станетъ независимымъ и свободнымъ творцомъ своихъ произведеній. Ему нечего бояться литературной рутины: онъ не будетъ писать сентиментальныхъ диссертацій на современныя темы, и вмѣстѣ съ тѣмъ не станетъ изображать какого-нибудь журчанья ручейка, если его собственное настроеніе не повлечетъ его къ журчащему ручью съ непреодолимою силой. Онъ будетъ прямъ и искрененъ въ проявленіяхъ своей поэтической фантазіи. Если ему вздумается написать идиллію — никакой авторитетъ не склонитъ его передѣлать идиллію въ сатиру. Если вдохновеніе застанетъ его въ минуты тяжелыя для души — графъ Толстой не станетъ насиловать себя для идиллической картины. Весь міръ раскроется передъ нимъ со своими свѣтлыми и темными сторонами, а онъ не устремится къ той или другой сторонѣ міра по чужому указанію. Оттого въ графѣ Толстомъ еще болѣе, нежели въ другомъ его сильномъ сверстникѣ — Островскомъ, мы видимъ правильное наступательное движеніе современной изящной словесности въ сторону истиннаго пониманія законовъ искусства. Г. Островскій, при всѣхъ его заслугахъ, при всей важности дѣла, имъ совершоннаго, имѣлъ свои колебанія и склонялся къ дидактикѣ своего рода. Независимость и литературная самостоятельность автора „Дѣтства“ были постоянно одинаковы во всѣ періоды его дѣятельности. Нельзя не подивиться и не порадоваться этой несокрушимой стойкости направленія, устоявшей противъ всѣхъ искушеній, противъ всѣхъ иллюзій молодости, противъ литературныхъ преданій, наложившихъ свое вліяніе на души талантливыхъ, самыхъ опытныхъ нашихъ товарищей. Можно находить многіе недостатки въ произведеніяхъ Толстого, но направленію ихъ не можетъ сдѣлать упрека критикъ самый придирчивый. Тутъ нѣтъ ни преднамѣренной дидактики, ни идиллической несостоятельности передъ темной стороной жизни, — ни заранѣе накинутой на себя мизантропіи, ни розоваго свѣта, ни безстрастія, ни сентиментальности. Тутъ все твердо и свободно. Преднамѣренно-поучительная мысль не выглядываетъ отовсюду, какъ кость какого-нибудь сухощаваго оратора, наставительныя умозрѣнія не портятъ своимъ присутствіемъ поэзіи свободной и чистой, — чистая поэзія не

исключаетъ серіознаго взгляда на дѣла жизни. Все строго и соразмѣрно съ своей цѣлью, всѣ стороны міра равны передъ поэтическимъ взглядомъ писателя, — и самъ писатель твердо вѣритъ, что ему дано отъ судьбы полное право итти въ ту сторону, куда зоветъ его загадочная и талантливая сила, называемая вдохновеніемъ. *Дружининъ.*

Общее содержаніе и идея разсказа „Казаки".

Перломъ среди кавказскихъ разсказовъ остается все-таки повѣсть „Казаки", появившаяся въ первый разъ въ печати только въ 1863 году, хотя начата она была еще во время пребыванія Толстого на Кавказѣ. Молодой, знатный московскій баринъ, Оленинъ, спустившій, игрой и разными пустыми развлеченіями, значительную часть своего состоянія, прощается съ друзьями и одной зимней ночью отправляется на Кавказъ. Жизнь, которую онъ до сихъ поръ велъ, опротивѣла ему. Онъ рѣшилъ стряхнуть съ себя однообразіе и пустоту жизни въ обществѣ и сдѣлаться совсѣмъ новымъ человѣкомъ. Онъ поселился на берегу Терека, живетъ въ казацкой семьѣ; дядя Ерошка, старый охотникъ, любитель выпивки и пѣсенъ, посвящаетъ его въ тайны этой новой для него жизни. Его задача — вырвать съ корнемъ тѣ извращенныя мысли и чувства, которыя отравляли ему жизнь, и возвратиться къ природѣ, въ полномъ отчужденіи отъ которой жилъ онъ до сихъ поръ. Онъ ходитъ съ казаками на охоту, живетъ, ѣстъ, пьетъ, какъ они, и надѣется стать въ концѣ концовъ настоящимъ казакомъ. Красавица Марьянка, дѣвушка-казачка, дочь людей, у которыхъ онъ живетъ, возбуждаетъ сначала его вниманіе, затѣмъ удивленіе и, наконецъ, глубокую любовь, которой онъ не въ силахъ побороть. До сихъ поръ романтикъ старой школы разрабатывалъ бы эту фабулу такъ же, какъ сдѣлалъ это Толстой. Но тутъ вступаетъ въ свои права реализмъ, столь свойственный нашему писателю, и все дѣло принимаетъ совсѣмъ иной оборотъ. Страсть Оленина къ молодой дѣвушкѣ остается совершенно непонятной. Всѣмъ своимъ поведеніемъ Марьянка доказываетъ, что къ этой здоровой, простой натурѣ не при-

станетъ ничто, чѣмъ Оленинъ желаетъ выказать свою любовь. Она находитъ странными его манеры, начинаетъ почти что бояться его, когда его съ трудомъ сдерживаемое чувство вырывается наружу въ двухъ-трехъ несвязныхъ словахъ. Въ душѣ она совершенно равнодушна къ нему. Какъ изображаетъ ее авторъ, она, красивая и сильная, гордая и съ богатымъ природнымъ умомъ, казачка душой и тѣломъ, живетъ въ такой сферѣ, которая совершенно недоступна для сентиментальнаго культурнаго человѣка, который охотно разстался бы съ обычными условіями жизни и не можетъ сдѣлать это, при всемъ своемъ желаніи. Марьянка создана для сына того народа, къ которому принадлежитъ она сама, въ родѣ Лукашки. По отношенію къ знатному барину, связанному съ ихъ средой только внѣшнимъ образомъ, она проявляетъ чувствъ не больше, чѣмъ рѣки и горы ея страны. Въ письмѣ, въ которомъ Оленинъ описываетъ всю безнадежность своего положенія, онъ приходитъ къ слѣдующему выводу относительно Марьянки: „Въ нелѣпыхъ мечтахъ я воображалъ ее то своею любовницею, то своею женой, и съ отвращеніемъ отталкивалъ и ту и другую мысль. Сдѣлать ее дѣвкой было бы ужасно. Это было бы убійство. Сдѣлать ее барыней, женою Дмитрія Андреевича Оленина, какъ одну изъ здѣшнихъ казачекъ, на которой женился нашъ офицеръ, было бы еще хуже. Вотъ ежели бы я могъ сдѣлаться казакомъ, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться пѣснями, убивать людей и пьянымъ влѣзать къ ней въ окно на ночку, безъ мысли о томъ, кто я? и зачѣмъ я? — тогда бы другое дѣло, тогда бы мы могли понять другъ друга, тогда бы я могъ быть счастливъ. Я пробовалъ отдаваться этой жизни, и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость, свою изломанность. Я не могъ забыть себя и своего сложнаго, не гармоническаго, уродливаго прошедшаго. И мое будущее представляется мнѣ еще безнадежнѣе. Каждый день передо мною далекія снѣжныя горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свѣтѣ счастье, не для меня эта женщина. Самое ужасное и самое сладкое въ моемъ положеніи то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не пойметъ меня. Она не пойметъ не потому, что она ниже меня, напротивъ, она не должна понимать меня.

Она счастлива, она, какъ природа, ровна, спокойна и сама въ себѣ. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобъ она поняла мое уродство и мои мученія!“ Съ гораздо большей тяжестью на сердцѣ, чѣмъ какую чувствовалъ онъ до своего отъѣзда на Кавказъ, возвращается онъ къ своему полку въ крѣпость. Когда запрягали лошадей, онъ замѣтилъ, что ни дядя Ерошка ни Марьянка даже и не смотрятъ на него, а просто толкуютъ о своихъ дѣлахъ.

Такой исходъ любовной исторіи Оленина былъ принятъ съ удивленіемъ, какъ ни обоснованъ онъ, повидимому, данными условіями и характерами дѣйствующихъ лицъ. Но если бы отбросили условныя воззрѣнія и взглянули на дѣло просто, то легко нашли бы, что содержаніи этой повѣсти, цѣликомъ взятое изъ дѣйствительной жизни, по меньшей мѣрѣ столь же поэтично, какъ и традиціонная романтика. Какъ просто и естественно въ этой повѣсти описаніе Москвы ночью, прощальнаго настроенія друзей, кончающихъ ужинъ, въ то время какъ слуга въ передней съ нетерпѣніемъ ожидаетъ окончанія бесѣды, а передъ подъѣздомъ запряженная въ сани тройка роетъ снѣгъ! Затѣмъ эта поѣздка на югъ зимней ночью, сначала по длиннымъ улицамъ Москвы, а затѣмъ большой дорогой, между тѣмъ какъ въ воображеніи Оленина воспоминанія о прошедшей жизни перемѣшиваются съ мечтами о будущемъ въ быстро смѣняющихся образахъ. Онъ чувствуетъ, что до сихъ поръ онъ, собственно говоря, даже не жилъ еще, несмотря на всѣ свои попытки — испробовать всѣ наслажденія и завоевать себѣ положеніе въ свѣтѣ. Не имѣя ни семьи ни внѣшнихъ побужденій къ дѣятельности онъ утерялъ вѣру въ счастье; но теперь, „уѣзжая изъ Москвы, онъ находился въ томъ счастливомъ молодомъ настроеніи духа, когда, сознавъ прежнія ошибки, юноша вдругъ скажетъ себѣ... что теперь начинается новая жизнь, въ которой уже не будетъ больше тѣхъ ошибокъ, не будетъ раскаянія, а навѣрное будетъ одно счастіе“. При видѣ снѣжныхъ равнинъ, пробѣгающихъ мимо него, онъ думаетъ то о томъ, то о другомъ, вспоминая друзей, женщинъ, неоплаченные счеты. Въ немъ крѣпко засѣла мечта о женщинѣ, которую онъ надѣется найти на Кавказѣ: „И тамъ она, между горъ, представляется воображенію въ видѣ черкешенки-рабыни, съ стройнымъ станомъ, длинною косой и

покорными глубокими глазами. Ему представляется въ горахъ уединенная хижина, и у порога *она*, дожидающаяся его въ то время, какъ онъ, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается къ ней, и ему чудятся ея поцѣлуи, ея плечи, ея сладкій голосъ, ея покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. Въ длинные зимніе вечера онъ начинаетъ воспитывать ее. Она умна понятлива, даровита и быстро усвоиваетъ себѣ всѣ необходимыя знанія. Отчего же? Она очень легко можетъ выучить языки, читать произведенія французской литературы, понимать ихъ. Notre Dame de Paris, напримѣръ, должно ей понравиться. Она можетъ и говорить по-французски. Въ гостиной она можетъ имѣть больше природнаго достоинства, чѣмъ дама самаго высшаго общества. Она можетъ пѣть, просто, сильно и страстно". Оленинъ пробуждается отъ этихъ мечтаній и находитъ, что все это вздоръ; но опять и опять ищетъ воображеніемъ этого вздора. Югъ становится все ближе, все больше измѣняется ландшафтъ; живописнѣе становится одежда людей, попадающихся навстрѣчу; все отраднѣе становится на душѣ у Оленина. Наконецъ, въ свѣжемъ утреннемъ воздухѣ онъ видитъ вдали уходящія въ облака вершины безконечныхъ горъ, составляющихъ цѣль его путешествія. Описанія Кавказа тѣсно связаны съ изображеніемъ разнообразныхъ характеровъ. Отправившись однажды на охоту одинъ, лицомъ къ лицу съ спокойной, вѣчной, равнодушной природой, онъ, казалось ему, нашелъ то, что одно только даетъ цѣнность жизни и удовлетвореніе. „Счастье вотъ что,— сказалъ онъ самъ себѣ:— счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья, стало-быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то-есть отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!" Какъ много изъ собственной философіи жизни вложилъ Толстой въ образъ Оленина, видно уже изъ одного этого признанія, въ которомъ выразилась суще-

ственнѣйшая сторона этики и всего вообще міросозерцанія Толстого. Характеры, встрѣчающіеся въ „Казакахъ“, не менѣе оригинальны, чѣмъ самая фабула этой повѣсти: старый, загорѣвшій отъ солнца и вѣтра сѣдобородый великанъ Ерошка, вся жизнь котораго проходитъ въ охотѣ, пьянствѣ, болтовнѣ и пѣніи, засиживающійся, подъ веселую руку, за стаканчикомъ до той поры, что его приходится прямо уносить; молодой казакъ Лукашка, убивающій человѣка, какъ будто рѣжетъ курицу; самъ Оленинъ и еще четыре-пять фигуръ, стоящихъ на второмъ планѣ, родители Марьянки, слуга Оленина — Ванюшка и другіе. *Цабель.*

Дѣйствующія лица въ разсказѣ „Казаки“ и ихъ характерныя черты.

Съ точки зрѣнія художественнаго совершенства, лучшій типъ, созданный гр. Л. Толстымъ въ его послѣднемъ романѣ — это, мнѣ кажется, безспорно, казакъ Ерошка — типъ, глубоко постигнутый, оригинальный и живой.

Дядя Ерошка прежде всего *казакъ*. Какъ линейный казакъ, соперникъ и сосѣдъ чеченца, онъ проникнутъ насквозь духомъ молодечества; но его молодечество не чопорная бравура французскаго рыцаря, не дикое безстрашіе скандинавскаго бирзеркера; онъ не просто молодецъ, а *казакъ-молодецъ, джигитъ*, какъ онъ самъ любитъ называть подобныхъ себѣ. Джигиту, по догматамъ джигитовъ, великая честь подстеречь неосторожнаго врага и просадить ему пулей голову изъ потаеннаго мѣста; джигиту великая слава тайкомъ отправиться съ товарищемъ въ аулы мирныхъ ногайцевъ и угнать отъ нихъ въ горы табунъ или стадо, хотя бы пришлось для этого задушить спящихъ пастуховъ и разорить деревню. Искусно, а главное, *безнаказанно украсть* что-нибудь у чужого — даетъ джигиту такое же право на уваженіе товарищей, какое мы, цивилизованные люди, признаемъ за великими нашими дипломатами, умѣющими оттягать отъ иностранной державы лишнюю сотню миль или лишній милліонъ франковъ. Ему его воровство кажется столь же мало безчестнымъ, какъ англичанину плутни его дипломатіи.

Дядя Ерошка вѣритъ въ свои догматы, какъ въ свои пять пальцевъ; онъ обнаруживаетъ ихъ не только съ полною откровенностью, но даже съ хвастовствомъ и гордостью человѣка, сознающаго размѣръ своихъ заслугъ...

Къ людямъ, не понимающимъ его догматовъ — неодобреніе онъ можетъ считать только за непониманіе — дядя Ерошка относится какъ къ неразумнымъ ребятамъ полупрезрительно, полунасмѣшливо, полужалѣя. Онъ даже считаетъ за лишнее убѣждать ихъ тѣмъ болѣе, что по натурѣ своей исполненъ терпимости къ слабостямъ другихъ. Но зато онъ серіозно уважаетъ и отличаетъ истиннаго джигита, что значитъ *истиннаго человѣка*, по идеалу дядей Ерошекъ. Лукашка, застрѣлившій абрека, Лукашка, воровавшій съ Гирей-ханомъ, въ его глазахъ есть лучшій исполнитель своего призванія, своего долга. За его удаль онъ полюбилъ его какъ родного сына: онъ его учитъ, интересуется имъ, любуется на него, расхваливаетъ его другимъ; между ними устанавливается крѣпкая нравственная связь помимо расчетовъ и внѣшней случайности.

Другая черта, усложняющая характеръ стараго казака—это то, онъ что охотникъ, бродяга. Охота придаетъ его физіономіи и его воззрѣніямъ болѣе личный колоритъ. Она дѣлаетъ его еще большимъ непосѣдою, чѣмъ обыкновенно бываетъ казакъ. Она до такой степени освоиваетъ его съ зоологическою жизнью лѣсовъ, что онъ едва отличаетъ въ своихъ понятіяхъ дикую свинью отъ чужого человѣка. Онъ въ звѣрѣ видитъ живое существо съ разсудкомъ, чувствомъ, обычаями иными, чѣмъ у казака или чеченца, но иными въ томъ же смыслѣ, какъ у нѣмца въ сравненіи съ русскимъ, у татарина съ жидомъ. Это придаетъ его міросозерцанію что-то пантеистическое и вмѣстѣ поэтическое. Тутъ онъ прячется не за общеказацкимъ догматомъ, а за плодомъ личныхъ наблюденій, за выводомъ своего многолѣтняго и внимательнаго общенія съ природою. Онъ втянулся въ нее совсѣмъ съ головою и инстинктивно чувствуетъ себя ея нераздѣльною частью, однимъ изъ тѣхъ ея созданій, которымъ нельзя счета найти, которыя наполняютъ непроходимые лѣса и камыши, и тайныя подземныя норы, и безграничныя травяныя степи. Съ зари и до зари, изъ году въ годъ сидитъ и бродитъ онъ въ этихъ камышахъ и подъ этими чинарами; онъ за-

стаетъ своими собственными глазами всевозможные моменты животной жизни: слѣдитъ выдру подъ водой, подманиваетъ тетеревовъ, обходитъ лежку кабана. Передъ нимъ и они слѣдятъ и ловятъ другъ друга, употребляютъ то же насиліе и тотъ же обманъ, какъ человѣкъ; какъ онъ, требуютъ пищи и покоя, и удовлетворенія страстямъ; какъ онъ, родятся въ болѣзняхъ и сосутъ молоко матери, мужаютъ, укрѣпляясь тѣломъ и смысломъ, болѣютъ и умираютъ, скорбятъ и радуются. Какъ у него, у нихъ есть жены и семейства, и домашній кровъ, и родная земля, любовь и дружба, страхъ и гнѣвъ. Другіе могутъ этого не знать, могутъ искажать съ разными цѣлями представленія свои о животныхъ тварях. Но дядѣ Ерошкѣ не знать звѣря нельзя, и унижать звѣря нѣтъ никакой причины. Онъ лучше всѣхъ знаетъ, что между нимъ и кабаномъ бездна не безмѣрно велика; знаетъ уже по тому одному — какое напряженіе физическихъ силъ, энергіи и умственной изобрѣтательности необходимо ему употребить для одолѣнія этого звѣря, то-есть для фактическаго доказательства своего превосходства надъ нимъ. Это напряженіе ощущается имъ слишкомъ осязательно и непосредственно, чтобы не быть сознаннымъ.

Отсюда прямо вытекаютъ религіозныя представленія дяди Ерошки. Онъ не въ силахъ раздѣлить свою судьбу отъ судьбы милліоновъ другихъ созданій, такъ близко къ нему подходящихъ, составляющихъ, такъ сказать, его домочадцевъ, знакомцевъ и соотечественниковъ. У дяди Ерошки то же приравненіе себя къ животному, но только болѣе реальное, основанное на опытѣ. Онъ видѣлъ, какъ умирали чеченцы, олени и казаки, и видѣлъ, что гдѣ они гнили — трава вырастала. Старый казакъ когда-то сказалъ ему, что *все то фальшь, что уставщики говорятъ;* эта мысль и застряла у него въ головѣ, потому что она вполнѣ подтверждала его собственный опытъ. Удивительно ли, что формальныя толкованія раскольничьихъ книгъ полуграмотными начётчиками, толкованія о какихъ-то неуловимыхъ, отвлеченныхъ предметахъ языкомъ нечеловѣчески-изломаннымъ — казались одною фальшью человѣку лѣса и поля, привыкшему не къ рѣчи, а къ дѣлу, не къ скучной книгѣ, а къ свѣжей природѣ.

Религіозныя воззрѣнія дяди Ерошки даже не кажутся намъ какимъ-нибудь исключительнымъ явленіемъ въ жизни

простого народа. Это не какой-нибудь Lucifer Бартольда Ауэрбаха, не какой-нибудь esprit fort, возстающій противъ старыхъ догматовъ во имя чего-либо новаго. Дядя Ерошка, по болтливости стараго кутилы и празднаго охотника, весь нараспашку за кружкой чихиря. Оленинъ простъ, по его мнѣнію; онъ его не опасается, не стѣсняется имъ, а говоритъ по душѣ. Въ сущности же онъ и религіозенъ не болѣе большинства. Надо еще замѣтить, что дядя Ерошка даже и въ такомъ откровенномъ расположеніи духа боится формулировать свои сомнѣнія въ сколько-нибудь рѣшительный выводъ; онъ разомъ прекращаетъ разговоръ, когда замѣчаетъ соблазнительность его исхода...

Третья характерная черта дяди Ерошки — это его эпикуреизмъ на казацкій ладъ. Онъ не можетъ подчиниться условіямъ гражданской жизни, дисциплинѣ арміи, дисциплинѣ закона. Онъ не боится труда, но не выноситъ принужденія. Вѣдь издыхаютъ же въ клѣткахъ самые сильные и здоровые звѣри. Рожденный въ лѣсахъ Терека, среди горъ, онъ не можетъ разстаться съ почвою, его вскормившей. Онъ питается корочкою хлѣба, когда нечего съѣсть, но онъ зато не работаетъ и не служитъ. Онъ всегда господинъ своего времени и своей воли: идетъ куда вздумаетъ, зачѣмъ вздумаетъ, къ кому вздумаетъ. Попробуйте назначить горному хищнику — орлу или коршуну — гдѣ и какъ онъ долженъ ловить свою добычу. Для дяди Ерошки жизнь есть свобода, иначе онъ не въ состояніи мыслить жизнь. День и ночь онъ шатается по камышамъ, по колючимъ кустарникамъ, по глухимъ лѣсамъ. Онъ едва спитъ: до зари уже съ ружьемъ. *Сидѣть въ хатѣ онъ просто не умѣетъ.*

„Что дома-то сидѣть? только нагрѣшишь, пьянъ надуешься. Еще бабы тутъ придутъ, тары да бары; мальчишки кричатъ, угоришь еще; то ли дѣло на зорькѣ выйдешь?...“ и т. д.

Но уже если разъ онъ дома, ему хочется побаловать себя, ему хочется веселой компаніи за бутылкой чихиря, и, конечно, чужого чихиря, потому что своего хозяйства у него нѣтъ. Поэтому онъ такъ любитъ простыхъ людей, въ родѣ Оленина, то-есть такихъ, у которыхъ можно выпить. Онъ ихъ по чутью узнаетъ и сходится съ ними въ одну минуту. Но тутъ дѣйствуетъ не одно побужденіе выпивки и блудолизничества. Дядя Ерошка не унижается чужимъ угощеніемъ и

не считаетъ его за подачку, за милость. Онъ твердо убѣжденъ, что самъ понадобится не нынче — завтра, и что его услуга будетъ нисколько не меньше, хотя и въ другомъ родѣ. У него нѣтъ чихиря, но можетъ быть кабанья свѣжина, и тогда ему вся станица кланяется; нѣтъ пороха, но зато бываютъ фазаны. Оттого онъ за чужимъ столомъ, какъ за своимъ: посылаетъ Оленинскаго деньщика покупать чихирь на деньги Оленина, будто въ свой собственный погребъ, всѣмъ распоряжается безъ всякаго смущенія и стѣсненія. Но въ немъ чувствуется не безстыдникъ, не эксплоататоръ, а щедрая душа, привыкшая вездѣ раскошеливаться. Посмотрите, сколько привлекательнаго въ этомъ откровенномъ, безхитростномъ подступѣ его къ Оленину, въ минуту перваго знакомства. Это именно подступъ простой души, не знающей и знать не желающей той условной лжи, которой сложная система стремится совсѣмъ замѣнить нашу жизнь...“

„Ерошка очарователенъ именно своею реальностію, полнотою, а не выдуманностью и односторонностью. Онъ — человѣкъ практическій, живетъ легко и весело. Впечатлѣнія его не глубоки, но живы, взглядъ широкій, свѣтлый и спокойный. Иначе бы и не дожить ему въ такомъ кабаньемъ здоровьѣ до сѣдой бороды, не быть бы въ 70 лѣтъ румянорожимъ кутилой и плясуномъ. Изъ этихъ условій вытекаетъ его благорасположеніе къ людямъ, его поэтическое чувство природы; но въ жизни его не существовало никакихъ условій, способныхъ очистить его характеръ, языкъ и привычки отъ вліяній обстановки, ремесла и вѣковыхъ преданій; и онъ является съ ними со всѣми, какъ есть, живой, выпуклый, навсегда памятный.

Казакъ Лука — джигитъ, удалецъ, но не можетъ такъ симпатически дѣйствовать на чувства читателя, какъ дѣйствуетъ старый циникъ Ерошка. Въ Лукашкѣ много сухой серіозности, односторонности и прозы. Это идеалъ казака, упорно вѣрующій въ малѣйшій догматъ казачества, не знающій ни въ чемъ отступленія, сомнѣнія, колебаній. Въ него не вложено ни одной искры поэзіи, ни одной соринки скептицизма, отчего отъ него нѣсколько пахнетъ умственною ограниченностью. Въ Ерошкѣ сидитъ, хотя очень глубоко, бѣсъ новизны, реформы. Ерошка оттрепанъ на всѣ бока своимъ житейскимъ опытомъ; инстиктивно онъ понялъ отно-

сительность и условность многаго. Рѣзкость его лѣсныхъ вкусовъ и казацкихъ догматовъ смягчились столько же этимъ долголѣтнимъ опытомъ, сколько несомнѣнно-поэтическимъ складомъ его души. Но Луку мы застаемъ во всемъ весеннемъ сокотеченіи грубыхъ силъ; ослабленіе физической жизни еще не уступило умственнымъ силамъ его господства надъ его дѣйствіями. Оттого онъ рѣзокъ, суровъ и исключителенъ. Въ убійствѣ абрека, даже при созерцаніи трупа его, онъ еще не умѣетъ видѣть что-нибудь иное, кромѣ собственнаго подвига; онъ дрожитъ отъ радости, какъ коршунъ, задравшій перепелку, и полонъ только одной казацкой гордости. Но это не кровожадность, не дрянное чувство радости о гибели другого. Это — безсознательное, вполнѣ естественное ощущеніе хищной птицы или кошки, удовлетворившей своей органической потребности. Безнравственнаго тутъ уже ничего не откопаешь. Такова же его любовь къ Марьянѣ: прямая, откровенная, пропечатанная до послѣдней буквы въ каждомъ его жестѣ и словѣ. Онъ не скрываетъ, чего хочетъ отъ Марьянки — ни отъ нея самой, ни отъ людей; онъ даже не подозрѣваетъ, что у кого-нибудь могутъ быть поводы скрывать это. Марьянка лучше другихъ дѣвокъ, больше по вкусу ему: но онъ ничуть не мечтаетъ, будто бы она для него незамѣнима: она — или никто... Вовсе нѣтъ: не пошла Марьянка — другую бы взялъ, казачекъ хорошихъ много; не удается ему къ Марьянкѣ въ окно влѣзть — поворачиваетъ къ Ямкѣ, и дѣло съ концомъ. Для Марьянки онъ не пожертвуетъ также своими военно-казацкими интересами. Ихъ только онъ считаетъ *настоящимъ дѣломъ*, а всѣ свои бесѣды съ Марьянкой, всѣ свои попойки у Ямки — однимъ баловствомъ, гуляньемъ, пригоднымъ между дѣломъ и въ свой часъ. Марьянка не закрыта отъ него никакими иллюзіями; онъ не считаетъ разрушеніемъ своей любви открыто-высказаннаго ей подозрѣнія въ невѣрности; онъ въ этой невѣрности видитъ весьма естественное событіе, хотя лично ему невыгодное. Онъ не изнываетъ въ психическихъ мученіяхъ, какъ сдѣлалъ бы на его мѣстѣ какой-нибудь Грыцько или Остапъ Марко-Вовчка, а просто-на-просто грозитъ Марьянѣ и ругается съ нею. Такъ же ругается онъ и въ отвѣтъ на постоянные ея отказы его желаніямъ: „Хорунжиха! замужъ выйдешь“, ворчитъ онъ презрительно на свою возлюбленную.

Такъ же откровенны, можно сказать, всенародны его кутежи у Ямки, его связи съ прежнею любовницей; все это основано на казацкихъ принципахъ, допускается казацкою моралью — стало-быть, изъ чего тутъ скрываться? Оттого въ его пьянствѣ и развратѣ не видишь ничего омерзительнаго, унижающаго, какъ нельзя видѣть ничего этого въ жизни дикаго коня. Что бы ни дѣлалъ звѣрь — онъ никогда не представляется намъ безнравственнымъ, грязнымъ, но всегда естественнымъ, исполненнымъ своего особеннаго достоинства и своей особенной красоты; потому что онъ всегда вѣренъ самому себѣ, никогда не ниже себя. Когда гуляетъ Лука, чувствуешь, что этому организму надо выпить и нагуляться именно настолько, что это не извращенье инстинктовъ, не болѣзненное раздраженье вкусовъ, которыя такъ часто встрѣчаются въ иныхъ слояхъ общества.

Отношенія Лукашки къ матери, вставленныя авторомъ словно мимоходомъ, прекрасно дорисовываютъ его портретъ. Эти отношенія опять-таки глубоко казацкія, глубоко простонародныя. Что ни говори, а въ настоящей русской семьѣ, не только мужицкой, но даже и купеческой, взрослые сыновья безъ отца дѣлаются хозяевами, властелинами своихъ матерей. Лука — суровый и эгоистическій хозяинъ, какъ все наше простонародье. Баба, хотя она и мать, не слышитъ отъ него ласки и праздпаго разговора. Какъ казакъ, онъ особенно презираетъ бабу: баба не воинъ, не джигитъ, бабѣ только пироги печь; что съ нею толковать? Спросилъ чихирю, прикрикнувъ для порядка да и за дѣло. Помыслы Луки, какъ и всякаго казака, внѣ семьи; ему дома скучно и почти неприлично. А между тѣмъ онъ уважаетъ мать по-своему: онъ ей достанетъ все, что нужно, онъ не дастъ ее обидѣть, онъ на нее не только не осмѣлится руки поднять, но даже нехорошее слово сказать. И народъ кругомъ, и сама мать, и самъ Лука увѣрены, что онъ почтительный, добрый сынъ, какъ слѣдуетъ казаку и православному быть, хотя онъ презираетъ нѣжничанье и возню съ бабой. Чѣмъ онъ виноватъ? Онъ слѣдуетъ только тому, чему научили его собственные гувернеры — Ерошки и Гирейханы; онъ помнитъ только свои лекціи, прослушанныя когда-то въ камышахъ Терека и на вышкѣ кордона. Конечно, пріятно было бы устроить чувствительный пейзажъ съ одной стороны изъ престарѣлой матери,

обливающей слезами стремя сыновняго коня, лобзающей сына въ уста и въ очи, называющей его „желаннымъ“ и „сизымъ голубемъ„ и „дитяткой ненагляднымъ“; а съ другой стороны отъ этого статнаго юноши съ поникшимъ челомъ и съ слезою, повисшей на черномъ усѣ: „Прощай, моя ясочка, родимая моя!“ могъ бы тихо прошептать онъ; „кто-то будетъ мнѣ расчесывать шелковыя кудри мои, кто-то будетъ миловать да голубить“; а она бы еще; а онъ бы еще, и кончить потомъ многими точками. Я знаю, что эта сцена вышла бы поразительною подъ талантливымъ перомъ нашего знаменитаго изслѣдователя простонародной жизни — Марка-Вовчка. Но что же дѣлать? Нѣкоторые односторонніе писатели не любятъ почему-то поразительныхъ сценъ; надо и имъ когда-нибудь уступить.

Лукашка выступаетъ грубымъ прозаикомъ еще въ одномъ обстоятельсвѣ своей жизни: въ дружбѣ съ Оленинымъ. Несмотря на беззавѣтную доброту Оленина, на его горячія желанія сдѣлать для счастія Луки все, отъ него зависящее, Лукашка ведетъ себя настоящимъ болваномъ; надъ сердечными изліяніями Оленина онъ внутренно подсмѣивается и долго не вѣритъ чистотѣ его намѣреній. Даже послѣ подарка Оленинскаго, Лука не разубѣждается, а ждетъ все, что Оленинъ выпроситъ у него что-нибудь себѣ, взамѣнъ подареннаго коня; онъ радъ-радехонекъ, что можетъ отдѣлаться однимъ кинжаломъ. Только впослѣдствіи, когда ему сказали старики, что русскіе всегда такіе дураки и богачи, онъ какъ будто понялъ Оленина, и пересталъ его подозрѣвать. Васъ, можетъ быть, удивляетъ, отчего этотъ безсердечный юноша, безъ всякой причины, такъ упорно не хотѣлъ вѣрить теплымъ словамъ дружбы? Вещь очень простая, читатель! для него эти слова имѣютъ то же значеніе, какъ для насъ съ тобою стереотипныя фразы писемъ: *многоуважаемый господинъ* или *имѣю честь остаться душевно вамъ преданнымъ*. Казаки и чеченцы не словами, а дѣлами, съ мальства научили его, что чужого коня можно достать или своимъ золотомъ, или своею кровью; что безъ собственной выгоды одинъ человѣкъ для другого пальцемъ не пошевелитъ; что не только слова, даже клятвы даются именно тѣми, кто скорѣе всего готовъ ихъ нарушить. Послушайте, какъ учитъ его довѣрію къ людямъ его сѣдой дядька и гувернеръ — Ерошка:

„Гирей-хану вѣрить можно, его весь родъ — люди хорошіе; его отецъ вѣрный кунакъ былъ. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда вѣрно будетъ; а поѣдешь съ нимъ, все пистолетъ наготовѣ держи... Вѣришь— вѣрь, а безъ ружья спать не ложись“. Грубый въ страстяхъ, грубый въ любви, грубый въ дружбѣ — вотъ, значитъ, и весь Лукашка — подумаете вы, весь идеалъ казака. Нѣтъ, далеко не весь. Казакъ — вѣчный воинъ, вѣчный борецъ. Тутъ все его содержаніе, вся его добродѣтель и мораль. Лукашка переполненъ этой существенно-казацкой добродѣтелью. Къ ней прикованы его фантазіи и его сознаніе. Долгъ въ отношеніи къ ней — для него святъ и неуклоненъ, какъ Божья заповѣдь. Она — *дѣло;* все остальное — пустая, ребяческая забава. Лукашка, такъ безцеремонно трактующій свою невѣсту-любовницу, такъ безпросыпно гуляющій въ станицѣ съ своимъ другомъ Назаркою — тотъ же Лукашка сидитъ, не смыкая глазъ, цѣлыя ночи на берегу Терека, оберегая родную станицу; онъ первый бросается на пули и ножи арбековъ; онъ когда нужно, не раздумывая, переплываетъ Терекъ, подвергая себя всевозможнымъ опасностямъ. Рыцарскій духъ казака горитъ въ немъ жаркимъ, для всѣхъ замѣтнымъ, пламенемъ. Сами товарищи лучше всего чуютъ въ немъ присутствіе этого избраннаго духа, и невольно уступаютъ ему въ дѣлѣ первый шагъ и первый голосъ, помимо всѣхъ чиновныхъ и сѣдыхъ старшинъ...

Въ типѣ Марьянки нѣтъ ни малѣйшаго недостатка опредѣленности; она намъ ясна до осязательноти. Это — здоровая, красивая, молодая дѣвка, такъ же точно вѣрная во всемъ своей сферѣ и своей породѣ, какъ буйволица вѣрна своимъ. Посмотрите, какими глазами смотритъ она на свою красоту, на свои отношенія къ Лукашкѣ. Жизнь успѣла уже показать ей, что всѣ молодыя дѣвки въ свою пору нравятся парнямъ, что за всѣми ухаживаютъ, отъ всѣхъ добиваются поцѣлуевъ и обѣщаній; стало-быть, ничего особенно лестнаго, исключительнаго не можетъ быть въ отношеніяхъ къ ней ея Лукашки. Лукашка добивается своего, для себя, а не для нея. Лукашка будетъ ее бить, когда станетъ ея мужемъ; ластится онъ до поры до времени, пока она еще не въ рукахъ. Она знаетъ, что не одна она привлекала его, что онъ даже къ ней ходитъ отъ своей прежней душеньки. Отсюда понятно

ея довольно равнодушное и нѣсколько строгое поведеніе по отношенію къ Лукѣ. Нельзя сказать, что она его не любитъ; она желала бы изъ всѣхъ казаковъ имѣть мужемъ Лукашку; Лукашка — молодецъ собою, первый храбрецъ, на виду у всей станицы. Она тоже изъ первыхъ дѣвокъ въ станицѣ; это ей всѣ говорятъ, и она на столько сама понимаетъ; поэтому имъ сподручнѣе всего быть мужемъ и женою. Тутъ не одно благоразуміе: и физическая страсть уже говоритъ въ этомъ крѣпкомъ, молодомъ тѣлѣ. Но странно бы было приписать этой страсти подавляющее значеніе, какъ поступаетъ обыкновенно въ отношеніи своихъ героинь Жоржъ-Зандъ и ея крошечные копировщицы и копировщики.

„Благоразуміе и чувство туземнаго приличія заставляетъ Марьянку сдерживать нетерпѣніе молодого казака; она не прочь цѣловаться съ нимъ, она позволяетъ ему ласкать себя и слушаетъ съ большимъ удовольствіемъ его любовныя рѣчи; она горитъ въ его объятіяхъ; но всякое рѣшительное требованіе Лукашки отклоняется настойчиво и сурово, потому что суровыя стороны жизни побѣждаютъ въ сознаніи Марьянки увлеченіе любви. Любовь хороша, но любовь все же таки роскошь: а жизнь уже показала ей, что прежде роскоши нужно еще удовлетворить многому и важному другому. Эти неизбѣжныя и постоянныя условія приковываютъ ея мысль, мѣшая ей уступить скоротечной вспышкѣ, которой радости стоили бы несоразмѣрно дорого. Нѣтъ спора, что это — проза, скучная и матеріальная проза, въ томъ смыслѣ, какой обыкновенно придаютъ этому слову. Въ этомъ и заслуга писателя, что онъ не обманываетъ насъ и не сочиняетъ намъ Ганусей и игрушечекъ, ясочекъ и лебедушекъ, *такихъ якъ краля*, которыя распускаютъ свои волоса на берегу озера и поютъ, ничего не дѣлая, меланхолическія пѣсни къ вѣтру буйному, къ соколику ясному, которыя влюбляются въ разныхъ таинственныхъ Петро — *такихъ чернобривыхъ да хорошихъ*, вмѣстѣ съ ними плачутъ и мечтаютъ объ Аркадіи въ Бахмутскомъ уѣздѣ. Посмотрите, напротивъ, съ какою откровенною правдивостью рисуетъ намъ гр. Л. Толстой нравы своихъ Ромео и Юлій даже въ моменты ихъ нѣжнѣйшихъ воркованій:

— „Дай сѣмечекъ, прибавилъ онъ (Лука), протягивая руку. Марьянка совсѣмъ улыбнулась и открыла воротъ ру-

бахи. — Всѣ не бери, сказала она. — Право, все о тебѣ скучился, ей-Богу, сказалъ сдержанно спокойнымъ шопотомъ Лука, доставая сѣмечки изъ-за пазухи дѣвки и еще ближе ближе пригнувшись къ ней, сталъ шопотомъ говорить что-то, смѣясь глазами:

— „Не приду, сказано! вдругъ громко сказала Марьянка, отклоняясь отъ него... и т. д.“.

Это изъ самыхъ деликантныхъ сценъ; другія рѣчи и сцены еще выразительнѣе.

„Ишь, хорунжиха!“ думаетъ Лука про свою невѣсту: „и не пошутитъ, чортъ! Дай срокъ“.

— „Вишь чортъ проклятый! напугалъ меня. Ну, пошелъ же домой“ со смѣхомъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ Марьянка про Луку. Офицера Бѣлецкаго она цѣлуетъ безъ всякаго смущенія и замахивается на него кулакомъ въ видѣ гостинной любезности. Юнымъ подругамъ своимъ кричитъ: „заперлись, черти!“ Когда Оленинъ неожиданно расцѣловалъ ее при всей публикѣ, она только громко захохотала. Въ жару самаго патетическаго и рѣшительнаго объясненія Оленина, предлагающаго ей всю жизнь свою, вмѣстѣ съ своею рукою, она перерываетъ его словами: „ну, что брешешь!...“ и т. д. Еще характернѣе предпослѣдняя сцена Оленина съ Марьянкой, когда у нихъ между собою все уже улажено. Оленинъ не знаетъ, куда дѣть, въ чемъ выразить свое блаженство; ему хочется слышать слова любви и ласки изъ устъ дорогого созданія; онъ нѣсколько разъ обращатъ къ ней все тотъ же вопросъ о любви, словно разсмаковывая свое счастье въ этихъ праздныхъ, но такъ понятныхъ повтореньяхъ; и Марьянкѣ все это кажется до крайности страннымъ, ненужнымъ, чуть не безумнымъ. Она обдаетъ самою бабьею, стряпухинскою прозою всѣ поэтическіе запросы своего обожателя...“

Итакъ, Марьянка гр. Толстого является женщиною своей среды и породы, т. е. расчетливою, матеріальною, ставящею прежде всѣхъ своихъ страстей требованіе благоразумія. Ей непонятно и даже невѣроятно все, что только не основывается на узкомъ простонародномъ расчетѣ. Она считаетъ глупостью, баловствомъ нѣжныя рѣчи и безразсудное нетерпѣніе своихъ любовниковъ. По нравственныхъ идеаламъ своимъ, это — *бюргерша* въ самомъ обидномъ смыслѣ, который стали придавать этому слову; по формамъ, въ кото-

рыхъ проявляются ея взгляды, это — истая мужичка. И все это составляетъ достоинство ея художественнаго характера, ибо все это трижды справедливо; ибо никто изъ насъ не встрѣчалъ въ простомъ быту другихъ женщинъ, кромѣ Марьянокъ и Устенекъ. Всѣ мы слышали отъ нихъ: „ну, что брешешь“; всѣ получали любезности въ видѣ удара кулакомъ; но никто изъ насъ, надѣюсь, не натыкался въ русскихъ избахъ на Ганусь, не слышалъ разговоровъ о розовыхъ облачкахъ и желаній летѣть за птичкою, dahin, dahin!

Нельзя не удивляться при этомъ тому рѣдкому въ нашей литературѣ чувству правды и художественности, которое удержало автора отъ малѣйшей попытки сообщить фигурѣ героини болѣе нѣжный колоритъ. Подобныя попытки обыкновенно соблазняютъ даже высоко-талантливыхъ писателей, въ родѣ Диккенса; и онѣ очень понятны. Не трудно оставаться въ сферѣ суроваго реализма, создавая загорѣлую фигуру охотника Ерошки. Но не такъ легко поэту побѣдить враждебное ему стремленіе къ идеализаціи, къ опоэтизированію красавицы-женщины, его героини и средоточія всей его драмы. Нужно много такта и неподкупнаго творческаго чутья, чтобы съ первой страницы до послѣдней, ни разу не смягчить грубаго тона рѣчи, ни разу не дать забыть, что героиня наша — казацкая дѣвка Марьянка, ходящая въ одной рубахѣ, и собственноручно запрягающая въ арбу отцовскихъ буйволовъ. А между тѣмъ, сколько въ романѣ графа Толстого тропинокъ и лазеекъ, въ которыя не преминули бы свернуть съ прямого пути писатели, менѣе искренніе и не столь строго воспитавшіе свои художественныя силы. Сколько поводовъ къ идиллическимъ картинамъ, драматическимъ эффектамъ, поэтическимъ діалогамъ, психологическимъ фантазіямъ. Графъ Толстой прошелъ между этими шхерами художественныхъ произведеній съ искусствомъ опытнаго и увѣреннаго въ себѣ лоцмана; онъ нигдѣ не измѣнилъ своей цѣли, своему пониманію. Онъ не слушалъ плѣнительнаго голоса сиренъ, сбивающихъ съ толку слабохарактерныхъ народныхъ питателей, преимущественно писателей-женщинъ; оттого ему удалось разыграть свою тему до конца въ одномъ и томъ же данномъ тонѣ, безъ фальши и искусственныхъ переходовъ.

Однако, нельзя не остановиться на такой приблизительной и общей оцѣнкѣ характера Марьяны, на которой мы держимся до сихъ поръ. Нельзя же думать, чтобы подъ этими грубыми рѣчами и движеніями не отыскалось своего рода душевной нѣжности, чтобы сквозь однообразный покровъ этого обыденнаго равнодушія и спокойствія не прорѣзались иногда бѣглыми молніями человѣческія волненія, сомнѣнія и желанія. Они должны имѣть свою мужицкую одежду, но они все-таки должны быть, потому что сквозь мужицкія черты и сквозь рѣчь мужицкую — глядитъ и говоритъ человѣческая душа.

Марьянка равнодушна и благоразумна, но нельзя не замѣтить, что она гораздо выше Устеньки и другихъ своихъ подругъ, болѣе живущихъ увлеченіемъ, болѣе уступающихъ желаніямъ минуты. Марьяна среди ихъ будто царица, по увѣренію автора: ей уступаютъ лучшее мѣсто и лучшихъ кавалеровъ, при ней стихаются безчинные разговоры; Марьяну обходитъ пьяный Ергушовъ, обнимающій всѣхъ дѣвокъ подъ рядъ, и даже старухъ заодно съ дѣвками; о Марьянѣ избѣгаетъ говорить съ Олениным циникъ Ерошка; самъ безстрашный Лукашка нѣсколько смиряется передъ этою строгою казачкою, а Олининъ совсѣмъ ей подчиняется.

Марьяна горда, и это — главное ея качество. Въ ея сферѣ, женщины, подобныя Устенькѣ, не могутъ имѣть значенія и вліянія. Онѣ дѣлаются не сегодня такъ завтра игрушками и рабами своихъ любовниковъ; съ ними будутъ такъ же мало церемониться, какъ съ Яшками и Дуняшками. А Марьяна не хочетъ примириться съ мыслью о своей ничтожности и безропотной покорности мужчинѣ. Она, конечно, не реформаторша, не эмансипированная дѣвица, не имѣетъ теоретическихъ и ясно сознанныхъ цѣлей; но у нея гордый, независимый темпераментъ. Она инстинктивно упирается противъ ярма. Она временами чувствуетъ къ Лукашкѣ что-то отталкивающее, какъ къ будущему господину своему, и ревниво старается отстаивать свою свободу, пока она еще въ ея рукахъ. Она всячески даетъ ему чувствовать свою независимость и оскорбляется внутренно его требовательнымъ тономъ. Конечно, къ этимъ чувствамъ тѣсно примѣшиваются и другія, противоположныхъ свойствъ; она въ то же время любитъ и жалѣетъ его. Безъ этого спле-

тенія разнообразныхъ качествъ, могла ли быть достигнута жизненность изображенія? Зная, что разъ поддавшись мужчинѣ, она будетъ его вещью, Марьяна сурово отбивается отъ просьбъ Лукашки, хотя не видитъ ничего предосудительнаго и опаснаго для себя въ его ласкахъ. Можно ли обвинить ее, что она такъ мало страстна, такъ дешево цѣнитъ ласки и клятвы мужчинъ, какъ будто жизнь пріучила ее къ нѣжности, къ любовной болтовнѣ, къ духовному наслажденію своимъ чувствомъ? Какъ будто кромѣ объятій, лазанья за сѣмечками и ночного стука въ окно, она могла бы чего-нибудь дождаться отъ любезниковъ казацкой станицы? Замужество представляется ей, какъ и Устенькѣ, временемъ нужды; она должна будетъ рожать дѣтей, печь мужу хлѣбы, цѣдить чихирь. Что же настроитъ ее на соловьиныя пѣсни, на не земное томленье? Надо быть пустой и необдуманной дѣвчонкой, въ родѣ Устеньки, чтобы для какого-нибудь часа физическихъ наслажденій забыть все остальное. Марьяна умна, горда и мужичка; поэтому не можетъ быть особенно страстною и особенно нѣжною. Она слишкомъ хорошо, хотя инстинктивно, понимаетъ, какъ мало заслуживаютъ страсти и нѣжности тѣ отношенія, къ которымъ ее пріучили, и которыя ей сулятъ впереди. Конечно, она была бы другою, родившись не въ станицѣ на берегу Терека дочерью хорунжаго, а на берегахъ Невы, гдѣ издаются журналы и воспитываются въ институтахъ. Но какъ казачка, Марьянка, какъ хорунжиха, она должна быть именно такою и никакою другою.

Замѣчательно, что вниманіе Оленина очень скоро отдаляетъ Марьяну отъ Лукашки. Сначала это можетъ показаться грубымъ и матеріальнымъ до безобразія. Оленинъ богатъ, у него цѣлая хата вещей, у его отца есть холопы, и Марьяна безъ дальнихъ думъ мѣняетъ на него своего давнишняго жениха-пролетарія. „А Лукашну куда дѣнемъ? грубо спрашиваетъ она во время сватовства Оленина. И между тѣмъ авторъ нигдѣ не даетъ намъ замѣтить, чтобы она разлюбила Луку: черезъ это, подозрѣніе въ бездушномъ расчетѣ, руководящемъ ея выборомъ, повидимому, получаетъ серіозное основаніе. Но мы не хотимъ смотрѣть такъ близоруко на дѣло. Намъ кажется особенно тонкимъ и мастерскимъ этотъ особенно трудный для изображенія переходъ

чувствъ Марьяны отъ Лукашки къ Оленину, эта едва очерк-нутая, въ нѣсколькихъ намекахъ прорывающаяся, внутренняя борьба молодой казачки. Луку она любитъ и считаетъ же-нихомъ попрежнему; съ нимъ ей легче и понятнѣе; будущая связь съ нимъ гораздо для нея достовѣрнѣе. Но въ то же время она незамѣтно привязывается къ Оленину. Ее ма-нитъ къ нему именно то, чего она отъ роду не видѣла у казаковъ и отъ казаковъ, что-то нѣжное, тихое, подчиня-ющееся, и вмѣстѣ барское, благородное. Она, конечно, ничего этого ясно не различаетъ и подчиняется какому-то таин-ственному, необъяснимому для нея влеченію. Она чувствуетъ, что Олениnъ *что-то не то,* что-то высшее и лучшее, хотя и не такая пара ей, какъ Лукашка. Ее чаруютъ и интере-суютъ, противъ воли, его странныя, ласковыя и слезныя рѣчи, къ которымъ она совершенно не привыкла"...

„Для нея самой привлекательное въ Оленинѣ было то, что онъ могъ бояться ее, что она для него много значила. Ясно, что на этомъ сознаніи и укоренились ея первыя сим-патіи къ юнкеру. Въ Лукашкѣ же, наоборотъ, самое отталк-ивающее для нея было то, что онъ не боялся ее, недоста-точно уважалъ и искалъ.

Но между тѣмъ старая привязанность къ Лукашкѣ не вы-мерла въ ней; ей казалось почти невозможнымъ стать женой барина и русскаго; она не чувствовала ни малѣйшей орга-нической связи между собою и имъ ни въ прошедшемъ ни въ будущемъ. Ихъ образованіе, привычки, вѣрованія, обста-новка, родня, языкъ — все было слишкомъ не похоже одно на другое. Уступая частью благоразумному расчету, частью зародившейся симпатіи къ невѣдомымъ дотолѣ качествамъ образованнаго человѣка, она соглашалась одно время стать женою Оленина. Но Луку она словно не хотѣла забыть. Когда Олениnъ случайно упомянулъ про гульбу Лукашки, Марьяна вспыхнула, какъ отъ кровной обиды.

„Большіе черные глаза блестѣли на него строго и не-дружелюбно. Ему стало совѣстно за то, что онъ сказалъ.

— „Что-жъ, онъ никому худа не дѣлаетъ, вдругъ ска-зала Марьяна: — на свои деньги гуляетъ, и, спустивъ ноги, она соскочила съ печи и вышла, сильно хлопнувъ дверью.

А между тѣмъ она уже хорошо знала чувство Оленина къ ней. Наконецъ страшный случай, на который никто не

расчитывалъ, — смертельная рана Лукашки и гибель казаковъ, разомъ отрезвили Марьяну. Казацкая натура ея сказалась явственно и несомнѣнно. Она ощутила свое органическое родство съ казакомъ и безконечное отдаленіе отъ пришельца.

Трагическое происшествіе подавило капризныя и роскошныя чувства, мало-по-малу проросшія въ сердцѣ Марьянки, и вызвало на сцену опять однѣ суровыя и трагическія стороны духа. Оленинъ нашелъ ее въ слезахъ, угрюмую.

— „О чемъ ты, что ты?

— „Что? повторила она грубымъ и жестокимъ голосомъ: — казаковъ перебили, вотъ что!

— „Лукашку? спросилъ Оленинъ.

— „Уйди, чего тебѣ надо...

— „Марьяна, сказалъ Оленинъ, подходя къ ней.

— „Никогда ничего тебѣ отъ меня не будетъ.

— „Марьяна, не говори, умолялъ Оленинъ.

— „Уйди, постылый! крикнула дѣвка, топнувъ ногою и угрожающе придвинулась къ нему. И такое отвращенье, презрѣнье и злоба выразились на лицѣ ея, что Оленинъ вдругъ понялъ, что ему нечего надѣяться...“ и т. д.

Она словно захотѣла отомстить ему въ эту тяжкую минуту за свою собственную слабость, за невольную измѣну своему жениху-казаку, умирающему теперь отъ ранъ.

Типъ Оленина не есть одно бездушное олицетвореніе извѣстныхъ мыслей. Оленинъ — лицо очень живое и очень распространенное. Онъ дѣйствительно не очень образованъ школою, и въ этомъ отношеніи есть, по-преимуществу, нашъ современный, русскій типъ. Его выработка предоставлена жизни, поэтому должна быть исполнена противорѣчій, рѣзкихъ перемѣнъ и неправильностей. Это — судьба и исторія всѣхъ насъ. „Всѣ мы учились понемногу чему-нибудь и какъ-нибудь“, но изъ насъ однако вырабатываются люди послѣ долгой житейской ломки. Оленинъ былъ трактирнымъ героемъ не по натурѣ, но, попавъ случайно въ компанію Сашекъ Б., молодой мальчишка увлекся этою стороною и заплатилъ ей неизмѣнную дань; онъ былъ на верху блаженства, прохаживаясь подъ-руку съ флигель-адъютантомъ и называя князя уменьшительнымъ именемъ. Оленинъ — человѣкъ обыкновенный по своей біографіи, по обстановкѣ,

въ которой находится. Но онъ все-таки изъ лучшихъ людей. Въ немъ живетъ духъ ищущій и стремящійся, въ его душѣ не потухнетъ то внутреннее пламя, которое особенно сообщаетъ человѣчность нашей жизни. Онъ не остался Сашкою Б. въ Москвѣ, не сдѣлался Бѣлецкимъ на линіи; онъ искалъ удовлетворенія своимъ позывамъ сначала въ данной обстановкѣ, потомъ, къ своему счастью нашелъ новую сферу, гдѣ ему могло быть лучше, и за которую поэтому онъ ухватился. Оленинъ въ нашихъ глазахъ не есть типъ цивилизованнаго человѣка вообще, а напротивъ — человѣкъ весьма опредѣленнаго образованія и опредѣленнаго общественнаго слоя, принесшій на борьбу съ иными началами только силы и слабости одного своего слоя, одного своего воспитанія. Намъ нѣтъ пока дѣла до того — такую ли ограниченную или болѣе обширную цѣль имѣлъ въ виду самъ авторъ, вводя въ романъ своего героя; обсуждая художественныя стороны его типовъ, мы имѣемъ право смотрѣть только на то, что онъ, дѣйствительно, сказалъ и изобразилъ, и нисколько не касаемся того, что онъ, можетъ быть, замышляетъ. Авторъ не представилъ намъ Оленина какимъ-нибудь Фаустомъ, познавшимъ сначала всю глубину науки, потомъ все обаяніе власти, испытавшимъ огонь сильнѣйшихъ страстей и безуміе физическихъ наслажденій, и уже впослѣдствіи, на концѣ своего поприща, нашедшимъ себѣ счастіе въ тихой жизни на лонѣ природы. Оленинъ еще очень молодъ, и ему пока наскучила только пустая жизнь въ сообществѣ свѣтскихъ кутилъ, свѣтскихъ франтовъ и свѣтскихъ барышень. Въ немъ таились поэтическія задушевныя струны, которыя обнаружились особенно рѣзко послѣ жизни въ сферѣ, ихъ нисколько не удовлетворявшей. Случай бросаетъ его именно въ такую обстановку, гдѣ особенно много пищи этимъ его главнымъ, но еще не удовлетвореннымъ струнамъ. Онъ поддается вліянію новой обстановки просто шагъ за шагомъ, по мѣрѣ своего механическаго приближенія къ ней. *Чувство горъ*, охватившее его еще издали, завладѣваетъ имъ окончательно, когда онъ очутился среди этихъ горъ. Поэтъ, почуявъ годный ему воздухъ, очнулся внутри свѣтскаго франта и вздохнулъ во всю грудь; пошлыя черты лица московскаго хлыща преображаются подъ наитіемъ могущественной свѣжести природы съ серіозный и теплый образъ естественнаго человѣка. Кому кажется

страннымъ и исключительнымъ такое чарующее вліяніе природы на человѣка, кто видитъ въ этой перемѣнѣ только дидактическую уловку автора для униженія неодобряемыхъ имъ принциповъ — тотъ, значитъ, самъ никогда не ощущалъ въ своей груди могущественной власти горъ и лѣсовъ, тотъ лишенъ органа для воспріятія этого поразительнѣйшаго изъ всѣхъ впечатлѣній человѣка и для наслажденія этимъ чистѣйшимъ изъ всѣхъ наслажденій. Не только сама природа — однѣ уже картины ея, набросанныя такою живописною и тонкою кистью въ романѣ „Казаки“, производятъ необыкновенное обаяніе. Какъ живая, встаетъ передъ нами эта глухая станица надъ бурными волнами Терека съ своими стройными казачками въ цвѣтныхъ бешметахъ, веселымъ хохотомъ казаковъ, мычаніемъ буйволовъ и коровъ на солнечномъ заходѣ. Слышишь скрипъ этихъ тяжелыхъ воротъ, сквозь которыя проламывается своими крутыми боками огромная буйволица; слышишь шлепанье по лужамъ и далекіе оклики на кордонѣ... И вдали надъ всѣмъ владычествующія горы, горы и лѣса... Разумѣется я не буду пытаться повторять глубокопоэтическія картины ночей и утра, степей и лѣса, которыя непобѣдимо овладѣваютъ художественнымъ чувствомъ читателя въ романѣ гр. Толстого. Сторона описательная — одна изъ сильнѣйшихъ сторонъ романа, одно изъ главныхъ его достоинствъ. Кончая романъ, можно серіозно забыться и подумать, что самъ живалъ когда-то на линіи, самъ просиживалъ ночи съ веселымъ старикомъ на крылечкѣ за стаканомъ чихиря, бродилъ по лѣсамъ и садамъ, и любовался на шумные хороводы казацкихъ дѣвокъ. Я увѣренъ, что никакой этнографическій или географическій очеркъ, никакое описаніе путешествія не могли бы меня живѣе и полнѣе познакомить съ чуждою для меня жизнью и природою, какъ этотъ романъ гр. Толстого.

Мудрено ли же, что природа, до такой степени покоряющая насъ даже въ портретахъ своихъ, подавила Оленина, прикоснувшагося къ ея живью, посмотрѣвшаго ей прямо въ глаза. Казаки и казачки явились для него нераздѣльными частицами этой природы, такими же, какъ звѣри и деревья. На Терекѣ жили чинары и чеченцы, казаки, олени... надъ всѣми надъ ними простирался одинъ и тотъ же голубой сводъ неба, и сіяло всѣми своими красотами одно и то же утреннее,

полдневное и вечернее солнце. Всѣхъ ихъ поила одна и та же вода, покрывалъ одинъ и тотъ же лѣсъ. Чуткая душа Оленина не могла устоять противъ этой простой, всеуравнивающей силы: Олениңъ понялъ быть казака и прелесть этого быта. Бѣлецкій, его пріятель, этого не понималъ и понимать не хотѣлъ, но зато гораздо скорѣе понялъ, что дѣвки въ станицахъ рослыя, веселыя, и гораздо удачнѣе ухаживалъ за этими веселыми дѣвками. Большинство изъ насъ, конечно, поступило бы, какъ Бѣлецкій.

Марковъ.

Общее содержаніе и построеніе „Войны и мира“.

Это произведеніе предлагаетъ читателю исполинскую картину жизни 1805—1812 гг., гдѣ съ кропотливостью миніатюриста вырисованы фигуры. Насъ плѣняетъ не та или иная судьба, въ отдѣльности взятая, — насъ плѣняетъ совмѣстное дѣйствіе всѣхъ силъ, во дворцѣ и въ хижинѣ, на улицахъ и внутри домовъ, въ гостиной и на полѣ брани,— силъ, направленныхъ къ тому, чтобъ постепенно, но неудержимо привести къ гибели императора французовъ съ его арміей. Героемъ романа является судьба, насколько она обнаруживается во второстепенныхъ вещахъ. Методъ изображенія — аналитическій, онъ исходитъ отъ наблюденія частнаго, придаетъ фигурамъ полноту характеристическихъ подробностей и, слѣдуя той же основѣ, живописуетъ каждое положеніе до мельчайшихъ чертъ. Отдѣлы, какіе обыкновенно встрѣчаются въ большинствѣ романовъ, гдѣ вниманіе читателя не приковывается съ одинаковой энергіей, съ трудомъ можно указать въ „Войнѣ и мирѣ“. Все тутъ тщательнѣйшимъ образомъ обработано и сконцентрировано въ тонкій экстрактъ. Романъ этотъ есть созданіе великаго писателя, умудреннаго опытомъ человѣка и солдата, русскаго патріота. Все здѣсь, дѣйствія людей и положеніе вещей, какъ бы необходимо и законосообразно. Толстой не вѣритъ въ великихъ людей на манеръ Карлейля. Онъ скорѣе сторонникъ философіи исторіи Бокля и охотно насмѣхается надъ тѣмъ недостойнымъ толкованіемъ исторіи, которое пытается великія дѣянія объяснить малыми причинами. Такъ онъ почти

съ ироническимъ намѣреніемъ предпочитаетъ показывать Наполеона и Александра не въ блескѣ ихъ величія, а въ болѣе случайныхъ положеніяхъ, изображая ихъ во время туалета и замѣняя костюмъ героя во всякомъ случаѣ не менѣе интереснымъ неглиже. Особенной полнотой жизни дышатъ его описанія войны, которыя исполнены имъ съ изумительнымъ знаніемъ дѣла и богатствомъ фантазіи. Образы выступаютъ одинъ изъ-за другого и снова смыкаются въ красивыя группы. Въ цѣломъ, романъ сохраняетъ единство и глубоко прочувствованъ, отличается многообразіемъ и одушевленіемъ. Особенно замѣчательны мастерскія картины битвы Аустерлицкой, Фридландской и Бородинской. Онѣ совсѣмъ не похожи на то, что обыкновенно разумѣется подъ такими описеніями. Толстой не показываетъ театра военныхъ дѣйствій, какимъ онъ былъ бы отмѣченъ на картѣ генеральнаго штаба, но точно изображаетъ лишь столько, чтобъ каждый въ состояніи былъ какъ бы фактически наблюдать и присутствовать во время битвы. Вслѣдствіе этого описаніе дышитъ свѣжестью и естественностью впечатлѣнія, которое усиливаетъ до высшей степени иллюзію въ читателѣ и заставляетъ съ полной силой чувствовать ужасающую силу войны. Надо самому простоять подъ градомъ пуль, чтобъ такъ прочувствовать и написать, какъ это видимъ у Толстого.

Но Толстой съ такой же увѣренностью распутываетъ сѣть интригъ, которая завязывается въ салонѣ, и оттуда захватываетъ различныя явленія общественной жизни. Въ старомъ князѣ Николаѣ Болконскомъ онъ представляетъ типъ русскаго вельможи, натуру сильную, исполненную эгоизма и быстро воспламеняющуюся гнѣвомъ, признающую закономъ лишь свою волю и тиранствующую надъ окружающими, но при этомъ энергія и твердость характера привлекаетъ нашу симпатію. Сынъ его Андрей есть воплощеніе скептицизма, развитаго разсудочностью сомнѣнія въ своихъ силахъ и волѣ. Стоя на верху общественной лѣстницы, блистая въ гостиныхъ, выказывая отвагу на полѣ брани, эта личность внутренно чувствуетъ индифферентизмъ къ жизни и не стремится ни къ какой великой идеѣ. Только тогда, когда онъ, смертельно раненый при Аустерлицѣ, лежитъ на полѣ битвы, является у него мысль о могуществѣ Божіемъ.

Однимъ разумомъ нельзя наполнить содержательность жизни, удовлетворить можетъ только то, въ чемъ принимаютъ участіе сердце и фантазія. Таково, по крайней мѣрѣ, мнѣніе Толстого, и потому-то онъ противопоставляетъ скептику Андрею своего собственнаго героя, насколько вообще можно говорить о героѣ въ этомъ романѣ, — противопоставляетъ графа Пьера Безухаго, дѣлая его въ то же время выразителемъ патріотической идеи цѣлаго. Проживъ долгіе годы съ женой, которая его обманывала, онъ создалъ великія задачи эпохи. Онъ „идетъ въ народъ, подобно позднѣйшимъ нигилистамъ, но не для того, чтобъ бунтовать этотъ народъ противъ государственной власти, а для того, чтобъ познать душу народа и при защитѣ отечества совершить великое дѣло“. Онъ остается въ Москвѣ, покинутой жителями, и ожидаетъ прибытія французовъ, чтобы убить ихъ императора. Его забираютъ въ плѣнъ, и тутъ-то онъ узнаетъ цѣну жизни, сродняясь съ идеями гуманности и самоотверженія, которыя возрождаютъ его въ семейной жизни, какъ полезнаго члена общества.

Невозможно въ немногихъ словахъ представить хотя бѣглый обзоръ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа. Но двѣ женскія фигуры выступаютъ изъ этой массы лицъ такъ рельефно, что ихъ нельзя обойти молчаніемъ, — Марія, сестра князя Андрея и Наташа Ростова. Первое — идеальное, второя — реальное выраженіе свѣтлой женственности; та вся переполнена страстнымъ желаніемъ небеснаго блаженства, эта вся отдается радостямъ земнымъ. Въ Маріи кажется тѣмъ больше смиренія, что она живетъ при своемъ доходящемъ до дикаго гнѣва отцѣ, потомъ она въ Николаѣ Ростовѣ находитъ прекраснаго мужа и, будучи женой, сохраняетъ въ себѣ мечтательность своей натуры. Наташѣ, напротивъ, всю прелесть ея существа придаютъ ей земныя страсти, находящія себѣ успокоенія послѣ долгаго кипѣнія. Сердце ея испытало различныя разочарованія и испытанія. Она порхаетъ отъ одного къ другому, пока здоровое зерно ея натуры не обнаруживается въ обязанностяхъ жены относительно ея мужа и матери относительно ея дѣтей.

Цабель.

Лица и событія въ романѣ „Война и Миръ“.

I.

Въ романѣ „Война и Миръ“, какъ и во всякой комедіи, написанной по правиламъ искусства, дѣйствіе начинается съ того, что предъ зрителемъ выступаетъ цѣлый рядъ лицъ, болѣе или менѣе играющихъ значительную роль въ произведеніи. Дѣйствіе открывается въ іюлѣ 1805 г. въ салонѣ Анны Павловны Шереръ, фрейлины императрицы Маріи Ѳеодоровны, куда къ вечернему чаю съѣхалась вся высшая знать Петербурга.

Вотъ на первомъ планѣ — князь Василій Курагинъ, весьма скучная личность, пустой себялюбивый эгоистъ подъ маской скромнаго бюрократа и свѣтскаго лоска. Затѣмъ дочь его — княжна Эленъ, — напыщенная, блестящая красавица. А вотъ молодая, маленькая княгиня Лиза Болконская — „самая обворожительная женщина“ въ Петербургѣ: живая, веселая, какъ птичка, съ ежеминутной улыбкой на устахъ, при чемъ показывается рядъ прелестныхъ бѣлыхъ зубовъ. Мужъ маленькой княгини, — молодой князь Андрей Болконскій, — небольшого роста, весьма красивый, съ выразительными, но черствыми чертами лица, съ скучающимъ видомъ и медленной покойной походкой, — представляетъ полнѣйшій контрастъ съ маленькой оживленной женой. Они мало симпатизируютъ другъ другу, несмотря на недавнюю женитьбу.

А вотъ и лицо совсѣмъ иного типа, появленіе котораго производитъ нѣкоторую сенсацію въ кругу обычныхъ корректныхъ посѣтителей мадамъ Шереръ. Это молодой человѣкъ — массивный, толстый, со стриженой головой, въ очкахъ, свѣтлыхъ панталонахъ, съ огромнымъ жабо и въ коричневомъ фракѣ; все вмѣстѣ взятое шокируетъ хозяйку дома.

Онъ крайне мѣшковатъ, — не знаетъ, какъ ступить, теряется въ разговорѣ, но зато всѣ наружные недостатки — непозволительные въ глазахъ А. П. — искупаются вполнѣ прекраснымъ сердцемъ и врожденной скромностью. Добрая, открытая улыбка придаетъ его умному, серіозному лицу такой добродушный видъ, что невольно вызываетъ всеобщую симпатію. Онъ, правда, любитъ вино, поклонникъ женщинъ, а главное, увлекается житейской философіей.

Въ обществѣ онъ извѣстенъ подъ именемъ м-г Пьера, а на дѣлѣ незаконный сынъ богатѣйшаго въ Россіи стараго графа Безухова.

Всѣ эти лица необыкновенно удачно и художественно обрисованы въ романѣ Толстого. Предъ нами живые люди, вполнѣ реальные, полные жизни; къ однимъ влечетъ, отъ другихъ отталкиваетъ. Вначалѣ авторъ знакомитъ съ нѣкоторыми лицами романа, а затѣмъ переноситъ въ Москву, а именно на Поварскую, въ домъ Ростовыхъ, гдѣ въ этотъ день — въ честь именинницъ — самой графини и ея дочери Наташи — дается парадный обѣдъ.

Ростовы, несмотря на всѣ ихъ недостатки или, скорѣе, слабости, — прекрасные люди! Графиня, въ былое время, славившаяся восточной красотой, и теперь еще важная дама, несмотря на свои 45 лѣтъ и на двѣнадцать человѣкъ дѣтей, только слабая здоровьемъ и очень чувствительная — вся живетъ для мужа и четырехъ дѣтей, оставшихся въ живыхъ. Графъ по природѣ человѣкъ добрый и мягкосердечный, но прожившій состояніе по безпечности и на большіе пріемы, клубъ и охоту.

Старшая дочь, семнадцатилѣтняя Вѣра, хорошенькая, разсудительная дѣвушка, но нѣсколько жеманная и холодная. Сестры и братья въ насмѣшку прозвали ее m-me Genlis. Старшій сынъ Николай — еще юный студентъ, съ малиновымъ воротникомъ, красивый, кудрявый, съ черными усиками, пятнадцатилѣтній пылкій энтузіастъ. Этотъ благородный, чистосердечный юноша — одно изъ самыхъ удачныхъ и жизненныхъ твореній Толстого. Не менѣе прелестное созданіе его сестра Наташа. Дома, въ семейномъ кругу, это милая тринадцатилѣтняя дѣвочка, забавляющаяся еще съ своей „Мими“, хотя въ ней уже проглядываютъ первые порывы переходнаго возраста, — нѣжная дѣвическая душа. Младшій сынъ Петръ — Петруша — Петя — толстенькій мальчуганъ въ курточкѣ, румяный и живой.

Кромѣ родныхъ дѣтей, въ семьѣ Ростовыхъ воспитывается обѣднѣвшій кузенъ Борисъ, мать котораго въ настоящее время гоститъ въ домѣ родителей, и Соня — племянница самого графа, которую онъ любитъ, какъ родную дочь.

Борисъ — товарищъ дѣтства Николая Ростова, красивый блондинъ, высокаго роста, съ правильными, но холодными

чертами лица. Насколько Николай легкомысленъ и чистосердеченъ, настолько Борисъ холоденъ и сдержанъ не по лѣтамъ.

Благодаря происканъ матери, умѣющей замолвить слово у вліятельныхъ лицъ, Борисъ сразу попадаетъ въ гвардію, между тѣмъ какъ Николай при объявленіи войны простымъ юнкеромъ вступаетъ въ Павлоградскій полкъ.

Въ настоящую минуту и офицеръ и студентъ, оба заняты тѣмъ, что „строятъ куры“ своимъ кузинамъ. Борисъ ухаживаетъ за Наташей, Николай — за Соней и преисправно цѣлуются съ ними, забравшись въ оранжерею.

Таковы главныя лица романа.

Сцена переноситъ насъ въ домъ стараго гр. Безухова— отца Пьера,— лежащаго на смертномъ одрѣ. Вокругъ умирающаго разыгрывается обыденная въ этихъ случаяхъ комедія: наслѣдники съ замираніемъ сердца ожидаютъ, когда милліонеръ-дядя испуститъ послѣдній вздохъ. На этотъ разъ развязка комедіи завершается къ полному удовольствію читателя. Алчные наслѣдники по боковой линіи, каковы: Василій Курагинъ и др., остаются ни при чемъ, только честный Пьеръ — незаконный сынъ покойнаго графа — наслѣдуетъ его имя, титулъ и многомилліонное состояніе.

Между тѣмъ война объявлена.

Князь Андрей Болконскій, назначеный въ адъютанты къ главнокомандующему Кутузову, долженъ немедленно ѣхать на театръ военныхъ дѣйствій, но прежде отвозитъ жену въ „Лысыя горы“, помѣстье его отца — стараго князя Болконскаго.

Старый князь — типичная и весьма оригинальная личность. Человѣкъ стараго закала, генералъ-аншефъ при Павлѣ I, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей своего времени — страшный скряга, несмотря на большія средства, — желчный, раздражительный, тяжелаго характера. Съ нимъ въ деревнѣ живетъ дочь его княжна Марія, — безотвѣтная, покорная отцу, „ангелъ доброты“, но очень некрасивая собой. Отецъ любитъ дочь по-своему, но обходится съ ней крайне грубо и деспотично.

Легко понять, какой страхъ внушаетъ суровый князь своей маленькой невѣсткѣ — княгинѣ Лизѣ, — такъ внезапно перенесенной изъ блестящаго Петербурга въ холодную атмо-

сферу княжескаго дома; тѣмъ болѣе, что она готовится стать матерью съ постоянной боязнію за исходъ критической минуты.

Теперь вернемся въ главную квартиру Кутузова, а именно въ Браунау, въ Австрію. Здѣсь мы видимъ князя Андрея Болконскаго и Николая Ростова, прикомандированнаго юнкеромъ къ гусарскому Павлоградскому полку.

Предъ нами развертываются картины браннаго поля во всей ихъ ужасающей дѣйствительности.

Николай Ростовцевъ встрѣчаетъ „огненное крещеніе“ съ дерзской отвагой, съ веселымъ лицомъ — какъ школьникъ, старающійся отличиться на экзаменѣ предъ многочисленной публикой.

Вначалѣ война не удачна для русскихъ, а равно и для ихъ союзниковъ — австрійцевъ. Послѣднимъ Бонапартъ нанесъ тяжкое пораженіе при Ульмѣ.

Послѣ пораженія австрійцевъ, Кутузовъ, предоставленный своимъ слабымъ силамъ, принужденъ отступить и ждать соединенія съ войсками, шедшими на подкрѣпленіе изъ Россіи. Но маршалъ Мортье преграждаетъ ему путь, Кутузовъ отражаетъ французовъ и, хотя тѣснимый ими, продолжаетъ отступленіе. Боясь быть отрѣзаннымъ отъ соединенія съ главными силами, онъ даетъ приказъ князю Багратіону, во что бы то ни стало, задержать непріятеля съ своимъ четырехтысячнымъ корпусомъ, чтобъ спасти остальную армію.

Всѣ перипетіи этой кровавой драмы мастерки переданы авторомъ. Читатель какъ бы очевидцемъ присутствуетъ на полѣ брани, слышитъ пальбу, стоны раненыхъ, умирающихъ. Особенно ярко очерчена личность князя Багратіона. Въ то время какъ чередуются военныя событія, нашъ другъ „Пьеръ“ — нынѣ графъ Безуховъ — становится виднымъ лицомъ Москвы, завиднымъ женихомъ. Первымъ накидывается на него князь Василій Курагинъ. Давъ себѣ слово захватить выгодную партію въ свои руки, онъ женитъ его на своей дочери, красавицѣ Эленъ. Послѣдняя, испорченная, тщеславная кокетка, не прочь попытать счастья и благодаря своей величественной красотѣ легко покоряетъ сердце честнаго, но недальновиднаго Пьера. Ободренный первымъ успѣхомъ, Василій Курагинъ задумываетъ женить и сына Анатолія на богатѣйшей наслѣдницѣ — княжнѣ Маріи Болконской, сестрѣ князя Андрея.

Но на этотъ разъ затѣя не удается. Благодаря своему цинизму, красавецъ Анатоль, сватаясь за княжну, въ то же время заводитъ у нея въ домѣ любовную интрижку съ ея компаньонкой — дѣвицей Бурьенъ.

Перенесемся опять на поле битвы — въ Аустерлицъ — на арену состязанія трехъ императоровъ — гдѣ сошлась на бой стошестидесятитысячная армія. Кутузовъ и Шварценбергъ, какъ болѣе опытные генералы, медлятъ сдѣлать вызовъ, но мнѣніе молодыхъ генераловъ беретъ перевѣсъ.

Планъ атаки составленъ австрійцемъ Вейротеромъ, но Кутузовъ порицаетъ его и отказывается привести его въ исполненіе. Тогда между союзниками возникаютъ нерѣшительность, взаимное недовѣріе. Между австрійцами и русскими возгарается зависть, начальствующія лица обвиняютъ другъ друга въ медленномъ размѣщеніи войскъ и даже взваливаютъ впослѣдствіи одни на другихъ отвѣтственность за пораженіе. Между тѣмъ Наполеонъ рѣшается дѣйствовать. „Заснувъ подъ утро, онъ, однако, встаетъ въ веселомъ расположеніи духа, здоровый, твердо вѣря въ свою счастливую звѣзду, и въ такомъ настроеніи, когда все доступно, все возможно человѣку, садится на лошадь и ѣдетъ осматривать поле до начала битвы. Его покойное, безстрастное лицо при всей своей неподвижности сіяетъ сознаніемъ заслуженнаго счастія, какъ лицо влюбленнаго юноши“.

Снявъ съ бѣлой правой руки перчатку, Наполеонъ махнулъ рукой. И въ ту же минуту маршалы въ сопровожденіи адъютантовъ поскакали по разнымъ направленіямъ.

Вскорѣ затѣмъ французская армія, выступивъ изъ-за разсѣявшагося тумана, совершенно неожиданно появилась предъ глазами русскихъ, считавшихъ ее за двѣ версты. Послѣдніе отступили въ безпорядкѣ. Князь Андрей бросается въ середину бѣгущихъ и, поднимая надъ головой знамя, призываетъ солдатъ сомкнуться, но въ ту же минуту его оглушаетъ ударъ по головѣ, и онъ замертво падаетъ, сжимая въ рукѣ древко съ оторваннымъ знаменемъ. „Какая прекрасная смерть!“ сказалъ Наполеонъ, объѣзжая вечеромъ поле битвы. Николай Ростовъ, невредимый, но честно исполнившій долгъ, по окончаніи битвы, получивъ отпускъ, ѣдитъ къ роднымъ. Поручику не терпѣлось показать свой блестящій гусарскій доломанъ.

Въ Москвѣ онъ встрѣчаетъ Пьера Безухова, который дрался на дуэли съ нѣкоторымъ Долоховымъ за кокетку жену.

Между тѣмъ вѣсть о смерти князя Андрея доходитъ и до „Лысыхъ горъ“ какъ разъ въ то время, когда жена его „маленькая княжна“ — ожидаетъ съ часу на часъ сдѣлаться матерью.

Но, къ счастью, слухъ о смерти Андрея оказывается ложнымъ: раненый князь былъ поднятъ на полѣ битвы и, благодаря хорошему уходу, остался живъ. Въ скоромъ времени онъ самъ пріѣзжаетъ въ деревню, — худой, блѣдный, — но, увы! слишкомъ поздно: маленькая княгиня при послѣднемъ издыханіи. Все время предчувствовавшая дурной исходъ, молодая мать умираетъ, давъ жизнь первенцу-сыну.

Пораженный неожиданнымъ ударомъ, князь Андрей, и безъ того уже разочарованный военной службой, выходитъ въ отставку, чтобъ посвятить себя всецѣло воспитанію новорожденнаго малютки-сына и заняться улучшеніемъ быта отцовскихъ крѣпостныхъ.

Въ „Лысыя горы“ пріѣзжаетъ къ Андрею другъ его, Пьеръ Безуховъ, — не менѣе несчастный мужъ, окончательно порвавшій съ женою и не знающій, чѣмъ наполнить пустоту жизни. То бросается, очертя голову, въ масонство, то задается либеральными планами объ улучшеніи быта крѣпостныхъ въ своихъ огромныхъ помѣстьяхъ — и вотъ оба друга философствуютъ напропалую.

Между тѣмъ снова возгорается война, все ближе надвигаясь къ границамъ Россіи.

Николай Ростовъ опять уѣзжаетъ, оставляя родной домъ, любимую сестренку Наташу — это прекрасное, полное жизни существо, разстается и съ хорошенькой кузиной Соней, обожающей своего двоюроднаго брата, и догоняетъ свой полкъ уже въ Польшѣ.

Въ это время товарищъ Николая, командиръ партизановъ Денисовъ, извѣстный герой, но крайне горячій, затѣваетъ ссору съ главнымъ интендантомъ, кидая ему въ лицо названіе „вора“, затѣмъ ѣдетъ на рекогносцировку, гдѣ получаетъ серіозную рану, грозящую смертью.

Николай немедленно по полученіи извѣстія о болѣзни друга ѣдетъ навѣстить его въ лазаретъ, гдѣ находитъ несчастнаго въ ужасно грязной палаткѣ, среди умирающихъ тифозныхъ.

Пораженный такой тяжкой картиной и понявъ въ первый разъ, какія горькія слѣдствія ведетъ за собой война, — въ душѣ молодого воина зарождаются мрачныя думы о горькой участи солдата. До сихъ поръ ему доводилось видѣть лишь свѣтлыя стороны боевой жизни.

Первая часть романа заканчивается описаніемъ этихъ плачевныхъ картинъ войны, написанныхъ авторомъ съ поражающимъ интересомъ.

II.

Прошло два года. Въ послѣдній разъ мы оставили князя Андрея въ „Лысыхъ горахъ“, разочарованнымъ военной службой и жизнью. Въ исходѣ зимы 1809 г., когда пахнуло весной, наступили теплые майскіе дни, на деревьяхъ показались молодые листочки, князь Андрей пріѣзжаетъ по дѣламъ въ имѣніе своего сосѣда графа Ростова. Здѣсь онъ случайно сталкивается съ прелестными дѣвушками — Наташей и Соней. Оживленная болтовня и веселый искренній смѣхъ молодежи вмѣстѣ съ расцвѣтающей природой пробуждаютъ и въ его сердцѣ жажду къ жизни. На утро онъ говоритъ себѣ: „Нѣтъ, жизнь не кончена въ 31 годъ!“

Является желаніе къ труду, онъ пишетъ опять свой проектъ военнаго устава и, закончивъ, везетъ въ Петербургъ на усмотрѣніе военнаго министра. Но встрѣтивъ недружелюбный пріемъ у Аракчеева, — человѣка недовѣрчиваго ко всякимъ новшествамъ и устарѣлыхъ взглядовъ, онъ ѣдетъ къ Сперанскому, — этому смѣлому и великодушному новатору, благодаря внушеніямъ котораго императоръ Александръ задумываетъ произвести рѣшительныя реформы. Здѣсь онъ встрѣчаетъ самый радушный пріемъ.

Пьеръ Безуховъ, съ своей стороны, пришелъ къ убѣжденію, что въ большинствѣ братья-масоны ухаживаютъ за нимъ, какъ за богатымъ человѣкомъ, полезнымъ для выполненія ихъ плановъ, и мало-по-малу отдаляется отъ сношеній съ ними. Онъ чувствуетъ, что почва ускользаетъ изъ-подъ ногъ, долго не знаетъ, на чемъ остановиться; по настоянію тещи, вновь сходится съ женой, которая вращается въ высшемъ обществѣ сѣверной столицы.

Въ это же время въ Петербургъ пріѣзжаетъ гр. Ростовъ съ семействомъ, въ надеждѣ поправить свои разстроенныя

дѣла и найти подходящую партію для дочерей. Вскорѣ старшая дочь Вѣра выходитъ замужъ за гвардейскаго капитана Берга, человѣка далеко не симпатичнаго, но вполнѣ корректнаго и практичнаго нѣмца. Младшая — шестнадцатилѣтняя Наташа — еще слишкомъ молода для замужества, хотя давно уже забыла свою ребяческую любовь къ кузену, да Борисъ и самъ старается вычеркнуть изъ своей жизни этотъ дѣтскій романъ. Ловко направивъ ладью жизни, онъ расчитываетъ выгодной женитьбой составить себѣ блестящую карьеру.

Наташа и не помышляетъ о замужествѣ: она съ полнымъ увлеченіемъ отдается невиннымъ удовольствіямъ и веселью.

Ростовы получаютъ приглашеніе на блестящій балъ, гдѣ будетъ самъ государь и весь дипломатическій корпусъ. Это первый великосвѣтскій балъ, на который ѣдутъ Соня съ Наташей. Боже! сколько хлопотъ, заботъ! Прекрасно и чрезвычайно живо описываетъ Толстой лихорадочное нетерпѣніе и поспѣшныя приготовленія къ балу въ домѣ Ростовыхъ.

Столько правды, тонкой наблюдательности, врожденнаго изящества, жизненности въ этой сценѣ!

Даровитый писатель нигдѣ не переходитъ должной страницы, нигдѣ не впадаетъ въ банальность.

Наконецъ, наступаетъ давно желанный день! Дѣвушки садятся въ карету съ отцомъ и матерью и ѣдутъ на балъ. Имъ нѣсколько холодно съ непривычки въ бальномъ открытомъ костюмѣ, но онѣ обѣ — такія свѣженькія, хорошенькія, безъ капли жеманства, въ своихъ воздушныхъ тюлевыхъ платьяхъ на розовой тафтѣ, съ пышной розой въ волосахъ. Несмотря на свой скромный нарядъ, ихъ милыя лица привлекаютъ всеобщее вниманіе.

Но вотъ является графиня Элена Безухова — эта „царица“ петербургскихъ баловъ, затѣмъ пріѣзжаетъ государь — и наши дѣвочки отступаютъ на второй планъ. Имъ остается лишь быть простыми зрительницами бала, къ великому прискорбію Наташи, у которой одно страстное желаніе потанцовать. Она уже готова заплакать съ досады, но смущеніе дѣвушки не укрылось отъ друга ея, Пьера Безухова, тоже присутствующаго на балу ради жены. И вотъ, по его настоянію, на выручку является интересный полковникъ въ бѣломъ кавалергардскомъ мундирѣ, и ангажируетъ на вальсъ. Личико Наташи озаряется несказанной радостью, счастьемъ.

Князь Андрей Болконскій, приглашая Наташу, исполнялъ лишь желаніе Пьера, но сдѣлавъ съ ней нѣсколько туровъ, онъ весь подъ обаяніемъ ея невинной граціи и простоты. Ея веселый, искренній смѣхъ, оживленіе, милая застѣнчивость, безыскусственная прелесть манеръ и даже „ошибки во французскомъ языкѣ“—все, что отличало ее отъ великосвѣтскихъ дѣвицъ Петербурга, производитъ глубокое впечатлѣніе на князя.

Вернувшись съ бала, онъ чувствуетъ себя инымъ человѣкомъ, совсѣмъ обновленнымъ.

До этого дня онъ не зналъ любви, такъ какъ маленькая княгиня Лиза не сумѣла подойти къ его сдержанной и гордой натурѣ. На этотъ разъ сердце его не обмануло — онъ побѣжденъ, и подъ вліяніемъ этого чувства стушевываются мрачное состояніе духа, равнодушіе къ жизни, всѣ разочарованія.

Пьеръ съ удовольствіемъ выслушиваетъ признанія своего друга и даже совѣтуетъ ближе познакомиться съ чудной Наташей.

И Наташа также не равнодушна ко вниманію князя, и все пришло къ скорому и желанному концу,—но для женитьбы Андрею необходимо согласіе отца. Суровый, непреклонный князь весьма недружелюбно встрѣчаетъ признанія сына и проситъ или, скорѣе, приказываетъ сыну отложить свадьбу и уѣхать на годъ за границу.

Наташа, счастливая предложеніемъ князя Андрея, очарованная его обхожденіемъ, внезапно спускается съ облаковъ. Она негодуетъ въ душѣ на стараго деспота, и разлука съ любимымъ женихомъ повергаетъ ее въ глубокую тоску: она почти не выѣзжаетъ, проводитъ время взаперти, въ мечтахъ. Но, спустя немного, кипучая натура береть верхъ, она сбрасываетъ съ себя уныніе, старается казаться счастливой и веселой, но это не всегда удается — рана не заживаетъ. Ростовы всей семьей уѣзжаютъ въ Отрадное. Здѣсь, среди монотонной деревенской жизни, покинутая невѣста снова изнываетъ въ тоскѣ, цѣлыми часами сидя безъ дѣла, то лихорадочно набрасываясь на занятія, то безутѣшно рыдая.

„Ахъ, какъ я боюсь за нее!“ говоритъ себѣ графиня. Заботливая мать предчувствуетъ, что такое натянутое положеніе можетъ привести къ печальной катастрофѣ. Къ тому,

говоря откровенно, бракъ этотъ ей далеко не по сердцу: важный и гордый князь Андрей ей не симпатиченъ.

Ей бы скорѣе хотѣлось хорошей партіи для сына Николая. Но и тутъ неудача. Въ ту минуту, какъ она лелѣетъ мысль женить его на богатой, — Николай объявляетъ графинѣ о своемъ желаніи жениться на кузинѣ Сонѣ. Бѣдная графиня даже не на шутку заболѣваетъ, и предполагаемая ею поѣздка съ мужемъ въ Москву — для закупки Наташинаго приданаго и представленія невѣсты будущему свекру — откладывается на время.

Старый князь Болконскій, съ неудовольствіемъ отнесшійся къ предполагаемой женитьбѣ сына, весьма нелюбезно и даже грубо встрѣчаетъ будущую невѣстку. Этотъ холодный пріемъ глубоко оскорбляетъ молодую невѣсту, и вообще пребываніе въ Москвѣ еще болѣе даетъ ей чувствовать всю горечь разлуки съ женихомъ. Ожиданіе становится со дня на день тяжелѣе, Наташа сильно хандритъ. Добрая кузина Соня употребляетъ всѣ усилія, уговаривая быть терпѣливѣй.

„Я не понимаю такой любви!“ едва сдерживая рыданія, говоритъ Наташа. „Развѣ возможно все только ждать и ждать!“

То впадая въ полную апатію, то чувствуя приливъ страсти, она не довольствуется тѣмъ, что любима и любитъ, — ей хотѣлось бы броситься въ объятія любимаго человѣка, шептать ему страстныя рѣчи, которыми такъ полно ея сердце.

Въ такомъ отчаянномъ нравственномъ состояніи и томленіи, — желая ее развлечь, отецъ предлагаетъ дочери поѣхать въ оперу. Это ея первый выѣздъ въ театръ. Графъ по своей недальновидности не понимаетъ ея душевнаго настроенія.

Рядъ освѣщенныхъ ложъ съ дамами въ брильянтахъ на обнаженныхъ шеяхъ и рукахъ, партеръ, пестрѣющій всевозможными вышитыми мундирами и позолотой, — все ослѣпляетъ глаза молодой дѣвушки.

Тысячи огней зрительнаго зала, удушливая атмосфера, аплодисменты, шарканье ногами и сама сцена — все приводитъ Наташу въ какое-то опьяненіе. А самое волненіе дѣлаетъ ее особенной, привлекательной и хорошенькой въ этотъ вечеръ. Никогда еще не испытанныя ощущенія, — что сотни глазъ смотрятъ на ея обнаженныя руки и шею, — непріятно и въ то же время сильно охватываютъ ее всю, вызывая цѣлый рой воспоминаній, желаній, волненій... Забывъ, гдѣ она на-

ходится, она смотритъ на сцену, ничего не видя, а голову осаждаютъ тысячи самыхъ несвязныхъ, фантастическихъ мыслей. А тутъ еще красавецъ Курагинъ — изящный кавалергардъ — и Наташа окончательно сбита съ толку, страшно взволнована. Анатоль Курагинъ — уже знакомый читателю — бездушный щеголь, достойный братецъ красавицы графини Эленъ.

Наташа встрѣчается съ нимъ въ ложѣ его сестры. Пораженный невинной красотой и свѣжестью дѣвушки, онъ немедленно забрасываетъ удочку и даетъ себѣ слово добиться побѣды и, какъ кажется, довольно легкой. И, дѣйствительно, полная неопытность Наташи, а особенно ея душевное настроеніе, съ которымъ она борется напрасно, отдаютъ ее беззащитной во власть этого ловкаго соблазнителя, не разборчиваго на средства. Его замѣтное предпочтеніе, очень умно расчитанное, льститъ самолюбію молодой дѣвушки, наконецъ, не на шутку волнуетъ, и вскорѣ, не отдавая себѣ отчета въ чувствахъ, ее влечетъ къ красавцу Анатолю, а между тѣмъ сердце сжимаетъ невыразимый страхъ.

Послѣдній, пользуясь своимъ преимуществомъ, не даетъ времени опомниться своей жертвѣ. Спустя нѣсколько дней послѣ встрѣчи въ театрѣ, онъ продолжаетъ темную игру въ салонѣ своей сестрицы Эленъ и подъ ея покровительствомъ. Ему удается влюбить въ себя Наташу, нашептывая страстныя признанія, а разъ, оставшись наединѣ, даже имѣетъ дерзость цѣловать ее.

Смущенная, ослѣпленная Наташа не сознаетъ себя, она не въ силахъ бороться и сама дивится, какъ можно любить двоихъ въ одно время.

Она вполнѣ увѣрена, что любитъ князя Андрея, и въ то же время влюбляется въ Анатоля. Наконецъ, послѣ жестокаго отчаянія, она рѣшается возвратить слово князю Андрею, несмотря на мольбы и увѣщанія Сони, узнавшей ихъ тайну, беречься Курагина.

Соня все время зорко слѣдитъ за Наташей, давъ себѣ слово оберегать ее и при первой необходимости прійти къ ней на помощь. Благодаря ея бдительности и сердечной привязанности, ей удается разстроить планъ похищенія, на который слишкомъ слабая и мягкая Наташа дала уже согласіе.

Безъ сомнѣнія, влюбленная дѣвушка не чувствуетъ не только

признательности, но укоряетъ жестоко кузину за ея вмѣшательство въ „чужія дѣла“. Она не слушаетъ ни увѣщаній ни утѣшеній, а когда Пьеръ Безуховъ доводитъ до ея свѣдѣнія, что ея поклонникъ женатъ и даже успѣлъ бросить жену, — она окончательно теряетъ разсудокъ и отравляется мышьякомъ.

Къ счастью, доза такъ незначительна, что Наташа остается жива, но сильно страдаетъ.

Черезъ нѣсколько дней возвращается въ Москву князь Андрей. О, зачѣмъ онъ такъ долго не ѣхалъ!

Повидимому, онъ довольно равнодушно принялъ извѣстіе объ измѣнѣ невѣсты и поручаетъ Пьеру передать ей ея портретъ и письма.

Добрѣйшій Пьеръ, никогда не умѣвшій отказать въ услугѣ, беретъ на себя это щекотливое порученіе. Но увидя страшное горе Наташи, когда сердце ея и безъ того разбито, невыразимое чувство жалости наполняетъ сердце Пьера.

„Ахъ, не говорите со мною такъ! я не стою этого!“ восклицаетъ Наташа на всѣ его утѣшенія. Но чѣмъ болѣе она винитъ себя, тѣмъ болѣе Пьеръ старается поднять ее въ ея собственныхъ глазахъ. „Нѣтъ, — восклицаетъ онъ, — вся жизнь еще впереди для васъ. Если бъ я былъ не я, а самый красивѣйшій, самый умнѣйшій изъ людей, самый лучшій человѣкъ въ мірѣ, и былъ бы свободенъ, — я бы на колѣняхъ просилъ руки и любви вашей“.

Такъ заканчивается эта интимная сцена, которую авторъ ведетъ съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ и тонкостью, но и съ такой естественностью, что ни у кого нехватитъ мужества сердиться на бѣдную Наташу, такую слабую, не послѣдовательную, но чистосердечную, правдивую, женственную даже во всѣхъ ея слабостяхъ и непостоянствѣ.

Мы увидимъ въ будущемъ, къ какимъ послѣдствіямъ эта драма, а особенно послѣдняя сцена приведутъ ее и другихъ лицъ романа.

III.

Авторъ быстро переноситъ насъ снова на театръ военныхъ дѣйствій. Наступаетъ двѣнадцатый годъ. Наполеонъ переправился черезъ Нѣманъ, начиная злополучную для него войну закончившуюся знаменитымъ въ исторіи отступленіемъ, русскихъ.

Но прежде, чѣмъ продолжать, остановимся на философскихъ теоріяхъ гр. Толстого объ „отвѣтственности человѣчества“, — теоріяхъ совсѣмъ особенныхъ и абсолютныхъ. Толстой всегда при случаѣ не прочь пофилософствовать.

Авторъ „Войны и мира“ въ полномъ смыслѣ фаталистъ. По его мнѣнію, исторія неизбѣжно слѣдуетъ фатализму. Онъ говоритъ, что войны являются не слѣдствіемъ одной какой-нибудь случайности, что событія совершаются лишь потому, что должны свершиться, а что касается отдѣльныхъ личностей, то онѣ являются лишь безсознательнымъ орудіемъ въ движеніи человѣчества, и безъ ихъ вѣдома событія покоряются общему закону совпаденія. „Такъ называемые „великіе люди“, — говоритъ авторъ, — нѣ иное что, какъ „этикеты“ исторіи, часто ихъ именемъ называются историческія событія, тогда какъ они не имѣютъ никакой внутренней связи съ самимъ фактомъ.

А при такомъ взглядѣ на исторію, личная воля совершенно игнорируется, и великія событія значительно умаляются, а потому исторія теряетъ и свой интересъ.

Прикладывая свой масштабъ къ грознымъ событіямъ, охватившимъ всю Россію, Толстой отказывается признать ихъ слѣдствіемъ злополучнаго нарушенія континентальнаго равновѣсія или слѣдствіемъ необузданной страсти Наполеона къ военнымъ лаврамъ или нѣчто другое въ этомъ же родѣ.

И сами главныя дѣйствующія лица этой драмы, каковы: Наполеонъ, Александръ, Кутузовъ, въ глазахъ автора не болѣе, какъ шахматы, передвигаемые рукою судьбы.

Но вернемся къ переправѣ черезъ Нѣманъ, вѣсть о которой какъ громомъ поражаетъ императора Александра на балу въ Вильнѣ. Въ негодованіи на обманувшаго Наполеона, государь воскликнулъ: „Клянусь, что не помирюсь, пока хоть одинъ вооруженный непріятель останется на русской землѣ!“

По зрѣломъ размышленіи государь призываетъ флигель-адъютанта Балашева и вручаетъ ему собственноручное письмо къ Наполеону, въ которомъ говоритъ, что вся отвѣтственность за войну падаетъ на него, какъ на зачинщика.

Съ пріѣздомъ Балашева во французскій лагерь, Толстой даетъ очень забавный, хотя нѣсколько преувеличенный, портретъ неаполитанскаго короля Мюрата и излишнее строгое изображеніе маршала Даву. Но если историкъ не всегда

безпристрастенъ, то тѣмъ простительнѣй романисту. Даже съ Наполеономъ Толстой обходится не лучше, чѣмъ съ его генералами: ему такъ и хочется сорвать съ него ореолъ.

Понятно, что порученіе Балашева остается безъ послѣдствій, а военныя событія идутъ своимъ чередомъ.

Въ западной арміи мы встрѣчаемъ князя Андрея Болконскаго, въ чинѣ генерала, подъ начальствомъ Барклая-де-Толли, и Николая Ростова, въ чинѣ капитана, эскадроннымъ командиромъ Павлоградскихъ гусаръ.

По обыкновенію, генералы спорятъ, рѣшаютъ, но ни къ чему не приходятъ: одни настаиваютъ наступать, другіе совѣтуютъ отступать къ границамъ Россіи, уничтожая по пути все могущее попасть въ руки непріятеля. Послѣднее беретъ верхъ, но это не мѣшаетъ арьергарду завязать кой-гдѣ стычки съ непріятелемъ.

Одна изъ такихъ выпадаетъ на долю эскадрона, подъ командой Н. Ростова, а именно 13-го іюля подъ Островной. Завидя отрядъ уланъ, отброшенный французскими синими драгунами, и, горя желаніемъ помочь своимъ братьямъ, Ростовъ бросается на драгунъ и обращаетъ ихъ въ бѣгство. Но вмѣсто ожидаемой кары за свое самоволіе, его представляютъ къ Георгію за молодецкій подвигъ и назначаютъ командиромъ двухъ эскадроновъ.

Здѣсь, подъ Островной, въ первый разъ пришлось Н. Ростову постоять за свою жизнь, и тяжелое чувство охватило блестящаго гусара, когда для спасенія своей жизни нужно убить другого.

Чтобъ понять его чувства, лучше прочесть краснорѣчивое описаніе боя, когда Ростовъ, бросившись на французскаго офицера, сшибаетъ его съ ногъ и уже заноситъ надъ головой его саблю, но въ ту же минуту останавливается — онъ очнулся!

Можетъ-быть, старымъ ветеранамъ покажется смѣшной такая излишняя чувствительность въ офицерѣ, но зато какъ человѣчно, какъ трогательно! — и если смотрѣть на войну съ этой точки зрѣнія, то увидишь ясно, что война что-то отвратительное и противоестественное.

Войска продолжаютъ отступать внутрь Россіи. Театръ военныхъ операцій приближается къ Москвѣ. Во то время ею командовалъ генералъ-губернаторъ графъ Растопчинъ.

Самъ государь тоже спѣшитъ въ первопрестольную столицу, что возбуждаетъ народный патріотизмъ.

Событія быстро идутъ на смѣну одно другому. Смоленскъ сожженъ и взятъ, русская армія, тѣснимая французской, спѣшитъ отступленіемъ. Генералы спорятъ, взваливая неудачи другъ на друга. Вся Россія въ сильномъ волненіи и съ восторгомъ привѣтствуетъ назначеніе главнокомандующимъ Кутузова, — назначеніе, почти силой вырванное у императора Александра, несмотря на происки враждебной придворной партіи.

Съ назначеніемъ Кутузова со всѣхъ сторонъ откликнулась Русь, воодушевленіе громадное, надежда и довѣріе къ арміи возрастаютъ. Здѣсь не лишнимъ будетъ привести эпизодъ, самъ по себѣ не важный, но послѣдствія котораго имѣли большое значеніе на судьбу нѣкоторыхъ главныхъ лицъ романа.

Николай Ростовъ, командированный за фуражомъ, заѣзжаетъ по дорогѣ въ имѣніе князя Болконскаго, какъ разъ во дни его кончины.

Дочь его, княжна Марія, въ послѣдній разъ поклонившись могилѣ покойнаго отца, собирается ѣхать въ Москву; но дворовые и крестьяне, узнавъ объ этомъ, рѣшили не выпускать своей молодой госпожи изъ родового имѣнія, грозя, въ противномъ случаѣ, отпрячь лошадей.

Въ эту фатальную минуту появляется Н. Ростовъ, и на его грозный окрикъ вся толпа мгновенно отхлыниваетъ отъ господскаго дома, и княжна безпрепятственно выѣзжаетъ изъ своихъ владѣній въ Москву.

Ростовъ предлагаетъ княжнѣ свои услуги и сопровождаетъ верхомъ за 12 верстъ отъ ея имѣнія. Тронутая до глубины души рыцарственнымъ поступкомъ Николая и его любезностью, она кидаетъ на молодого офицера одинъ изъ тѣхъ кроткихъ, задушевныхъ взглядовъ, которые такъ преображаютъ ея лицо.

Этотъ взоръ глубоко проникаетъ въ сердце Ростова и оставляетъ въ немъ пріятное воспоминаніе о романической встрѣчѣ.

Вслѣдъ за этимъ приключеніемъ мы снова въ главной квартирѣ генерала Кутузова у Царева-Займища.

Кутузовъ — одна изъ важныхъ историческихъ личностей, наиболѣе пользующаяся горячей симпатіей Толстого.

Насколько онъ умаляетъ достоинства и значеніе другихъ историческихъ личностей, настолько высоко ставитъ Кутузова. Онъ является главнымъ героемъ той части романа, гдѣ дѣло идетъ о „войнѣ“, такъ же какъ главными дѣйствующими лицами второй части (миръ) — Пьеръ Безуховъ и Наташа.

Легко понять, почему Толстой отдаетъ особенное предпочтеніе Кутузову. Нельзя не любить и не уважать этого безкорыстнаго стараго „солдата“, любящаго свою родину выше всего на свѣтѣ.

Онъ невольно внушаетъ довѣріе, на него можно положиться, потому что въ немъ бьется сердце „русскаго человѣка“, говоритъ Толстой. Вынужденный отступить внутрь Россіи, къ Москвѣ, онъ, ударяя себя въ грудь, говоритъ дрожащимъ голосомъ: „Я заставилъ турокъ ѣсть конину, даю слово, что заставлю сдѣлать то же и французовъ“.

Можетъ-быть, Толстой и потому еще такъ добродушно относится къ интересной личности стараго вождя, что самъ-то старый воинъ инстинктивно чувствовалъ то же, „что человѣческая воля безсильна предъ законами судьбы“.

Желая, вѣроятно, еще ярче выставить образъ Кутузова въ противовѣсъ послѣднему, Толстой рѣзкими штрихами очерчиваетъ несимпатичную личность графа Растопчина.

Онъ представляетъ московскаго генералъ-губернатора непослѣдовательнымъ, тщеславнымъ администраторомъ, подчасъ излишне жестокимъ, трусливымъ, блѣднѣющимъ даже при одной мысли о бунтѣ и готовымъ бѣжать при наступленіи непріятеля, котораго, между тѣмъ, далъ слово искоренить „до тла“. Въ противоположность Кутузову, старающемуся при всякомъ случаѣ стушеваться, скрыть свои заслуги, имѣя въ виду лишь достиженіе желанной цѣли, графъ Растопчинъ старается привлечь на себя всеобщее вниманіе. Авторъ „Войны и мира“ лишаетъ его даже того кроваваго ореола, которымъ славится его имя въ исторіи за сожженіе Москвы.

Онъ говоритъ, что графъ дѣйствовалъ неэнергично, только кипятился, терялъ время по пустякамъ, пуская въ ходъ свое краснорѣчіе, печатая напыщенныя, чудныя прокламаціи, говоря, что „честь и слава тому, кто схватитъ злодѣя (Наполеона) и посадитъ на гауптвахту“, да еще давалъ торжественныя клятвы, что злодѣя не впуститъ въ Москву, за что отвѣчаетъ своей головой.

Эти два лица въ романѣ Толстого, которыхъ онъ съ особеннымъ удовольствіемъ противополагаетъ одного другому, обрисованы авторомъ такъ исторически вѣрно, съ такой психологической глубиной, съ такимъ умѣньемъ понять внутреннее содержаніе человѣка, что въ этомъ случаѣ за Толстымъ остается послѣднее слово, и каковы эти лица вышли изъ-подъ пера автора, таковыми они навсегда останутся въ исторіи.

IV.

Третья часть „Войны и мира“ начинается художественнымъ описаніемъ Бородинской битвы (или „Московской“, какъ зовутъ ее французы). Вѣрный своимъ философскимъ теоріямъ, гр. Толстой утверждаетъ, что эта кровопролитная битва, стоившая жизни болѣе 80.000 человѣкъ, была начата Наполеономъ и принята Кутузовымъ безъ всякаго повода и уважительныхъ причинъ, тѣмъ болѣе что не представляла никакихъ особенныхъ выгодъ ни французамъ ни русскимъ. Онъ даже рѣшается утверждать, что въ этомъ случаѣ, какъ и въ другихъ, личная воля Наполеона играла незначительную роль.

Въ этотъ день, по мнѣнію автора, Наполеонъ и Кутузовъ отступаютъ на второй планъ, а истинными героями этого достопамятнаго дня являются одни лишь солдаты и исключительно „солдаты русской арміи“.

Дѣйствительно, русскіе солдаты доказали въ этотъ разъ удивительную стойкость. Раздраженная взятіемъ и опустошеніемъ Смоленска, а особенно угрозой французовъ взять Москву — эту древнюю святыню, армія Кутузова готова умереть до послѣдняго солдата, но не уступить ни пяди земли русской, сознавая вполнѣ хладнокровно, что нынѣшній бой есть вопросъ „жизни или смерти“ для той или другой стороны.

Самое выраженіе солдатскихъ лицъ — серіозное и сосредоточенное — выдавало ихъ душевное настроеніе. „Представьте, — разсказывалъ одинъ офицеръ, — мой батальонъ отказался отъ порціи водки, говоря: сегодня — не время пить!“

Авторъ заходитъ дальше; онъ не только чрезмѣрно возвышаетъ значеніе солдата въ ущербъ начальствующимъ, но рѣшается утверждать, что успѣхъ битвы всецѣло зависитъ отъ солдата и его умственнаго и душевнаго склада.

„Исходъ сраженія,—говоритъ Толстой,—зависитъ ни отъ позицій, ни отъ оружія, ни отъ численности войскъ, но лишь отъ настроенія солдата“. Откинувъ теоріи Толстого,—картина битвы описана мастерски. Чтобъ лучше ознакомить насъ съ событіями достопамятнаго дня, гр. Толстой приводитъ различные эпизоды.

Пьеръ Безуховъ бѣжитъ изъ Москвы, влекомый любопытствомъ и желаніемъ раздѣлить опасное положеніе своихъ „собратій“, и является на войну въ самую сумятицу.

На первыхъ порахъ ему неудача. Солдаты недовѣрчиво осматриваютъ съ головы до ногъ этого огромнаго „барина“ въ зеленомъ платьѣ, въ бѣлой шляпѣ, совсѣмъ непохожаго на военныхъ, не понимая, зачѣмъ, онъ явился; но своимъ безстрашіемъ подъ сильнымъ огнемъ и канонадой онъ скоро пріобрѣтаетъ ихъ полное довѣріе и симпатію.

Съ своей стороны, видя, какъ покойно и безпечно солдаты и ополченцы идутъ на смерть, Пьеръ чувствуетъ умиленіе, нѣжность къ этимъ безвѣстнымъ героямъ, но въ то же время презрѣніе и равнодушіе къ офицерству, съ ихъ жаждой къ орденамъ и чинамъ, съ ихъ нетерпѣливымъ ожиданіемъ первой открывшейся вакансіи на повышеніе.

Здѣсь же на полѣ битвы Пьеръ встрѣчаетъ своего друга князя Андрея, но въ самомъ мрачномъ настроеніи. Послѣ семейныхъ потерь, измѣны невѣсты, преслѣдумый тяжелымъ предчувствіемъ, онъ сильно возбужденъ, раздражается упреками на весь міръ, противъ начальства, товарищей и всякихъ филантроповъ, кричачихъ о правахъ человѣка и рыцарскомъ великодушіи — „пустыхъ краснобаевъ, не идущихъ дальше слова“, по его словамъ. Но Пьеръ не заражается этимъ пессимизмомъ, и возвращается на театръ войны.

Онъ ищетъ всякаго случая быть полезнымъ, и ему приходится быть очевидцемъ кровопролитнаго сраженія при Бородинѣ.

Но прежде чѣмъ раскрыть предъ глазами зрителя страшныя картины смерти, авторъ даетъ неожиданную, но тѣмъ болѣе захватывающую картину вида Бородинскаго поля до начала битвы.

Изъ-за предразсвѣтной мглы показывается солнце и озаряетъ большую равнину, гдѣ съ минуты на минуту должны сойтись на кровавый пиръ десятки тысячъ людей.

Вотъ и мы вмѣстѣ съ Пьеромъ Безуховымъ на знаменитой батареѣ Раевскаго, — главномъ военномъ пунктѣ, — позиціи, непрерывно переходившей отъ французовъ къ русскимъ и обратно.

Пьеръ, поглощенный событіями дня, не сознаетъ грозящей ему опасности и попадаетъ въ самый разгаръ битвы. Онъ ни на минуту не теряетъ присутствія духа, несмотря на то, что бомбы и гранаты жужжатъ и свистятъ вокругъ него, убивая солдатъ и осыпая его самого осколками и землей. Онъ даже вступаетъ въ схватку съ французскимъ офицеромъ, но, за неимѣніемъ оружія, схватываетъ противника за горло и готовъ задушить его собственными руками, но, къ счастью, близъ него раздался свистъ, пролетѣло ядро, онъ нагнулъ голову и выпустилъ противника. И нашъ безпечный герой выходитъ изъ боя здравымъ и невредимымъ, — безъ малѣйшей царапины.

Между тѣмъ сраженіе охватило все поле.

Въ теченіе восьми часовъ идетъ кровопролитный бой.

Пѣхота на пѣхоту, артиллерія на артиллерію, не отступая ни на шагъ. Всѣ войска въ дѣлѣ, вызваны резервы, а еще неизвѣстно, за кѣмъ останется поле, — за русскими или французами.

Это уже не сраженіе, а настоящая бойня безъ отдыха, безъ исхода, почти безполезное избіеніе, — но и самъ Наполеонъ не въ силахъ остановить его.

Наконецъ, около трехъ часовъ пополудни, Кутузову доносятъ, что французы отбиты на лѣвомъ флангѣ и сильно помяты на правомъ.

„Побѣда за нами, и завтра погонимъ ихъ изъ священной земли русской!“ воскликнулъ Кутузовъ и — зарыдалъ.

И немедленно отдаетъ приказъ по всей линіи прекратить бой до слѣдующаго дня и, чтобы ободрить измученныя войска, объявляетъ на завтра атаку.

И тогда и до настоящаго времени, французы и русскіе, — каждые себѣ приписываютъ успѣхъ этого дня.

Если считать, что побѣда на сторонѣ того, за кѣмъ осталось поле битвы, то несомнѣнно, что побѣда принадлежитъ Наполеону. Съ другой стороны, это фактъ, что Бородинская битва, благодаря доблести русскаго солдата, нанесла рѣшительное пораженіе замысламъ Наполеона. И съ этой

минуты можно было предсказать всѣ несчастія вторженія въ Москву, т.-е. безполезное сожженіе и разрушеніе столицы, неизбѣжное отступленіе и погибель въ снѣгахъ Россіи болѣе чѣмъ 500.000 французскихъ войскъ.

Кутузовъ шелъ къ одной цѣли, — своимъ отступленіемъ во внутрь Россіи преградить дальнѣйшій путь Наполеону, и вотъ теперь онъ воочію видитъ, что задуманный планъ вполнѣ удался.

Къ вечеру и на слѣдующее утро прискакали курьеры въ главную квартиру съ донесеніемъ, что потери русскихъ сверхъ ожиданія. Около половины дѣйствующихъ войскъ легло на полѣ битвы, и продолжать сраженіе представлялось невозможнымъ.

И вотъ, по зрѣломъ размышленіи, за неимѣніемъ наличныхъ силъ, рѣшено военнымъ совѣтомъ: оставить Москву на произволъ врага, — лучше сохранить остатки арміи — единственное спасеніе Россіи, чѣмъ потерять и то и другое.

Затѣмъ Кутузовъ, не медля ни минуты, рѣшается дѣйствовать съ обычнымъ ему мужествомъ, не давъ времени врагамъ оклеветать его, рискуя даже вызвать гнѣвъ царя, которому ужъ послано донесеніе о Бородинской побѣдѣ.

Вернемся къ князю Андрею Болконскому, смертельно раненному въ этомъ сраженіи.

Въ ту минуту когда, съ обычными ему хладнокровіемъ и презрѣніемъ къ смерти, онъ ждалъ приказа наступать, раздался окликъ солдата: „Берегись!“ — Наклонитесь, князь! крикнулъ адъютантъ, но тотъ стоялъ недвижимо, и осколки бомбы попали ему въ животъ и ранили смертельно.

Солдаты поспѣшили на помощь, перенесли на перевязочный пунктъ, гдѣ судьба сталкиваетъ его съ тяжело раненымъ красавцемъ Анатолемъ Курагинымъ, бывшимъ причиной разрыва князя съ Наташей.

Говоря о молодой графинѣ Ростовой, вернемся къ ней въ древнюю столицу. Жители первопрестольной спѣшатъ ее покинуть, напуганные извѣстіемъ о приближеніи непріятеля. Въ этомъ случаѣ Толстой съ большой похвалой отзывается о московской аристократіи, рѣшившейся на такой шагъ. Тѣмъ болѣе, что москвичамъ было, конечно, не безызвѣстно, что Наполеонъ при занятіи Берлина и Вѣны не причинилъ вреда дворянамъ. Значитъ, отъѣздомъ руководилъ не страхъ передъ врагомъ, но общее всѣмъ русскимъ чувство: лучше

покинуть священную столицу, чѣмъ отдаться во власть французовъ, лучше оставить богатства, роскошь въ жертву пожара и грабежа, — что станетъ неизбѣжнымъ съ ихъ отъѣздомъ, — но не подчиниться Бонапарту!

Такимъ образомъ и мирные жители Москвы принесли жертву на алтарь отечества — для спасенія Россіи!

Всякій, конечно, старался вывезти, что было болѣе цѣннаго, и Ростовы, уложивъ на нѣсколько подводъ мебель, посуду, картины и др. вещи, готовились отправиться въ имѣніе. Много раненыхъ собралось у воротъ дома, умоляя взять ихъ съ собою.

Наташа, растроганная мольбами и стонами несчастныхъ, просила убѣдительно отца и даже сердилась — отдать имъ подводы. Графъ, хотя и неохотно, сдался на просьбы дочери, и вещи пришлось бросить въ жертву врага, а на подводы уложили раненыхъ. Между послѣдними находился и князь Андрей, но Наташа узнала объ этомъ позже.

2-го сентября Наполеонъ подступилъ къ Москвѣ и остановился на Поклонной горѣ, откуда открывается чудный видъ на всю Москву и окрестности.

Долго наслаждался Наполеонъ красивымъ мѣстоположеніемъ Москвы въ своемъ гордомъ величіи. Затѣмъ медленно продолжалъ путь верхомъ по улицамъ Москвы, чтобы дать время депутаціи „бояръ“ поднести ему городскіе ключи на бархатной подушкѣ, какъ то было въ Берлинѣ и Вѣнѣ. Онъ уже готовилъ рѣчь къ дворянамъ. Милостиво и кротко встрѣтитъ онъ депутатовъ.

И вдругъ ему доносятъ, къ его крайнему изумленію, что Москва „пуста“: значитъ, ни торжественной встрѣчи ни депутацій при восторженныхъ кликахъ напуганной черни!!...

Французскія войска входятъ въ городъ и расходятся по квартирамъ. Высочайшее повелѣніе — предупредить грабежъ — оказывается невозможнымъ: искушеніе слишкомъ велико среди роскоши и богатствъ столицы, брошенныхъ на произволъ врага.

Не прошло десяти минутъ съ размѣщенія войскъ по квартирамъ, какъ арміи не существовало.

Можно сказать, говоритъ авторъ, что армія, голодная и истощенная войною, вмѣстѣ съ разрушеніемъ богатой столицы распалась, забывъ всякую дисциплину: солдатъ обратился въ мародера.

Затѣмъ Толстой останавливаетъ вниманіе на причинѣ сожженія Москвы.

Уже ранѣе мы говорили, что авторъ „Войны и мира“, вопреки гр. Растопчину, отрицаетъ, что Москва сожжена по его приказу, да и русскій народъ никогда не приписывалъ ему этой иниціативы, не ставя ни въ заслугу ни въ упрекъ.

Вѣрнѣе, что народъ приписывалъ ея сожженіе варварству французовъ. А по мнѣнію самого Толстого, ни русскимъ ни французамъ — нельзя поставить этого въ упрекъ.

Просто, Москва сгорѣла, какъ городъ преимущественно деревянный, какъ горятъ фабрики, деревни, домъ, брошенный хозяевами и занятый какимъ-нибудь проходимцемъ.

Всѣ отдѣльныя сцены — какъ занятіе Москвы французами, разграбленіе — описаны мастерски, полны самаго высокаго драматизма и разнообразны подробностями, весьма необыкновенными. Пьеръ Безуховъ играетъ въ этомъ случаѣ весьма значительную роль. Онъ остается въ Москвѣ послѣ занятія ея французами, готовый принять участіе въ ея защитѣ, — чтобъ явиться достойнымъ имени „человѣка“; но узнавъ, что Москву не будутъ защищать, чувствуетъ необходимость пожертвовать собой на пользу родины и задумываетъ собственноручно убить Наполеона и тѣмъ избавить Россію и всю Европу отъ главнаго виновника всѣхъ народныхъ бѣдствій. Чѣмъ предпріятіе опаснѣе, тѣмъ оно заманчивѣе для Пьера.

И вотъ онъ бродитъ въ горящей Москвѣ, изъ одной улицы въ другую, спрятавъ кинжалъ подъ плащомъ, выжидая благопріятной минуты для встрѣчи съ грознымъ императоромъ, окруженнымъ свитой.

Вдругъ раздается отчаянный крикъ. Обрушился горящій домъ, увлекая съ собой подъ развалинами трехлѣтняго ребенка, спавшаго въ колыбели, на глазахъ у матери, обезумѣвшей отъ горя. Забывъ о своемъ грандіозномъ, отважномъ планѣ возмездія, честный Пьеръ бросается въ горящій домъ, и вскорѣ появляется снова хотя съ обгорѣлой бородой и волосами, но съ маленькой дѣвочкой на рукахъ.

Скоро его вниманіе привлекаетъ другая, не менѣе драматичная сцена. На углу Поварской и сада Гронцискихъ пріютились семья армянъ, успѣвшая кое-что спасти отъ пожара и сторожившая свои пожитки; но цѣлая толпа французскихъ

мародеровъ окружила несчастныхъ, желая поживиться. Имъ особенно хотѣлось овладѣть богатымъ ожерельемъ на шеѣ у молодой армянки, — которое ужъ одинъ изъ негодяевъ срываетъ съ нея силой.

Пьеръ, увидѣвъ въ чемъ дѣло, бросается на негодяевъ и обращаетъ ихъ въ бѣгство. Но не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ они снова вернулись съ товарищами, окружили Пьера и арестовали его. Первымъ дѣломъ его обыскиваютъ и, найдя при немъ кинжалъ, принимаютъ за убійцу, поджигателя или бунтовщика, связываютъ ему руки назадъ и ведутъ въ тюрьму.

Въ то время какъ эти событія, полныя драматизма, происходятъ въ Москвѣ, посмотримъ, что дѣлаетъ Николай Ростовъ.

Онъ не участвовалъ въ Бородинскомъ сраженіи, такъ какъ былъ посланъ въ Воронежъ закупить лошадей для своей дивизіи. Въ городѣ онъ застаетъ княжну Марію Болконскую, которая встрѣчаетъ съ восторгомъ своего бывшаго избавителя.

При воспоминаніи о романической встрѣчѣ въ имѣніи, некрасивое лицо княжны освѣщается такой лучезарной улыбкой, что все лицо преображается, она кажется скорѣе красивой, чѣмъ дурной. „Подобно тому, — говоритъ авторъ, — какъ зажигается свѣтъ внутри рѣзного расписного фонаря, и съ неожиданно поражающей красотою выступаетъ на стѣнкахъ сложная художественная работа, казавшаяся прежде темной и безсмысленной“.

Николай любезно отвѣчаетъ на радушный пріемъ княжны. Тонкія черты ея блѣднаго меланхолическаго лица, лучезарный взглядъ, врожденная скромность и грація, а особенно трогательное выраженіе грусти во всей ея фигурѣ вызываютъ невольную симпатію въ молодомъ человѣкѣ.

Достаточно взглянуть, чтобы сказать — чѣмъ кончится эта деревенская идиллія, къ великому прискорбію Сони и къ полному удовольствію старой графини Ростовой, тѣмъ болѣе, что матеріальное положеніе семьи пришло въ окончательный упадокъ. Покончивъ служебныя дѣла, Николай возвращается въ полкъ, а княжна Марія, получившая извѣстіе, что братъ Андрей сильно раненъ, немедленно ѣдетъ въ Ярославль, гдѣ послѣдній находится въ семьѣ Ростовыхъ. Она пріѣзжаетъ въ самое время: брату остается жить нѣсколько часовъ.

Князь Андрей умираетъ тихо, примиренный съ своей молоденькой невѣстой и на рукахъ сестры.

Вернемся опять къ Пьеру Безухову, находящемуся въ плѣну у французовъ. Житейскія невзгоды, выпавшія на его долю, сломили бы и не такого силача, какъ онъ; вынеся всевозможныя униженія и оскорбленія, онъ не сегодня — завтра ждетъ, что его разстрѣляютъ, какъ разстрѣляли на его глазахъ уже шестерыхъ. Авторъ съ невыразимо тонкимъ чутьемъ раскрываетъ предъ нами неожиданный переломъ, совершающійся въ этомъ колоссальномъ, мужественномъ, но не уравновѣшенномъ организмѣ своего героя — предъ лицомъ грубой, слѣпой силы, непреодолимо заявляющей объ себѣ, уничтожающей малѣйшее противодѣйствіе, попирая всякое проявленіе индивидуальной силы. Особенно повліялъ на Пьера видъ военныхъ экзекуцій, невольнымъ зрителемъ которыхъ пришлось ему быть не разъ, и безсильный прійти на помощь, онъ сразу почувствовалъ, что все, что до сихъ поръ составляло для него смыслъ человѣческой жизни, порвалось навсегда.

Но самымъ непредвидѣннымъ исходомъ этихъ душевныхъ страданій и тоски является полное отрезвленіе: весь мистицизмъ, всѣ тревожныя думы, неясныя и неопредѣленныя ощущенія, такъ осаждавшія голову Пьеру, исчезли, давъ мѣсто мирному настроенію духа, удовлетворенію собою, которыхъ онъ тщетно искалъ до сей минуты въ филантропіи, въ масонствѣ, въ сутолокѣ великосвѣтской жизни и, наконецъ, въ самопожертвованіи на пользу ближнихъ.

Къ тому же, благодаря его крѣпкому организму, всѣ эти тяжкія испытанія скользили по немъ, не оставляя слѣда. Онъ даже находилъ нѣкоторое удовольствіе переносить эти страданія, лишенія, видѣть грозныя картины смерти; ему нравились эти сильныя ощущенія, которыя неизгладимыми чертами запечатлѣвались въ душѣ Пьера.

Однако положеніе вещей измѣнилось. Простоявъ съ мѣсяцъ въ Москвѣ, французская армія готовилась къ выступленію. Напрасно Наполеонъ со дня на день ожидалъ парламентеровъ съ предложеніемъ о мирѣ. Кутузовъ, расположившись въ 25 верстахъ отъ Москвы, не показывалъ и виду, что желаетъ начать переговоры о мирѣ. Онъ прекрасно понималъ, что „плодъ еще не дозрѣлъ“, и заботился только, чтобъ

русскіе отряды не тратили даромъ силъ, и не допускалъ до столкновеній съ французами, считая гибель врага недалекой и неизбѣжной. „Время и терпѣніе — вотъ наши союзники“, отвѣчалъ онъ, когда его укоряли въ бездѣйствіи.

А Наполеонъ, потерявъ терпѣніе ждать и сознавая, что почва ускользаетъ изъ-подъ ногъ, два раза посылалъ Лористона съ порученіемъ къ Кутузову. Послѣдній отклонялъ всякія предложенія о мирѣ, говоря посланному, что объ нихъ не можетъ быть и рѣчи, „пока хоть одинъ вооруженный непріятель останется на русской землѣ“. „На меня падетъ проклятіе потомства, всей Россіи, если я пойду на какія-нибудь уступки, соглашенія, да и народъ не допуститъ до этого“.

Разъ ночью, протянувшись на походной кровати, подпершись рукой свою большую голову съ краснымъ шрамомъ на лицѣ и устремивъ въ темноту единственный здоровый глазъ, Кутузовъ глубоко задумался, какъ вдругъ къ избѣ подскакалъ офицеръ генеральнаго штаба Болховитиновъ и, соскочивъ съ лошади, безъ доклада входитъ въ избу съ донесеніемъ, что Наполеонъ покинулъ Москву, со всей арміей идетъ на Вязьму по Смоленской дорогѣ, — короче сказать, отступаетъ къ границамъ Россіи.

„— Милосердый Боже! — воскликнулъ Кутузовъ, поднявшись быстро съ постели и, обратившись лицомъ къ образамъ: — Ты услышалъ мои молитвы — Россія спасена!...“

И онъ залился слезами.

Рѣдко приходится видѣть болѣе трогательную сцену: до глубины души растроганный старый воинъ — строгій къ себѣ и другимъ, — у котораго одно стремленіе, одно желаніе, одно чувство: „святая Русь“!

Инстинктъ не обманулъ опытнаго вождя. Французы оставили Москву — значитъ исходъ войны очевиденъ. Однимъ словомъ, война окончена.

Оставалось одно — итти по слѣдамъ французской арміи, прикрывая ея отступленіе, „какъ бы заметая падающія съ сухого дерева листья“.

Такъ бы и случилось, если бъ не мѣшали отступленію французскихъ войскъ, какъ совѣтовалъ Кутузовъ, имѣя въ виду беречь насколько возможно остатки арміи — на пользу отечества, а не обрекать солдатъ на вѣрную смерть. Сра-

женіе подъ Краснымъ было дано противъ его желанія, гдѣ трое сутокъ билась разстроенная французская армія съ истощенной войною русской арміей — не придя ни къ чему. Слова Кутузова оправдались на дѣлѣ. Французская армія, шедшая до Вязьмы тремя стройными колоннами, стала постепенно убывать, а затѣмъ представляла уже одну безформенную массу, растерявъ по дорогѣ бо́льшую часть дѣйствующихъ войскъ. А еще Кутузова обвиняли въ преднамѣренномъ бездѣйствіи! И до сей минуты находятся люди, готовые утверждать, что можно было окружить французовъ, задержать ихъ отступленіе и даже захватить въ плѣнъ!

Авторъ „Войны и мира“ приводитъ неопровержимыя доказательства, что хотя исполненіе этихъ мечтаній вполнѣ льстило народному самолюбію, но на дѣлѣ они не исполнимы.

Поспѣшное, „почти стремительное“ бѣгство французской арміи дѣлало невозможнымъ какія бы то ни было соображенія комбинацій.

Къ тому же припомнимъ, что и тѣ и другіе (охотники и дичь) были въ довольно плачевномъ состояніи. Одно достовѣрно извѣстно, что русская армія отъ Тарутина до Краснаго потеряла до 50.000 съ отставшими. Нужно прибавить къ тому же, — жестокіе морозы причиняли большія опустошенія въ войскахъ, бѣдные солдаты по колѣно въ снѣгу при 15° мороза терпѣли невыразимыя страданія.

У кого хватитъ духа упрекнуть этихъ несчастныхъ, — тысячами умиравшихъ за родину, — будто они не постояли за честь своей земли, такъ какъ не выполнили невыполнимыхъ плановъ, надуманныхъ военными теоретиками, сидя въ тепломъ кабинетѣ?

Все, что возможно было выполнить, — все было сдѣлано. Если партизанскіе отряды не остановили отступленія французскихъ войскъ, то единственно потому, что это было не въ ихъ власти.

Что касается значенія партизанской войны, то, кажется, авторъ нѣсколько преувеличиваетъ ихъ военныя заслуги, представляя маленькія стычки большими дѣлами.

Въ одной изъ такихъ стычекъ, вблизи деревни Шамшево, мы встрѣчаемъ уже знакомыхъ читателю Денисова и Долохова.

Каждый изъ нихъ командуетъ двумя сотнями партизановъ. Они сговариваются напасть на транспортъ раненыхъ, слѣ-

дующій за корпусомъ Даву. Подъ командой Денисова въ отрядѣ находится Петя Ростовъ.

Ему уже разъ случилось быть въ огнѣ подъ Вязьмой, а теперь онъ страстно желаетъ принять участіе въ болѣе серіозной стычкѣ. Увы! желаніе бѣднаго юноши услышано слишкомъ скоро. Едва показался транспортъ плѣнныхъ, какъ онъ, очертя голову, бросается впередъ, и въ ту же минуту падаетъ, пораженный пулей въ голову. Вмѣстѣ съ другими плѣнными Долоховъ и Денисовъ отбиваютъ у французовъ и Пьера Безухова, находившагося въ транспортѣ.

V.

Часть романа, посвященная войнѣ, оканчивается этимъ эпизодомъ и смертью Кутузова въ Вильнѣ, куда старый герой удалился послѣ изгнанія французовъ.

Онъ умираетъ покойно, вполнѣ довольный, что его единственное желаніе исполнилось, и дальнѣйшія событія меньшей важности мало его интересуютъ. Сознаніе честно выполненнаго долга относительно горячо любимой имъ родины служило достаточнымъ утѣшеніемъ въ непріязни, съ которой на него смотрѣли въ офиціальномъ кругу; эта опала тѣмъ болѣе незаслуженная и несправедливая, что моральное и физическое утомленіе во время битвы сильно потрясли и безъ того уже престарѣлаго фельдмаршала.

Отъ тяжелыхъ и мрачныхъ картинъ войны — во второй части романа „миръ“ переносимся мы къ болѣе свѣтлымъ и мирнымъ картинамъ частной и семейной жизни, кромѣ одной раздирающей душу сцены въ домѣ Ростовыхъ, когда съ театра военныхъ дѣйствій получено извѣстіе о трагической смерти несчастнаго Пети.

Наташа еще не оправилась отъ тяжелаго потрясенія со смерти князя Андрея, какъ новый ударъ разразился въ семьѣ. Она все время находилась въ какомъ-то тупомъ отчаяніи, оцѣпенѣніи, цѣлыми часами сидя въ бездѣйствіи, опустивъ безсильно руки, устремивъ неподвижный взоръ въ пространство. Иногда ей казалось, что предъ ней встаетъ блѣдное лицо несчастнаго жениха, — какимъ она видѣла его на смертномъ одрѣ, — тогда ею овладѣвало полное отчаяніе, затѣмъ она плакала по цѣлымъ часамъ, до полнаго изнеможенія.

Смерть Пети вывела ее изъ этого оцѣпѣненія, а также и отчаяніе матери, — графини Ростовой. Наташа поняла, что ей нужно забыть себя, свое личное горе, — и всю любовь, на которую способно ея сердце, отдать своимъ близкимъ. Природный живой характеръ взялъ верхъ, заговорила любовь къ жизни, и она даже стыдилась, что не подурнѣла за время болѣзни.

Конечно, она не отдавала себѣ отчета, что рана начинаетъ заживать, что моральное исцѣленіе — только вопросъ времени, особенно если явится къ тому поводъ. Случай не заставилъ себя ждать въ лицѣ нашего друга, Пьера Безухова, и какъ разъ во-время и совершенно при неожиданныхъ обстоятельствахъ.

Освобожденный изъ плѣна Пьеръ вернулся въ Москву. Здѣсь онъ узналъ о смерти своего друга, князя Андрея, а также и о смерти жены своей, Элены Безуховой, умершей отъ такой страшной болѣзни. Къ послѣднему онъ отнесся довольно спокойно: послѣ того, что было между нимъ и женой, эта смерть не могла поразить его; несравненно тяжелѣе отозвалась на немъ смерть друга. Узнавъ о пріѣздѣ въ Москву сестры послѣдняго, княжны Маріи, онъ немедленно ѣдетъ къ ней.

Здѣсь, въ домѣ княжны, происходитъ его встрѣча съ Наташей, которую родители прислали лѣчиться въ Москву. Въ первую минуту Пьеръ не узналъ молодой графини, сильно похудѣвшей, блѣдной, въ глубокомъ траурѣ, совсѣмъ не такой, какой видѣлъ ее раньше. А между тѣмъ образъ молодой дѣвушки неотступно преслѣдовалъ его все время съ той самой минуты, какъ онъ увидѣлъ ее въ тоскѣ и мрачномъ отчаяніи послѣ измѣны Андрею.

Только тогда, когда въ разговорѣ Наташа улыбнулась, глаза Пьера открылись, онъ сразу понялъ, кого онъ видитъ. Онъ такъ смѣшался, такое волненіе охватило его, что и княжна и Наташа не могла ошибиться насчетъ его чувствъ.

Но въ первую минуту этому открытію молодая графиня не придала значенія. Только, когда Пьеръ все чаще и чаще сталъ заглядывать къ княжнѣ Маріи, Наташа поняла его чувства, и глубокая почтительность и горячая любовь покорили сердце молодой дѣвушки. Въ пользу Пьера говорило еще одно: сердце Наташи жаждало привязанности, требовало

отвѣта. Она не заставила ждать своего поклонника. Жажда въ жизни проснулась помимо воли и безъ борьбы овладѣла всѣмъ ея существомъ.

Походка, выраженіе лица — все поразительно измѣнилось.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, Пьеръ и Наташа стали мужемъ и женой.

Не такъ скоро пришелъ къ развязкѣ романъ Николая Ростова съ княжной Маріей.

Незадолго до этого умеръ графъ Ростовъ, оставя дѣла къ самомъ плачевномъ положеніи, такъ что по ликвидаціи движимаго имущества пришлось тронуть и часть недвижимаго.

Однако, Николай Ростовъ, какъ благородный человѣкъ, не отказался отъ отцовскихъ долговъ, принявъ ихъ уплату на себя.

Пьеръ одолжилъ ему тридцать тысячъ для расчета съ кредиторами, настоятельно требовавшими уплаты, а другіе согласились на отсрочку; и самъ Николай, несмотря на то, что въ недалекомъ будущемъ могъ получить командованіе полкомъ, отказался отъ военной карьеры, вышелъ въ отставку и, взявъ гражданское мѣсто, поселился въ Москвѣ въ небольшой квартирѣ вмѣстѣ съ матерью и Соней.

Понятно, что мечты старой графини женить сына на богатой наслѣдницѣ разбились впухъ и прахъ, да и самъ Николай, любившій княжну и мечтавшій на ней жениться, какъ честный и благородный человѣкъ, не смѣлъ подумать предложить руку одной изъ богатѣйшихъ невѣстъ въ Россіи — при своихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ.

Да и княжна, пріѣхавшая навѣстить графиню послѣ понесенной утраты, встрѣтивъ непонятно холодный пріемъ со стороны Николая, уѣхала съ отчаяніемъ въ сердцѣ.

Но, къ счастью, недоразумѣніе вскорѣ объяснилось. Княжна поняла все благородство молодого графа и тѣмъ болѣе полюбила его. Осенью состоялась свадьба, и молодые супруги уѣхали въ „Лысыя горы“ въ сопровожденіи матери-графини и бѣдной Сони, — безъ зависти, безъ упрековъ, вполнѣ покорной своей злополучной судьбѣ, — счастливой счастіемъ любимаго ею Николая.

VI.

Романъ Толстого „Война и миръ“ такой богатый по содержанію и въ то же время весьма простой. Сколько ху-

дожественно написанныхъ картинъ, сколько прелестныхъ очерковъ съ самымъ нѣжнымъ колоритомъ!

Не знаемъ, удалось ли намъ дать вѣрное представленіе объ его научномъ значеніи, а особенно дать почувствовать читателю всю прелесть этого выходящаго изъ ряда произведенія.

Разборъ романа „Война и миръ“ представляетъ не маловажный трудъ, такъ какъ обѣ части романа, на которыя онъ дѣлится по своему заглавію, близко связаны одна съ другой, хотя совершенно различны по содержанію. Да если внимательно слѣдить за ходомъ развитія романа, то и нежелательно разъединять ихъ. Первая часть, „Война“, трактующая о военныхъ событіяхъ и, вторая, „Миръ“, рисующая жизнь отдѣльныхъ личностей, семьи,— обѣ эти части представляютъ одно цѣлое отъ начала до конца, но не смѣшиваясь ни одна съ другою.

Каждая часть носитъ лично ей присущій характеръ, форму, колоритъ, подобно тому какъ орнаментъ, украшающій колонну, на первый взглядъ представляетъ одно цѣлое сложное, но на дѣлѣ каждая часть его имѣетъ свой собственный стиль и узоръ, или подобно металлической проволокѣ, которая, безконечно свиваясь, въ то же время ни одинъ рядъ ея не смѣшивается съ другимъ.

Можетъ-быть, если разбирать романъ до тонкости, найдемъ, что первая часть (Война) превосходитъ вторую (Миръ) красотой изображеній, грандіозностью и живостью картинъ, яркостью колорита.

Одно не подлежитъ сомнѣнію, насколько намъ извѣстно, что до сихъ поръ не приходилось встрѣчать такихъ полныхъ и вѣрныхъ дѣйствительности описаній сраженій, каковы: Аустерлицкая и Бородинская.

А что за чудная картина — пожаръ Москвы! А отступленіе французовъ изъ стѣнъ древней первопрестольной столицы къ границамъ Россіи? Случалось ли читать болѣе грандіозную, научно изложенную драму и съ такой поразительной реальностью?

Но мы, несмотря на все, отдаемъ предпочтеніе второй части (Миръ): такъ поразительно дѣйствуютъ на насъ своей мягкостью, изяществомъ эскизы семейной жизни, переданные авторомъ съ необычайной силой. Предъ нами живые люди,— мы переживаемъ ихъ радости и горе. Въ этой части про-

изведенія Толстой особенно показалъ себя даровитымъ художникомъ-романистомъ и съ философской тенденціей.

Этимъ мы хотимъ сказать, что онъ глубокій психологъ, обладающій даромъ прозрѣнія, его всегда влечетъ къ гуманности и символическому. Онъ такъ глубоко изучаетъ характеръ дѣйствующихъ лицъ, разбираетъ ихъ такъ тонко, что рискуетъ сдѣлать несимпатичными. Ему не довольно представить ихъ въ главныхъ чертахъ, съ обыденной физіономіей,— онъ выставляетъ ихъ со всѣми ихъ достоинствами, недостатками, противорѣчіями.

Толстой — страшно суровый психологъ, отъ котораго ничто не укроется, онъ насквозь видитъ измѣнчивую разновидную человѣческую натуру. Какъ безжалостно, но вѣрно обнажаетъ предъ читателемъ даже самыхъ излюбленныхъ своихъ героевъ, каковы: Пьеръ Безуховъ, Наташа, Кутузовъ!

И странно! чѣмъ болѣе лица его произведеній подвержены человѣческимъ слабостямъ, чѣмъ болѣе подходятъ къ намъ своими ошибками, недостатками, тѣмъ болѣе вызываютъ наше участіе, тѣмъ ближе намъ.

Возьмемъ, напр., честнаго, прекраснаго Пьера Безухова,— это нѣжное золотое сердце,— готоваго на всякія самопожертвованія. Но автору какъ будто нравится, при всѣхъ его добрыхъ качествахъ, представить своего героя подчасъ грубымъ и вульгарнымъ. Геркулесъ видомъ, въ зеленомъ кафтанѣ, бѣлой шляпѣ, въ очкахъ, мѣшковатый, неловкій, онъ просто смѣшонъ. И не то же ли съ нравственной стороны; нерѣшительный, апатичный, неэнергичный или доходящій до дикихъ вспышекъ гнѣва—развѣ это не жалкій подчасъ человѣкъ?

Это въ нѣкоторомъ родѣ наивный, разсѣянный, мечтательный ребенокъ, застѣнчивый въ обществѣ, теряющій время по пустякамъ, безъ пользы для себя и другихъ,— допускаетъ женить себя противъ воли, не зная зачѣмъ, на женщинѣ недостойной, утѣшается масонствомъ, мистицизмомъ, и опять-таки на короткое время. Наконецъ, въ концѣ концовъ ищетъ забвенія въ неблагородныхъ развлеченіяхъ — попойкахъ, разгулѣ, пока несчастное приключеніе не приводитъ къ полному познанію жизни, и вотъ онъ обращенъ на истинный путь.

Развѣ не поразительно глубоко очерченъ этотъ характеръ, и не достаточно разоблачаетъ его авторъ? А между тѣмъ мы

готовы извинить Пьеру всѣ его странности и даже недостатки за его простодушіе, за его нѣжное сердце.

А бѣдная Наташа, — поразительныя противорѣчія представляетъ ея характеръ!

Ей предлагаетъ руку человѣкъ высокаго званія, богатый, умный, а у невѣсты нехватаетъ терпѣнія на годъ подождать возвращенія жениха, которому она отдала руку и сердце.

И вдругъ, въ оперѣ, въ случайной встрѣчѣ, страстно влюбляется въ какого-то бездушнаго красиваго щеголя.

Благодаря только любви и предусмотрительности подруги, ей не удается бѣжать изъ родительскаго дома. Затѣмъ снова невѣста терзается любовью къ жениху, узнавъ, что онъ смертельно раненъ. Смерть жениха повергаетъ ее въ самое мрачное отчаяніе, а затѣмъ снова — почти что въ третій разъ — дѣлается невѣстой и выходитъ за Пьера Безухова.

Но чѣмъ же такое странное и легкомысленное существо, какъ Наташа, вызываетъ нашу симпатію? Почему насъ такъ трогаютъ, волнуютъ ея страданія, хоть она страдаетъ по собственной винѣ?

Что касается князя Андрея, — человѣка весьма умнаго, съ либеральными взглядами, кончающаго такой геройской смертью, — для чего же авторъ представляетъ его такимъ спесивымъ, суровымъ, нетерпѣливымъ? Для чего приписываетъ ему такой тяжелый, странный характеръ, разочарованность, что̀ дѣлаетъ его несимпатичнымъ и сухимъ?

Но если, согласно изображенію автора, это лицо не вызываетъ сильной симпатіи, тѣмъ не менѣе мы не можемъ не уважать его.

Что̀ сказать о несчастной княжнѣ Марьѣ Болконской — этомъ ангелѣ доброты, покорности, самоотреченія? Однако Толстой имѣетъ жестокость представить ее некрасивой, почти безобразной, а набожность — нѣсколько странной, доходящей до мистицизма и даже до ханжества.

Что̀ сказать о старомъ князѣ Болконскомъ — этомъ суровомъ деспотѣ, эгоистѣ, своенравномъ сумасбродѣ, нерѣдко жестокомъ — находившемъ особенное удовольствіе мучить покорную дочь?

Даже и своего любимаго героя — Кутузова — „великаго человѣка“, по словамъ Толстого, представляешь мрачнымъ,

ворчливымъ, вспыльчивымъ и въ то же время нѣсколько пошлымъ въ присутствіи государя.

Но всѣ эти главныя лица романа — съ перваго до послѣдняго — имѣютъ одно достоинство, высшее достоинство каждаго разумнаго существа: они живутъ — и живутъ полной жизнью!

Если мѣстами авторъ выставляетъ темныя стороны своихъ героевъ, то тѣмъ рельефнѣй и правдивѣй являются эти изображенія.

Толстой въ своемъ романѣ вводитъ насъ въ особый міръ, — въ эпоху, богатую великими событіями, великими людьми, когда въ атмосферѣ чуялась гроза.

Для французовъ эта эпоха явилась откровеніемъ „русской жизни“, и глубоко поразила ихъ. Не ошибемся, сказавъ, что ни одно изъ всѣхъ имѣющихся сочиненій по исторіи и этнографіи не давало такого полнаго и вѣрнаго понятія о характерѣ русскихъ, какъ эти три тома „Войны и мира“.

Что бы ни рисовалъ авторъ, русскую ли аристократію начала XIX стол., — легкомысленную, поверхностную аристократію еще подъ вліяніемъ Екатерининской эпохи, — говорящей не иначе, какъ по-французски, растягивая слова (что̀ считалось признакомъ хорошаго тона); или въ противоположность утонченной придворной аристократіи авторъ вводитъ насъ въ кругъ гвардейской молодежи, гдѣ подъ вліяніемъ винныхъ наровъ обнаруживаются во всей наготѣ дурныя стороны русскаго человѣка; или изъ Петербурга переноситъ въ Москву — городъ болѣе тихій и мирный, — гдѣ меньше „французятъ“; или изъ Москвы въ деревню, гдѣ знакомитъ съ патріархальной обстановкой помѣщиковъ-землевладѣльцевъ, живущихъ на широкую ногу; или въ солдатскій лагерь, въ избу, служащую главной квартирой главнокомандующему — всюду онъ знакомитъ насъ съ различными типами русской національности, во всѣхъ слояхъ общества, набросанными широкими штрихами, съ удивительнымъ умѣніемъ быстро переноситъ читателя отъ одного къ другому.

Это настоящая Россія, — Россія здѣсь вся налицо въ этомъ прекраснѣйшемъ романѣ!

И съ философской точки зрѣнія романъ „Война и миръ“ — одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній литературы.

Не говоря о нѣкоторыхъ странныхъ оцѣнкахъ міровыхъ событій, о нѣсколько подчасъ длинныхъ разсужденіяхъ гр. Толстого на почвѣ его своеобразныхъ идей, а именно „о значеніи человѣческой воли въ міровыхъ событіяхъ“, нельзя не отнестись съ похвалою къ его энергичнымъ возраженіямъ противъ войны, когда онъ съ такимъ поразительнымъ умѣньемъ доказываетъ, какъ личная воля, индивидуальная сила, разумъ — все отступаетъ передъ грубой животной силой.

Наконецъ, напрашивается еще вопросъ: таковъ ли Пьеръ Безуховъ въ дѣйствительности, какимъ онъ намъ представляется съ перваго взгляда, не болѣе ли онъ сложная натура?

Не хотѣлъ ли Толстой показать въ лицѣ этого взрослаго ребенка съ честными, но нѣсколько смутными понятіями о жизни, который, получивъ воспитаніе во Франціи, вернулся оттуда, вкусивъ передовыхъ идей, — человѣка переходной эпохи и какъ типъ русскаго общества на грани новой эры?

Попавъ въ плѣнъ къ французамъ, Пьеръ приходитъ къ „познанію жизни“, слушая теоріи простого солдата, своего товарища по заключенію. Развѣ это не аллегорія? Можетъ-быть, авторъ хотѣлъ доказать, что все спасеніе, вся будущность молодого поколѣнія этой эпохи зависитъ оттого, сумѣетъ ли она отказаться отъ всѣхъ традицій прошлаго вѣка и сблизиться съ народною средой.

Какъ бы то ни было, но мы никогда не закончили бы нашей статьи, если бы хотѣли воздать должное этому чудному роману, размѣрамъ котораго нельзя не удивляться.

Планъ романа обширный: онъ захватываетъ цѣлую часть Россіи, безчисленное множество лицъ, однихъ коронованныхъ особъ трое съ ихъ маршалами, генералами, офицерами, солдатами, дворянами и крестьянами.

Тысячи самыхъ разнообразныхъ, быстро смѣняющихся картинъ проходятъ предъ нашими глазами, одинаково прекрасныхъ, поразительныхъ, имѣющихъ связь одна съ другою, но всѣмъ понятныхъ, несбивчивыхъ. Есть нѣкоторые эпизоды, такіе богатые содержаніемъ, что каждый, отдѣльно взятый, могъ бы составить цѣлый томъ.

Ни въ современной французской литературы ни въ какой другой нѣтъ произведенія, равнаго этому замѣчательному роману.

Трудно сказать, какому писателю слѣдуетъ Толстой. Его манера писать совсѣмъ оригинальная, своеобразная. Иногда въ своей эпопеѣ онъ, какъ будто, напоминаетъ Вальтеръ-Скотта, но у него нѣтъ такихъ длинныхъ описаній, мысли точнѣе и дѣйствительнѣй. Иногда онъ нѣсколько напоминаетъ Диккенса прелестью и глубокой чувствительностью семейныхъ сценъ или Меримэ — по живости и опредѣленности изображеній.

Но скорѣе всего онъ вѣренъ самъ себѣ.

Авторъ „Войны и мира“ до мозга костей русскій писатель.

Чтобы закончить нашъ очеркъ, оставимъ слово за И. С. Тургеневымъ, который, какъ національный писатель и притомъ глубоко даровитый, больше всѣхъ вправѣ произнесть сужденіе:

„Война и миръ“, — говоритъ онъ, — великое произведеніе великаго писателя. Это настоящая Россія!“ *Баденъ.*

Русское образованное общество въ романѣ „Война и миръ“.

На страницахъ, отведенныхъ „миру“, мы видимъ, какъ жило въ это страшное время русское образованное общество первой четверти прошедшаго столѣтія. Тутъ дѣйствіе размѣщается въ трехъ пунктахъ. Съ первыхъ страницъ авторъ вводитъ читателя въ салонъ петербургской фрейлины Шереръ. Это — салонъ большого свѣта, гдѣ сплетни мѣшались съ тщеславіемъ и ничтожество дѣлало себѣ карьеру. Тутъ выступаетъ наружу вся фальшь жизни высшихъ слоевъ общества, нравственно обанкрутившагося и несостоятельнаго.

Вторымъ центромъ является имѣнье князя Болконскаго. Это — убѣжище непримиримаго недовольства, сознательной оппозиціи существующему порядку или, вѣрнѣе, безпорядку, убѣжище вельможной гордости, знающей цѣну себѣ. Третій центръ — домъ Ростовыхъ. Здѣсь царитъ московское хлѣбосольство и гостепріимство съ несмолкаемымъ весельемъ, съ непрерывными пирами. Къ каждой изъ этихъ сферъ причастно главное лицо „Войны и миръ“ — Пьеръ Безухій, типически воплощающее въ себѣ сильныя и слабыя стороны русскаго

человѣка. Онъ — мягкосердечный, открытой души до наивности, отзывчивый на всякое добро, увлекающійся, впечатлительный, но слабохарактерный и непостоянный. Онъ полонъ энергіи, но неустойчивъ въ своихъ влеченіяхъ, пытливъ и любознателенъ до комизма, и ни въ чемъ не обнаруживаетъ иниціативы; онъ разсѣянъ до того, что способенъ забыть о своемъ честномъ словѣ, и рѣшителенъ до истинно-геройской отваги.

По возвращеніи изъ-за границы, гдѣ онъ воспитывался, Пьеръ Безухій въ Петербургѣ очутился въ положеніи человѣка, не знавшаго, куда себя дѣвать. Въ салонѣ Шереръ его медвѣжья неуклюжесть и неотполированный демократизмъ выказались во всей своей дикости. Онъ не скрывалъ своего либерализма, вывезеннаго изъ-за границы, мечталъ о республикѣ въ Россіи, о побѣдѣ надъ Наполеономъ, о перерожденіи порочнаго рода человѣческаго и тому подобныхъ несбыточныхъ фантазіяхъ, а въ дѣйствительности жизнь его протекала въ попойкахъ, скандальныхъ забавахъ, въ какомъ-то опьяненіи пустотой и бездѣльемъ. Чопорный высшій кругъ шокировался близостью такого камергера. Но это не помѣшало одному изъ главныхъ представителей этого круга почти насильно повѣнчать Пьера съ своей дочерью сомнительной репутаціи. Бракъ этотъ не могъ наполнить жизнь Пьеру. Безсердечная Эленъ, по отцу Курагина, (жена его), никогда ничего не любила въ свѣтѣ, кромѣ собственнаго тѣла. И Пьеръ отрезвился. При всей своей покладистости, онъ энергически покончилъ счеты съ женою, при первомъ же оскорбленіи, нанесенномъ ею.

Тутъ опять онъ очутился совершенно свободнымъ человѣкомъ, не знающимъ, что съ собой дѣлать, на что обратить непочатый запасъ кипучей жизни, какъ разрѣшить сомнѣнія, появившіяся въ его душѣ подъ дѣйствіемъ семейной бури. Его сильнѣе прежняго стали тревожить вопросы о цѣли жизни вообще и его собственной въ частности. „Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидѣть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляетъ всѣмъ?“ спрашивалъ онъ себя. И Пьеръ приходитъ къ тому заключенію, что знать мы можемъ только то, что ничего не знаемъ. И это высшая степень человѣческой премудрости. Такія же сомнѣнія, почти буквально,

долго тревожили и самого автора „Войны и миръ“. Въ его признаніяхъ читаемъ: „я искалъ во всѣхъ знаніяхъ, и не только не нашелъ, но убѣдился, что всѣ тѣ, которые такъ же, какъ и я, искали въ знаніи, точно такъ же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня въ отчаяніе, — безсмыслица жизни, — есть единственное, несомнѣнное знаніе, доступное человѣку“.

Случайная встрѣча Пьера съ масономъ втянула его въ масонство. Онъ рѣшилъ служить дѣлу религіи и добродѣтели. Темное небо какъ будто прояснилось на время. Волны душевныя улеглись, въ сердцѣ ощущалась тишина. Теперь какъ будто не оставалось и тѣни сомнѣній. Прошлое съ его ошибками было позади. Будущее представлялось Пьеру счастливымъ и полнымъ добродѣтели. Призваніе свое онъ видѣлъ въ служеніи благу человѣчества.

Первой заботой Пьера, по пріѣздѣ въ его кіевское имѣніе, было желаніе какъ можно скорѣе освободить крестьянъ, улучшить ихъ участь, уничтожить тѣлесныя наказанія, облегчить барщину, понастроить школъ и больницъ. Управляющіе только дивились всѣмъ этимъ затѣямъ праздnаго барина, и надували этого чудака наружнымъ исполненіемъ его распоряженій. Пьеръ радовался видимому довольству крестьянъ, благодарившихъ барина по настоянію приказчиковъ, его стремленіе дѣлать добро людямъ удовлетворялось, онъ чувствовалъ миръ въ своей душѣ, какъ человѣкъ, славно пообѣдавшій послѣ продолжительнаго голода.

Дѣйствительно, все это оказалось миражемъ. Пьеръ мало-по-малу присмотрѣлся къ масонству, которое въ дѣлахъ добродѣтели и нравственнаго самосовершенствованія оставляло желать многаго. Отъ него не ускользнуло то, что и тутъ подъ благородной личиной скрывались суета мірская, гора честолюбій, взаимныя интриги. Масоны преисправно занимались балами, обѣдами и фестивалями. „Братья мои масоны, — размышляетъ Пьеръ въ минуты хандры, — клянутся кровью въ томъ, что они всѣмъ готовы жертвовать для ближняго, а не платятъ по одному рублю на сборы для бѣдныхъ, интригуютъ Астрея противъ ищущихъ манны, и хлопочутъ о настоящемъ шотландскомъ коврѣ и объ актѣ, смысла котораго не знаетъ никто, кто писалъ его, и который никому не нуженъ. Всѣ мы исповѣдуемъ христіанскій законъ прощенія

обидъ и любви къ ближнему, — законъ, вслѣдствіе котораго мы воздвигли въ Москвѣ сорокъ сороковъ церквей, а вчера засѣкли кнутомъ бѣжавшаго человѣка, и служитель того же самаго закона любви и прощенія, священникъ, давалъ цѣловать солдату крестъ передъ казнью". Съ подобной ложью и путаницей Пьеръ никакъ не въ силахъ былъ примириться и, чтобы забыть гнетущія сомнѣнія и неразрѣшимые вопросы жизни, отдавался всевозможнымъ увлеченіямъ.

Уже изъ сказаннаго видно, что Толстой въ типѣ Безухаго достаточно ясно показалъ испытанную имъ самимъ борьбу вѣры въ возможность добра и правды съ ложью и зломъ дѣйствительной жизни. Но скептицизмъ, какъ плодъ разочарованій, вынесенныхъ изъ наблюденій этой лжи и зла, все-таки не восторжествовалъ въ Пьерѣ. Такое торжество досталось на долю его другу Андрею Болконскому.

Старикъ Болконскій и сынъ его Андрей — типическіе представители нашей знати. Старикъ Болконскій — высокомѣренъ, суровъ, патріархаленъ и величественъ. Онъ одичалъ въ своей гордости. Онъ внушаетъ безграничный страхъ всѣмъ живущимъ съ нимъ, даже своей любящей дочери, которую тиранитъ вѣчнымъ своимъ гнетомъ и дикой любовью. Но она не впадаетъ въ отчаяніе. Жизнь княжны Марьи — настоящая каторга. Утѣшеніемъ служитъ ей религія. „Божьи люди", странницы, составляютъ ея сообщество. Она бесѣдуетъ съ ними о возвышенныхъ предметахъ, ихъ жизнь кажется ей идеальной. Оставить всѣ земныя затѣи и безъ всякихъ помысловъ о завтрашнемъ днѣ и его низменныхъ нуждахъ странствовать, вдохновляться высокими чувствами, отдаться молитвѣ за всѣхъ — вотъ какія стремленія увлекали княжну Марью. Но, вспоминая о престарѣломъ отцѣ, она убѣждалась, что не можетъ покинуть его, и горько плакала о томъ, что любитъ его болѣе, чѣмъ Бога. Совершенную противоположность ей составляетъ князь Андрей, типъ скептика, слѣдующаго только внушеніямъ холоднаго разсудка.

Князь Андрей исполненъ сознанія своего аристократизма, своего родовитаго превосходства надъ всякими рангами, достающимися обыкновеннымъ смертнымъ. Обладая такой гордостью и всѣмъ лоскомъ, потребнымъ для родовитости, онъ въ то же время отличается проницательнымъ умомъ, силой воли, пониманіемъ своего долга, непоколебимой твердостью

и энергіей съ той минуты, когда призываютъ къ дѣятельности серіозные и реальные интересы отечества. Тогда онъ не имѣетъ времени думать о впечатлѣніи, какое произведетъ онъ на окружающихъ. Именно въ „Мирѣ“ читатель видитъ князя Андрея вѣчно скучающимъ, не ладящимъ съ собою, жаждущимъ перемѣнъ, словно неспособнымъ отдаться никакимъ радостямъ жизни и всегда склоннымъ за все винить судьбу. Межъ тѣмъ на страницахъ „Войны“ личность князя Андрея выступаетъ въ самомъ привлекательномъ свѣтѣ. Заслуги его неоспоримы, сражается онъ съ отвагой, даже съ какимъ-то отчаяніемъ. Раненый при Аустерлицѣ и перенесенный во французскій госпиталь, князь Андрей сильно колеблется въ своемъ невѣріи. „Хорошо бы это было, ежели бы все было такъ ясно и просто, какъ оно кажется княжнѣ Марьѣ“, подумалъ онъ при видѣ образка, который сестра уговорила его навѣсить на грудь. И тутъ же рѣшилъ: „ничего, ничего нѣтъ вѣрнаго, кромѣ ничтожества всего того, что мнѣ понятно, и величія чего-то не понятнаго, но важнѣйшаго!“ Съ „ничтожествомъ всего“ передъ лицомъ смерти раскрывается и ничтожество прежняго идеала князя Андрея. Такимъ идеаломъ былъ для него раньше Наполеонъ. Теперь при встрѣчѣ съ нимъ этотъ великій человѣкъ показался князю Андрею совсѣмъ маленькимъ съ его „безучастнымъ, ограниченнымъ и счастливымъ отъ несчастья другихъ взглядомъ“. Тутъ онъ умомъ доходитъ до вѣры, но не знаетъ, какъ найти въ ней удовлетвореніе. Въ жизни не оказывалось ничего заманчиваго. Казалось, не для чего было жить. Только встрѣча съ обольстительной дѣвушкой пробудила въ князѣ Андреѣ спасительную любовь къ жизни. То была Наташа Ростова.

Наташа — настоящая душа дома Ростовыхъ, гдѣ все вокругъ дышало привѣтомъ и радушіемъ. Старикъ Ростовъ былъ истиннымъ геніемъ хлѣбосольства. Графиня дополняла его своей любезностью и добротой. Старшій сынъ Николай какъ бы рожденъ былъ для военной жизни. Профессія военнаго казалась ему первой въ мірѣ. Въ лагерѣ онъ чувствовалъ себя какъ дома, грудью отстаивалъ свой долгъ и военную честь. Крѣпкій тѣломъ, здоровый духомъ, онъ всегда веселъ, доволенъ, потому что не знаетъ ни сомнѣній ни разочарованій. Это — типъ тѣхъ счастливцевъ, которые, не требуя

отъ жизни невозможнаго, сразу попадаютъ въ свою колею и остаются въ ней натурами цѣльными и нравственно-безупречными. Николай Ростовъ нашелъ такое свое назначеніе въ гулѣ войны того времени. Если и приходилось ему видѣть неприглядныя стороны военной славы, въ родѣ сценъ при осмотрѣ госпиталя, то подобныя наблюденія бывали все-таки рѣдки. И въ общемъ итогѣ военная карьера доставила Николаю Ростову одни пріятныя впечатлѣнія, а по окончаніи ея онъ такъ же ровно и безмятежно счастливъ былъ въ своей семейной жизни съ княжной Марьей.

Сестра его, Наташа, восхитительна въ своей натуральной жизненности и веселости. Смѣхъ ея — молодой, искренній, что̀ называется, отъ души — читатель слышитъ на всѣхъ страницахъ, пока ея душа остается не пораненной житейскимъ зломъ. Своимъ весельемъ она одушевляетъ и заражаетъ всю семью. Она весело кокетничаетъ со своими поклонниками и вздыхателями, восторгающимися ея красотой. Она считаетъ себя влюбленной въ князя Бориса, въ друга отца ея, Денисова и потомъ въ князя Андрея. Съ послѣднимъ дѣло зашло далеко. Наташа считалась невѣстой Болконскаго, но это не была настоящая любовь, ибо внезапно въ Наташѣ возгорѣлась страсть, сразу принявшая было ужасающіе размѣры. Встрѣтился красавчикъ-ловеласъ Анатолій Курагинъ и вскружилъ голову Наташѣ. Только случайность спасла ее отъ позорнаго паденія. Пьеръ Безухій во̀-время вмѣшался въ дѣло, обличивъ Курагина въ томъ, что онъ женатъ давно и подло обманываетъ Наташу. Она зачахла отъ стыда, и только въ религіозномъ экстазѣ нашла себѣ исцѣленіе ея пораненная душа.

Пьеръ Безуховъ былъ давнимъ другомъ Наташи. Горе и раскаяніе сдѣлали ее еще привлекательнѣе въ его глазахъ. Онъ даже чувствовалъ скоро небезопасными для себя посѣщенія дома Ростовыхъ. Теперь вѣчно мучившій его вопросъ о тщетѣ и безумности всего земного замѣнился для него представленіемъ ея. „Слышалъ ли онъ, или самъ велъ ничтожные разговоры, читалъ ли онъ, или узнавалъ про подлость и безсмысленность людскую, онъ не ужасался, какъ прежде, не спрашивалъ себя, изъ чего хлопочутъ люди, когда все такъ кратко и неизвѣстно, но вспоминалъ ее въ томъ видѣ, въ которомъ онъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ, и всѣ сомнѣнія его исчезли, не потому что она отвѣчала на вопросы,

которые представлялись ему, но потому, что представленіе о ней переносило его мгновенно въ другую, свѣтлую область душевной дѣятельности, въ которой не могло быть праваго или виноватаго, въ область красоты и любви, для которой стоило жить". Отъ посѣщенія Ростовыхъ, кромѣ того, отвлекало Пьера Безухаго и другое важное обстоятельство. Въ звѣриномъ числѣ Апокалипсиса онъ прочелъ имя Наполеона и „L'Russe Besuhof", и съ той минуты сталъ считать своимъ призваніемъ положить конецъ существованію антихриста. Онъ сталъ слѣдить съ величайшимъ интересомъ за событіями дня. Всеобщее одушевленіе, готовность жертвовать имуществомъ и жизнью охватило тогда всѣхъ русскихъ людей въ отпоръ французамъ. Пьеръ побывалъ въ русскомъ лагерѣ, и все, что увидалъ онъ тамъ, произвело на него глубокое впечатлѣніе. Религіозный жаръ, проявленный одинаково крестьянами, солдатами и офицерами, разогрѣлъ въ Пьерѣ желаніе, уже и раньше начинавшее волновать его, — желаніе принять участіе въ великой борьбѣ за родину, исполнить задачу, для которой Провидѣніе назначило его, связавъ его имя съ мистическимъ числомъ 666, съ антихристомъ, т.-е. Наполеономъ. И еще неотвратимѣе подчинился онъ этой маніи, попавъ въ центральный редутъ въ страшный день Бородинскаго сраженія.

Межъ тѣмъ, въ другой части театра военныхъ дѣйствій, полкъ князя Андрея стоялъ подъ непріятельскимъ огнемъ. Болконскій наканунѣ провелъ ночь въ думахъ о Наташѣ, пытаясь понять ее, и объ Анатоліи Курагинѣ, котораго онъ искалъ съ тѣхъ поръ, какъ до него дошли слухи о подлости его. На слѣдующій день князь Андрей получилъ смертельную рану. Его перенесли въ госпиталь, и по роковой случайности онъ очутился рядомъ съ своимъ соперникомъ, которому только что отняли ногу. Въ больномъ онъ узнаетъ Анатолія Курагина. Близость смерти, несчастіе ближняго озарили умъ скептика новымъ свѣтомъ. Тутъ только онъ понялъ высокій и глубокій смыслъ жизни: „Состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ, да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ, вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ. Но теперь уже

поздно. Я знаю это!“ Въ этомъ отношеніи князя Андрея уже слышится голосъ нашего писателя, указывающій изстрадавшимся душамъ на сферу религіи, какъ на единственную точку опоры для мысли, пораженной измѣнчивостью всѣхъ человѣческихъ благъ. Этотъ взглядъ Толстого прекрасно разъясненъ Страховымъ въ его статьяхъ о „Войнѣ и мирѣ“. Критикъ сопоставляетъ съ такимъ открытіемъ князя Андрея обращеніе къ религіи княжны Марьи, Пьера послѣ измѣны жены, Наташи послѣ обмана Курагина. „Душа, отрекающаяся отъ міра“, замѣчаетъ Страховъ, „становится выше міра и обнаруживаетъ новую красоту — всепрощеніе и любовь“.

Самъ Толстой еще яснѣе говоритъ о томъ же въ своихъ признаніяхъ: „Вѣра есть сила жизни. Если человѣкъ живетъ, то онъ во что-нибудь да вѣритъ. Если бъ онъ не вѣрилъ, что для чего-нибудь надо жить, то онъ бы не жилъ. Если онъ не видитъ и не понимаетъ призрачности, конечности, онъ вѣритъ въ это конечное; если онъ понимаетъ призрачность конечнаго, онъ долженъ вѣрить въ безконечное. Безъ вѣры нельзя жить“.

Князь Андрей, смертельно раненый, также пересталъ ощущать свои прежнія тревоги и мученія душевныя; недовольства жизнью и боязни смерти какъ бы не существовало. Онъ умеръ на рукахъ Наташи и княжны Марьи. Судьба Пьера была иная.

По прибытіи французовъ въ Москву начались пожары. Пьеръ во время одного изъ такихъ пожаровъ спасъ ребенка, возбудилъ подозрѣніе и былъ забранъ въ тюрьму. Оттуда онъ, вмѣстѣ съ другими плѣнными, сопровождалъ французскую армію. Подвергаясь лишеніямъ всякаго рода, перенося стужу и голодъ, онъ не только остается живъ, но едва ощущаетъ всѣ подобныя тягости, отъ которыхъ умираютъ его товарищи. И это объясняется нашимъ писателемъ. Пьеръ испыталъ тамъ впервые успокоеніе души, онъ впервые ощутилъ довольство собою, какого искалъ давно. При видѣ сожженныхъ и разоренныхъ селеній, при видѣ страданій людей кругомъ, его личныя тревоги исчезали совсѣмъ. Вѣра его въ апокалипсическое число, намѣреніе его убить Наполеона, прежняя ненависть къ безсердечной женѣ — все это казалось какимъ-то давнишнимъ сновидѣніемъ. Лживые взгляды на жизнь и счастье, какіе высказывалъ онъ раньше, когда

жилъ въ роскоши, замѣнились болѣе вѣрными понятіями о цѣляхъ и предѣлахъ человѣческаго существованія.

Словомъ, съ Пьеромъ случилось совершенно то же, что и съ самимъ авторомъ „Войны и мира“. „Спасло меня, — говоритъ онъ, — только то, что я успѣлъ вырваться изъ своей исключительности и увидать жизнь настоящую простого рабочаго народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понялъ, что, если хочу понять жизнь и смыслъ ея, мнѣ надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, принявъ тотъ смыслъ, который придаетъ ей настоящее человѣчество, слившись съ этою жизнью, провѣрить его“.

Наши гусары отбили плѣнныхъ у французскаго конвоя, сопровождавшаго Пьера и его товарищей. Когда Москва начала оправляться отъ бѣдствій, Пьеръ вернулся туда и нашелъ тамъ княжну Марью съ Наташей Ростовой. Онъ уже былъ вдовцомъ. Жена его умерла. Опытъ жизни измѣнилъ его. Даже наружность стала не та. Остались только благородныя черты его характера несглаженными. Онъ какъ будто вышелъ изъ нравственной бани, по словамъ Наташи, которая сдѣлалась его женой.

Въ эпилогѣ „Войны и мира“ описывается тихая, гармоничная и счастливая жизнь Наташи съ Пьеромъ и Николая Ростова съ княжной Марьей. Кромѣ Николая Ростова, не знавшаго разладицы съ самимъ собою, всѣ они вышли обновленными изъ личныхъ невзгодъ и несчастій. Послѣ различныхъ превратностей, послѣ всякихъ отрицательныхъ сомнѣній въ смыслѣ жизни, они достигли твердой и положительной цѣли въ семьѣ, гдѣ нѣтъ мѣста терзающимъ душу отчаяніямъ, гдѣ всѣ свѣтлыя стороны человѣческаго сердца находятъ себѣ плодотворное примѣненіе. Это и есть та область красоты и любви, въ которой, по словамъ Толстого, нѣтъ ни праваго ни виноватаго. Пьеръ Безухій, прежде искавшій спасенія отъ хандры и отвращенія къ жизни въ кутежахъ и опьяняющихъ развлеченіяхъ, въ европейскихъ доктринахъ и въ масонствѣ, послѣ несчастій, перенесенныхъ вмѣстѣ съ народомъ, понялъ истинное значеніе трудовой жизни и научился цѣнить ея радости въ любящей и любимой семьѣ.

Цабель.

Смыслъ произведенія Толстого „Война и миръ“.

Всего яснѣе, намъ кажется, смыслъ „Войны и мира“ выражается въ тѣхъ словахъ, автора, которыя мы поставили эпиграфомъ: „Нѣтъ величія“, говоритъ онъ, „тамъ, гдѣ нѣтъ *простоты, добра* и *правды*“.

Задача художника состояла въ томъ, чтобы изобразить истинное величіе, какъ онъ его понимаетъ, и противопоставить его ложному величію, которое онъ отвергаетъ. Эта задача выразилась не только въ противопоставленіи Кутузова и Наполеона, но и во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ борьбы, вынесенной цѣлою Россіею, въ образѣ чувствъ и мыслей каждаго солдата, во всемъ нравственномъ мірѣ русскихъ людей, во всемъ ихъ бытѣ, во всѣхъ явленіяхъ ихъ жизни, въ ихъ манерѣ любить, страдать, умирать. Художникъ изобразилъ со всею ясностью, въ чемъ русскіе люди полагаютъ человѣческое достоинство, въ чемъ тотъ идеалъ величія, который присутствуетъ даже въ слабыхъ душахъ, и не оставляетъ сильныхъ даже въ минуты ихъ заблужденій и всякихъ нравственныхъ паденій. Идеалъ этотъ состоитъ, по формулѣ, данной самимъ авторомъ, въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Простота, добро и правда побѣдили въ 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши. Вотъ смыслъ „Войны и мира“.

Другими словами, художникъ далъ намъ новую, русскую формулу *героической жизни*, ту формулу, подъ которую подходитъ Кутузовъ и подъ которую никакъ не можетъ подойти Наполеонъ. О Кутузовѣ авторъ прямо говоритъ: „*Простая, скромная* и потому *истинно величественная* фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія“ (т. VI, стран. 88). Но то же самое слѣдуетъ разумѣть обо всѣхъ русскихъ людяхъ, обо всѣхъ фигурахъ, выведенныхъ въ „Войнѣ и мирѣ“. Ихъ чувства, мысли и желанія, насколько въ нихъ есть героическаго, насколько въ нихъ проявляется стремленіе къ героическому и пониманіе героическаго, не укладываются въ тѣ чужія и лживыя формы, которыя созданы Европою. Весь русскій душевный строй *проще, скромнѣе,* представляетъ ту гармонію, то равновѣсіе силъ, которыя одни согласны

съ истиннымъ величіемъ и нарушеніе которыхъ мы ясно чувствуемъ въ величіи другихъ народовъ. Обыкновенно насъ плѣняютъ и долго еще будутъ плѣнять блескъ и мощь тѣхъ формъ жизни, которыя создаются силами, не соблюдающими гармоніи, вышедшими изъ взаимнаго равновѣсія. Этихъ яркихъ формъ всякаго рода страстей, всякаго рода душевныхъ напряженій, разрастающихся до ослѣпляющаго величія, — много создала Европа, много создалъ древній міръ. Мы, младшій изъ великихъ народовъ, невольно увекаемся этими формами чуждой жизни; но въ глубинѣ души у насъ хранится другой, своеобразный идеалъ, въ сравненіи съ которымъ часто меркнутъ и являются безобразіемъ — воплощенія въ дѣйствительности и въ искусствѣ идеаловъ, несогласныхъ съ нашимъ душевнымъ строемъ.

Чисто-русскій героизмъ, чисто-русское героическое во всевозможныхъ сферахъ жизни — вотъ что далъ намъ гр. Л. Н. Толстой, вотъ главный предметъ „Войны и мира“. Если мы оглянемся на нашу прошлую литературу, то намъ будетъ яснѣе, какую огромную заслугу оказалъ намъ художникъ, и въ чемъ состоитъ эта заслуга. Основатель нашей самобытной литературы, Пушкинъ, одинъ только въ своей великой душѣ носилъ сочувствіе всѣмъ родамъ и видамъ величія, всѣмъ формамъ героизма, почему и могъ онъ постигнуть и русскій идеалъ, почему и могъ стать основателемъ русской литературы. Но въ его дивной поэзіи этотъ идеалъ проступалъ только чертами, только указаніями, безошибочными и ясными, но неполными и неразвитыми.

Явился Гоголь, и не совладалъ съ безмѣрною задачею. Раздался плачъ по идеалѣ, полились „сквозь видимый міру смѣхъ незримыя слезы“, свидѣтельствовавшія, что художникъ не хочетъ отказаться отъ идеала, но и не можетъ достигнуть его воплощенія. Гоголь сталъ отрицать эту жизнь, которая такъ упорно не выдавала ему своихъ положительныхъ сторонъ. „Нѣтъ у насъ героическаго въ жизни; мы всѣ или Хлестаковы, или Поприщины“ — вотъ заключеніе, къ которому пришелъ несчастный идеалистъ.

Задача всей литературы послѣ Гоголя состояла только въ томъ, чтобы отыскать русскій героизмъ, сгладить то отрицательное отношеніе, въ которое сталъ къ жизни Гоголь, уразумѣть русскую дѣйствительность болѣе правильнымъ,

болѣе широкимъ образомъ, чтобы не могъ отъ насъ укрыться тотъ идеалъ, безъ котораго народъ такъ же не могъ бы существовать, какъ тѣло безъ души. Для этого требовалась тяжкая и долгая работа, и ее-то сознательно и безсознательно несли и совершали всѣ наши художники.

Но первый разрѣшилъ задачу гр. Л. Н. Толстой. Онъ первый одолѣлъ всѣ трудности, выносилъ и побѣдилъ въ своей душѣ процессъ отрицанія и, освободившись отъ него, сталъ творить образы, воплощающіе въ себѣ положительныя стороны русской жизни. Онъ первый показалъ намъ въ неслыханной красотѣ то, что ясно видѣла и понимала только безупречно-гармоническая, всему великому доступная душа Пушкина. Въ „Войнѣ и мирѣ“ мы опять нашли свое героическое, и теперь его уже никто отъ насъ не отниметъ.

Попробуемъ частнѣе и опредѣленнѣе указать, что сдѣлано гр. Л. Н. Толстымъ. Не вся задача рѣшена, не вся широкая область русской души исчерпана гр. Л. Н. Толстымъ, но та половина задачи, которая въ настоящую минуту была всего настоятельнѣе и важнѣе, получила въ „Войнѣ и мирѣ“ рѣшеніе, по своей силѣ и ясности не уступающее никакому другому созданію поэзіи, принадлежащее къ высшимъ ея проявленіямъ, какія только существуютъ и будутъ существовать.

Не весь русскій идеалъ воплотился у гр. Л. Н. Толстого, но съ неотразимою силою и прелестью у него раздался „голосъ за простое и доброе, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго“. Этотъ голосъ въ первый разъ послышался у Пушкина, а смыслъ его въ первый разъ понятъ и засвидѣтельствованъ Ап. Григорьевымъ, употребившимъ и приведенное нами въ кавычкахъ выраженіе. Замѣчательно то буквальное сходство, которое оказывается въ формулѣ Григорьева и въ опредѣленіи гр. Л. Н. Толстымъ истиннаго величія. Это величіе должно совмѣщать *простоту, добро* и правду, т.-е. быть чуждо всего *ложнаго*.

Голосъ за простое и доброе противъ ложнаго и хищнаго — вотъ существенный, главнѣйшій смыслъ „Войны и мира“. Это тотъ прекрасный и своеобразный элементъ нашей литературы, который былъ открытъ въ ней и прослѣженъ съ великою чуткостью Ап. Григорьевымъ. Но критикъ, столь вѣрно понимавшій глубочайшія струны нашей поэзіи, едва ли предвидѣлъ и ожидалъ, что этотъ голосъ послѣ его смерти раз-

дастся несравненно сильнѣе, чѣмъ онъ когда-либо его слышалъ, что могучій звукъ этого прекраснаго голоса нѣкогда покроетъ весь гамъ нашей литературы и примкнетъ по своей несравненной чистотѣ и силѣ къ дивнымъ звукамъ Пушкинской поэзіи.

Особенный смыслъ этого голоса — вотъ что намъ слѣдуетъ опредѣлить. Если мы для этого прослѣдимъ всѣ лица и событія „Войны и мира“, то мы ясно увидимъ, что симпатіи автора имѣютъ нѣкоторую односторонность, выкупаемую тѣмъ большею проницательностью и глубиною относительно той стороны, въ которую обращены эти симпатіи. Существуетъ на свѣтѣ какъ будто два рода героизма: одинъ — дѣятельный, тревожный, порывающійся, другой — страдательный, спокойный, терпѣливый. Ап. Григорьевъ замѣтилъ въ нашей литературѣ появленіе лицъ, представляющихъ въ своей натурѣ это различіе, и называлъ ихъ двумя различными типами: *хищнымъ* и *смирнымъ*. Гр. Л. Н. Толстой, очевидно, съ величайшимъ сочувствіемъ относится къ страдательному или смирному героизму и, очевидно же, мало питаетъ сочувствія къ героизму дѣятельному и хищному. Въ пятомъ и шестомъ томѣ эта разница въ симпатіи выступила еще рѣзче, чѣмъ въ первыхъ томахъ. Къ категоріи дѣятельнаго героизма относятся не только французы вообще и Наполеонъ въ особенности, но и множество русскихъ лицъ, напр. Растопчинъ, Ермоловъ, Милорадовичъ, Долоховъ и пр. Къ категоріи смирнаго героизма принадлежитъ прежде всего самъ Кутузовъ, величайшій образецъ этого типа, Тушинъ, Тимохинъ, Дохтуровъ, Коновицынъ, и пр., и пр.; вообще — вся масса нашихъ военныхъ и вся масса русскаго народа. Весь разсказъ „Войны и мира“ какъ будто имѣетъ цѣлью доказать превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ, который повсюду оказывается не только побѣжденнымъ, но и смѣшнымъ, не только безсильнымъ, но и вреднымъ. Самая ясная и живая фигура, въ которой гр. Л. Н. Толстой съ удивительной силою очертилъ типъ людей, думающихъ быть дѣятельными героями, есть Растопчинъ. Мы слышали, что это лицо угадано авторомъ совершенно вѣрно, что самыя подробныя и многолѣтнія историческія изысканія только подтверждаютъ поэтическую проницательность гр. Л. Н. Толстого [1]).

---

[1]) Такъ отзывался покойный Александръ Николаевичъ Поповъ.

Передъ величіемъ совершающихся событій, люди, подобные Растопчину, являются ничтожными и жалкими, не потому, чтобы это были личности очень слабыя сами по себѣ, а потому, что они порываются вмѣшаться въ ходъ событій, неизмѣримо превышающихъ собою размѣры ихъ силъ. Въ этомъ преувеличеніи своего значенія, въ этомъ нелѣпомъ и дерзкомъ самообольщеніи, у автора оказываются виновными не только отдѣльныя лица, но цѣлые народы, напримѣръ французы, приведшіе на насъ Европу, и цѣлыя сферы въ самой Россіи, напримѣръ придворная сфера, сфера военныхъ штабовъ и т. д. Авторъ показываетъ, какъ повсюду — увѣренность въ своей силѣ, признаніе за своею личностью способности измѣнять и направлять событія ведетъ только къ ошибкамъ и неизбѣжно соединяется съ игрою самыхъ дурныхъ страстей, самолюбія, тщеславія, зависти, ненависти и пр.

Такимъ образомъ, по смыслу всего разсказа, у хищнаго типа отнято всякое поприще дѣйствія. Между тѣмъ, вообще говоря, невозможно отрицать, чтобы люди рѣшительные, смѣлые не имѣли никакой важности въ ходѣ дѣлъ, чтобы русскій народъ не порождалъ людей, дающихъ просторъ своимъ личнымъ взглядамъ и силамъ. Совершенно справедливо, что при такомъ развитіи личности, она, большею частію, отличается весьма непривлекательными чертами; но несомнѣнно также, что въ этихъ людяхъ проявляются и прекрасныя свойства русской душевной силы.

Итакъ, есть сторона русскаго характера, которая не вполнѣ схвачена и изображена авторомъ. Нужно ждать еще художника, который бы сумѣлъ такъ отнестись къ этой сторонѣ, какъ, напримѣръ, Пушкинъ относился къ Петру I:

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ,
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?
О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы?

(*Мѣдный всадникъ.*)

Но пока нѣтъ у насъ чистыхъ и ясныхъ образовъ дѣятельнаго героизма, пока этотъ героизмъ не нашелъ себѣ своего поэта-выразителя, мы должны смиренно преклониться передъ поэтомъ, прославившимъ и воплотившимъ передъ нами героизмъ смиренія. Мы только можемъ гадать и смутно прозрѣвать черты иного величія, также свойственнаго русской натурѣ, а то величіе, которое изображено гр. Л. Н. Толстымъ, мы уже видимъ воочію, въ ясномъ воплощеніи.

И въ существенномъ пунктѣ мы не можемъ не согласиться съ поэтомъ, т.-е. мы вполнѣ признаемъ превосходство смиреннаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ. Гр. Л. Н. Толстой изобразилъ намъ если не самыя сильныя, то, во всякомъ случаѣ, самыя лучшія стороны русскаго характера, тѣ его стороны, которымъ принадлежитъ и должно принадлежать верховное значеніе. Какъ нельзя отрицать, что Россія побѣдила Наполеона не дѣятельнымъ, а смирнымъ героизмомъ, такъ вообще нельзя отрицать, что *простота, добро* и *правда* составляютъ высшій идеалъ русскаго народа, которому долженъ подчиняться идеалъ сильныхъ страстей и исключительно сильныхъ личностей. Мы сильны *всѣмъ народомъ*, сильны тою силою, которая живетъ въ самыхъ простыхъ и смиренныхъ личностяхъ,— вотъ что хотѣлъ сказать гр. Л. Н. Толстой, и онъ совершенно правъ. Прибавимъ, что мы должны бы были преклониться передъ лучшими чертами нашего народнаго идеала и въ томъ случаѣ, если бы намъ не было доказано, что простота, добро и правда могутъ побѣдить всякую ложную, злую и неправую силу. Если вопросъ идетъ о силѣ, то онъ рѣшается тѣмъ, на какой сторонѣ побѣда; но простота, добро и правда намъ милы и дороги сами по себѣ, все равно, побѣдятъ они, или нѣтъ.

Всѣ сцены частной жизни и частныхъ отношеній, выведенныя гр. Л. Н. Толстымъ, имѣютъ одну и ту же цѣль, — показать, какъ страдаетъ и радуется, любитъ и умираетъ, ведетъ свою семейную и личную жизнь тотъ народъ, высшій идеалъ котораго заключается въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Разница, столь ясно изображенная, между Кутузовымъ и Наполеономъ, та же самая разница существуетъ между Пьеромъ и капитаномъ Рамбалемъ, толкующими о своихъ любовныхъ приключеніяхъ, между Бурьенкой и княжной Марьей и т. д. Тотъ же народный духъ, который проявился въ Бородинской

битвѣ, проявляется и въ предсмертныхъ думахъ князя Андрея, и въ душевномъ процессѣ Пьера, и въ разговорахъ Наташи съ матерью, и въ складѣ вновь образовавшихся семействъ, — словомъ, во всѣхъ душевныхъ движеніяхъ частныхъ лицъ „Войны и мира“.

Вездѣ и повсюду или господствуетъ духъ простоты, добра и правды, или является борьба этого духа съ уклоненіями людей на иные пути, и рано или поздно — его побѣда. Въ первый разъ мы увидѣли несравненную прелесть чисторусскаго идеала, смиреннаго, простого, безконечно-нѣжнаго и въ то же время незыблемо-твердаго и самоотверженнаго. Огромная картина гр. Л. Н. Толстого есть достойное изображеніе русскаго народа. Это дѣйствительно неслыханное явленіе, — эпопея въ современныхъ формахъ искусства.

Страховъ.

„Война и миръ“, какъ художественное цѣлое.

„Нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды“.
Война и миръ, т. VI, стран. 62.

Наконецъ, великое произведеніе кончено. Наконецъ, оно передъ нами, оно навсегда наше, и исчезли всякія наши волненія. Въ то время какъ гр. Л. Н. Толстой какъ будто замедлилъ окончаніемъ своего труда, мы невольно мучились страхомъ и надеждой. Художникъ, какъ мы видимъ теперь, спокойно и увѣренно продолжалъ свою работу; твердою рукою онъ доканчивалъ ея послѣднія части; но мы, простые смертные, съ невольнымъ замираніемъ сердца ждали совершенія таинственнаго дѣла. Мы дивились до изумленія, какъ могла творческая сила, не ослабѣвая ни на минуту, дѣйствовать въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, и, еще, не сумѣвъ понять всего величія открывшихся передъ нами силъ, не успѣвъ привыкнуть къ этому величію, малодушно страшились за окончаніе великаго и безцѣннаго дѣла. Самыя нелѣпыя опасенія приходили намъ въ голову.

Но, наконецъ, картина готова, и вся передъ нами. Красота ея открывается съ новою, съ поразительною силою. Только теперь всѣ подробности заняли свое надлежащее

мѣсто, ясно обозначился центръ, ясно выступилъ колоритъ отдѣльныхъ частей, и, обнимая картину однимъ взглядомъ, мы можемъ отчетливо видѣть ея общее освѣщеніе, связь всѣхъ ея фигуръ и неотразимую мысль, которая составляетъ душу всего произведенія, которая даетъ ему полное единство, полную жизнь. Всмотритесь, вчитайтесь, попробуйте обозрѣть весь разсказъ какъ одно цѣлое, — впечатлѣніе будетъ усиливаться и возрастать по мѣрѣ вашего вниманія и изученія.

Какая громада и какая стройность! Ничего подобнаго не представляетъ намъ ни одна литература. Тысячи лицъ, тысячи сценъ, всевозможныя сферы государственной и частной жизни, исторія, война, всѣ ужасы, какіе есть на землѣ, всѣ страсти, всѣ моменты человѣческой жизни, отъ крика новорожденнаго ребенка до послѣдней вспышки чувства умирающаго старика, всѣ радости и горести, доступныя человѣку, всевозможныя душевныя настроенія, отъ ощущеній вора, укравшаго червонцы у своего товарища, до высочайшихъ движеній героизма и думъ внутренняго просвѣтленія — все есть въ этой картинѣ. А между тѣмъ, ни одна фигура не заслоняетъ другой, ни одна сцена, ни одно впечатлѣніе не мѣшаютъ другимъ сценамъ и впечатлѣніямъ, все на мѣстѣ, все ясно, все раздѣльно и все гармонируетъ между собою и съ цѣлымъ. Подобнаго чуда въ искусствѣ, притомъ чуда, достигнутаго самыми простыми средствами, еще не бывало на свѣтѣ. Эта простая и въ то же время невообразимо искусная группировка не есть дѣло внѣшнихъ соображеній и прилаживаній; она могла быть только плодомъ геніальнаго прозрѣнія, которое однимъ взглядомъ, простымъ и яснымъ, объемлетъ и проникаетъ все многообразное теченіе жизни.

Ревниво всматриваемъ мы наше сокровище, это неожиданное богатство нашей литературы, честь и украшеніе ея современнаго періода: нѣтъ ли гдѣ недостатковъ! Нѣтъ ли пропусковъ, противорѣчій? Нѣтъ ли какихъ-нибудь важныхъ несовершенствъ, за которыя мы, конечно, съ избыткомъ были бы вознаграждены сильными сторонами „Войны и мира“, но которыя намъ все-таки больно было бы видѣть въ этомъ произведеніи? Нѣтъ, нѣтъ ничего, что могло бы помѣшать полной радости, что смущало бы нашъ восторгъ. Всѣ лица

выдержаны, всѣ стороны дѣла схвачены, и художникъ до послѣдней сцены не отступилъ отъ своего безмѣрно-широкаго плана, не опустилъ ни одного существеннаго момента, и довелъ свой трудъ до конца безъ всякаго признака измѣненія въ тонѣ, взглядѣ, въ пріемахъ и силѣ творчества. Дѣло поистинѣ изумительное! Для ясности попробуемъ сдѣлать коротенькій очеркъ двухъ послѣднихъ томовъ.

Пятый томъ содержитъ занятіе Москвы французами и все время ихъ пребыванія въ ней. Шестой — бѣгство французовъ и эпилогъ — развязку всѣхъ событій, государственныхъ и частныхъ. Надъ пятымъ томомъ царитъ ужасъ, а надъ шестымъ, несмотря на всѣ его мрачныя картины, уже носится вѣяніе мира, уже ясно, что все стихаетъ, борьба кончена, и скоро наступитъ обыкновенное теченіе жизни. Пятый томъ, начинающійся совѣтомъ въ Филяхъ, на которомъ рѣшено было отдать Москву, и оканчивающійся сценою, когда Кутузовъ получаетъ извѣстіе о выступленіи французовъ изъ столицы, поразителенъ изображеніемъ того страшнаго удара, который былъ нанесенъ русскимъ душамъ потерею Москвы. Люди потерялись, ошалѣли, обезумѣли отъ жестокаго потрясенія. Растопчинъ, Пьеръ, посѣтители питейнаго дома на Варваркѣ — всѣ потеряли голову, всѣ чувствовали и дѣйствовали подъ давленіемъ неописаннаго ужаса. Самъ Кутузовъ, до конца вѣрившій и ни разу не колебавшійся, задумался, какъ никогда онъ не задумывался. Главное лицо пятаго тома, Пьеръ, на которомъ всего яснѣе отражается нравственный процессъ, совершавшійся въ русскихъ душахъ, своими похожденіями всего лучше изображаетъ чувства, овладѣвшія тогда всѣми. Его бѣгство изъ своего дворца, переодѣваніе, попытка убить Наполеона, и прочее — все свидѣтельствуетъ о глубокомъ душевномъ потрясеніи, о страстномъ желаніи такъ или иначе раздѣлить бѣдствія своей родины, страдать тогда, когда всѣ страдаютъ. Онъ, наконецъ, добивается своего, и въ плѣну — успокоивается. Въ плѣну онъ сливается съ массою простонародныхъ лицъ и въ этой массѣ встрѣчаетъ человѣка, который всего яснѣе, всего глубже показываетъ ему силу и красоту русскаго народа, — Платона Каратаева. Убѣжавши съ Бородинскаго поля, Безухій размышлялъ такъ: „Какъ ужасенъ страхъ, и какъ позорно я отдался ему! А они... они все

время до конца были тверды, спокойны"... *Они* въ понятіи Пьера были солдаты, тѣ, которые были на батареѣ, и тѣ, которые его кормили, и тѣ, которые молились на икону. *Они — эти странные, невѣдомые ему доселѣ, они ясно и рѣзко отдѣлялись въ его мысли отъ другихъ людей* (стран. 35, т. V). Затѣмъ во снѣ ему видится масонъ-благодѣтель, говорящій о добрѣ, о возможности быть тѣмъ, чѣмъ были *они*. „И *они* со всѣхъ сторонъ, *съ своими простыми, добрыми лицами*, окружали благодѣтеля". Такъ образъ народа съ неизгладимою силою отпечатлѣлся въ душѣ Пьера на Бородинскомъ полѣ. Но это впечатлѣніе еще разъ, съ большею силою, въ болѣе конкретныхъ формахъ, повторилось для Пьера тогда, когда онъ всего способнѣе былъ его принять, въ плѣну, среди величайшихъ страданій. „Платонъ Каратаевъ", говоритъ авторъ, „остался навсегда въ душѣ Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ и олицетвореніемъ всего русскаго, добраго" (тамъ же, стран. 233). Въ лицѣ Каратаева Пьеръ видѣлъ то, какъ русскій народъ мыслитъ и чувствуетъ при самыхъ крайнихъ бѣдствіяхъ, какъ великая вѣра живетъ въ его простыхъ сердцахъ. Душевная красота Каратаева поразительна, выше всякой похвалы. Вспомнимъ, какъ долго наша литература занималась простымъ народомъ, сколько попытокъ было сдѣлано, чтобы уловить его духъ и силу, сколько подобныхъ попытокъ есть у самого гр. Л. Н. Толстого. Вся эта литература, всѣ эти попытки превзойдены и навсегда заслонены несравненною фигурою Каратаева, показывающею, какъ глубоко овладѣлъ художникъ труднѣйшими задачами, волновавшими цѣлый литературный періодъ, и его самого вмѣстѣ съ другими.

Итакъ, внутренній смыслъ пятаго тома сосредоточенъ на Пьерѣ и Каратаевѣ, какъ на лицахъ, которыя, страдая вмѣстѣ со всѣми, но оставаясь безъ дѣйствія, имѣли возможность подумать и выносить въ душѣ впечатлѣніе великаго общаго бѣдствія. Для Пьера глубокій душевный процессъ окончился нравственнымъ обновленіемъ; Наташа говоритъ, что Пьеръ морально очистился, что плѣнъ былъ для него нравственною банею (т. VI, стр. 136). Каратаеву нечему было учиться; онъ словомъ и дѣломъ училъ другихъ, и умеръ, завѣщавъ свой духъ Пьеру.

Рядомъ съ этими событіями внутренней духовной жизни стоятъ въ пятомъ томѣ всякаго рода внѣшнія событія. Отъѣздъ Ростовыхъ, хлопоты и порыванія Растопчина, убійство Верещагина, капитанъ Рамбаль со своими разсказами, Мишо, доносящій царю о взятіи Москвы, разстрѣливаніе русскихъ поджигателей и т. д. Всѣ эти сцены съ изумительной живостью рисуютъ намъ ходъ всего дѣла въ эту тяжелую эпоху, тогдашнюю жизнь Москвы, Россіи, отъ царя до послѣдняго солдата.

Но творчество нашего художника достигаетъ своей высшей силы тамъ, гдѣ оно касается вѣчныхъ, непреходящихъ интересовъ души человѣческой. Участіе князя Андрея въ общихъ дѣлахъ кончилось на Бородинскомъ полѣ, гдѣ онъ былъ смертельно раненъ. Ему предстояли теперь уже одни частныя его дѣла — свиданіе съ Наташею и смерть. Изображеніе этого свиданія и внутренняго просвѣтленія, испытаннаго княземъ Андреемъ передъ смертью, есть верхъ художественнаго совершенства, дѣйствительное откровеніе тайнъ человѣческаго сердца, потрясающее насъ своею неизмѣримою глубиною. Другой разсказъ не менѣе поразителенъ. Въ пятомъ же томѣ разсказывается, какъ среди всеобщихъ бѣдствій завязалась любовь между княжною Марьею и Николаемъ Ростовымъ. Чистота и нѣжность этихъ отношеній невыразимы, безконечны. Невольно изумляешься тому, какъ просты и вмѣстѣ какъ чисты оба эти существа, какой ясный свѣтъ можетъ горѣть въ самыхъ обыкновенныхъ людяхъ. Итакъ, князь Андрей умираетъ, Николай Ростовъ влюбляется въ свою будущую жену, Пьеръ страдаетъ — вся гамма человѣческой жизни еще разъ взята художникомъ въ пятомъ томѣ.

Шестой томъ — развязка, — конецъ страшныхъ событій и начало новой жизни. Характеръ отступленія французской арміи и образъ дѣйствій нашихъ войскъ показанъ съ такою же ясностью и вѣрностью, какъ и смыслъ Бородинской битвы и значеніе гибели Москвы для насъ и для французовъ. События идутъ быстро, но не опущено ничего требуемаго полнотою картины. Обрисована партизанская война, положеніе бѣгущихъ французовъ, жестокость однихъ русскихъ, благодушіе другихъ, „чувство величественнаго торжества въ соединеніи съ жалостью къ врагамъ и сознаніемъ своей

правоты", какъ говоритъ авторъ (т. VI, стран. 91). Наконецъ, Кутузовъ, подобно тому какъ въ пятомъ томѣ, является въ началѣ, „когда уже стало ясно, что непріятель вездѣ бѣжитъ" (стран. 88), и въ концѣ, когда онъ въ Вильнѣ выслушиваетъ выговоръ государя (стран. 107).

Мы видимъ при этомъ, какъ погибали юноши (смерть Пети Ростова), какъ невѣсты горевали о женихахъ и сестры о братьяхъ (Наташа и княжна Марья о князѣ Андреѣ), какъ матери убивались о дѣтяхъ (графиня Ростова о Петѣ). Когда же кончилась война, наступаютъ свиданія въ Москвѣ тѣхъ лицъ, которыя были разлучены войною, начинаются разсказы и разспросы, завязываются новыя отношенія, и начинается новая жизнь.

Внутренній смыслъ хроники заканчивается послѣдними поученіями, преподаваемыми Пьеру его собственными страданіями и предсмертными рѣчами и смертью Каратаева. Живо и глубоко изображаетъ художникъ обновленіе Пьера. Въ этомъ обновленіи олицетворено обновленіе всей Россіи, то раскрытіе духовныхъ силъ, которое должно было послѣдовать за испытаніями и борьбою. Для Пьера, какъ и для Россіи, начался новый, лучшій періодъ. Очистившійся, укрѣпленный и просвѣтленный страданіемъ, Пьеръ заслуживаетъ любовь Наташи и испытываетъ все счастіе, къ какому только способенъ.

Тутъ опять художникъ вступаетъ въ область неизмѣнныхъ, непреходящихъ интересовъ человѣческой жизни, и опять поднимается до высоты удивительной и несравненной. Онъ рисуетъ намъ двѣ семьи, — двѣ новыя семьи, сложившіяся подъ вліяніемъ всѣхъ разсказанныхъ имъ событій и составляющія какъ бы вѣнецъ дѣла, какъ бы плодъ на одной изъ безчисленныхъ вѣтокъ дерева, выдержавшаго благотворную бурю, — Россіи. Никогда еще не было на свѣтѣ подобнаго описанія супружеской жизни, потому что не было описанія русской семьи, т.-е. самой лучшей изъ всѣхъ семей на свѣтѣ. Любовь между мужемъ и женою въ полномъ расцвѣтѣ ихъ силъ, чистая, нѣжная, твердая, незыблемо глубокая, — въ первый разъ изображена намъ во всей ея высокой силѣ и безъ единой прикрасы.

Картина двухъ новыхъ семействъ удивительно гармонически заканчиваетъ всю хронику. Когда начинался разсказъ,

передъ нами открывались два семейства, уже давно сложившіяся,— семейство Болконскихъ, въ которомъ были взрослые сынъ и дочь, и семейство Ростовыхъ, въ которомъ Николай былъ еще только студентомъ, а Наташѣ было двѣнадцать лѣтъ. Черезъ пятнадцать лѣтъ (такой періодъ, обнимаемый хроникою), передъ нами являются двѣ молодыя семьи съ маленькими дѣтьми. Съ геніальнымъ тактомъ художникъ началъ свою семейную хронику съ людей настолько взрослыхъ, что мы можемъ ими заинтересоваться, и кончилъ картинами, въ которыхъ даже грудныя дѣти намъ безконечно милы, такъ какъ принадлежатъ къ семействамъ, съ которыми мы сжились и сроднились во время разсказа.

Полная картина человѣческой жизни.

Полная картина тогдашней Россіи.

Полная картина того, что̀ называется исторіею и борьбой народовъ.

Полная картина всего, въ чемъ люди полагаютъ свое счастіе и величіе, свое горе и униженіе.

Вотъ что̀ такое „Война и миръ“. *Страховъ.*

Художественность, объективность, образность и правдивость, какъ отличительныя черты романа „Война и миръ“.

Въ 1868 году появилось одно изъ лучшихъ произведеній нашей литературы, „Война и миръ“. Успѣхъ его былъ необыкновенный. Давно уже ни одна книга не читалась съ такою жадностью. Притомъ, это былъ успѣхъ самаго высокаго разряда. „Войну и миръ“ внимательно читали не только простые любители чтенія, до сихъ поръ восхищающіеся Дюма и Февалемъ, но и самые взыскательные читатели, — всѣ, имѣющіе основательное или неосновательное притязаніе на ученость и образованность; читали даже тѣ, которые вообще презираютъ русскую литературу, и ничего не читаютъ по-русски. И такъ какъ кругъ нашихъ читателей съ каждымъ годомъ возрастаетъ, то вышло, что ни одно изъ нашихъ классическихъ произведеній,— изъ тѣхъ, которыя не только имѣютъ успѣхъ, но и заслуживаютъ успѣха,— не расходи-

лось такъ быстро и въ такомъ количествѣ экземпляровъ, какъ „Война и миръ“. Прибавимъ къ этому, что еще ни одно изъ замѣчательныхъ произведеній нашей литературы не имѣло такого большого объема, какъ новое произведеніе гр. Л. Н. Толстого.

Приступимъ же прямо къ анализу совершившагося факта. Успѣхъ „Войны и мира“ есть явленіе чрезвычайно простое и отчетливое, не заключающее въ себѣ никакой ложности и запутанности. Этого успѣха нельзя приписать никакимъ побочнымъ, постороннимъ для дѣла причинамъ. Гр. Л. Н. Толстой не старался увлечь читателей ни какими-нибудь запутанными и таинственными приключеніями, ни описаніемъ грязныхъ и ужасныхъ сценъ, ни изображеніемъ страшныхъ душевныхъ мукъ, ни, наконецъ, какими-нибудь дерзкими и новыми тенденціями,—словомъ, ни однимъ изъ тѣхъ средствъ, которыя дразнятъ мысль или воображеніе читателей, болѣзненно раздражаютъ любопытство картинами неизвѣданной и неиспытанной жизни. Ничего не можетъ быть проще множества событій, описанныхъ въ „Войнѣ и мирѣ“. Всѣ случаи обыкновенной семейной жизни, разговоры между братомъ и сестрой, между матерью и дочерью, разлука и свиданіе родныхъ, охота, святки, мазурка, игра въ карты и пр.,— все это съ такою же любовью возведено въ перлъ созданія, какъ и Бородинская битва. Простые предметы занимаютъ въ „Войнѣ и мирѣ“ такъ же много мѣста, какъ, напримѣръ, въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ безсмертныя описанія жизни Ларинныхъ, зимы, весны, поѣздки въ Москву и т. п.

Правда, рядомъ съ этимъ гр. Л. Н. Толстой выводитъ на сцену великія событія и лица огромнаго историческаго значенія. Но никакъ нельзя сказать, чтобы именно этимъ былъ возбужденъ общій интересъ читателей. Если и были читатели, которыхъ привлекло изображеніе историческихъ явленій или даже чувство патріотизма, то, безъ всякаго сомнѣнія, было не мало и такихъ, которые вовсе не любятъ искать исторіи въ художественныхъ произведеніяхъ, или же сильнѣйшимъ образомъ вооружены противъ всякаго подкупа патріотическаго чувства, и которые, однакоже, прочли „Войну и миръ“ съ живѣйшимъ любопытствомъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что „Война и миръ“ вовсе не есть историческій романъ, т.-е. вовсе не имѣетъ въ виду дѣлать изъ исто-

рическихъ лицъ романическихъ героевъ и, разсказывая ихъ похожденія, соединять въ себѣ интересъ романа и исторіи.

Итакъ, дѣло чистое и ясное. Какія бы цѣли и намѣренія ни были у автора, какихъ бы высокихъ и важныхъ предметовъ онъ ни касался, успѣхъ его произведенія зависитъ не отъ этихъ намѣреній и предметовъ, а оттого, что̀ онъ сдѣлалъ, руководясь этими цѣлями и касаясь этихъ предметовъ, то-есть отъ *высокаго художественнаго выполненія*.

Если гр. Л. Н. Толстой достигъ своихъ цѣлей, если онъ заставилъ всѣхъ вперить глаза на то, что̀ занимало его душу, то только потому, что вполнѣ владѣлъ своимъ орудіемъ — искусствомъ. Въ этомъ отношеніи примѣръ „Войны и мира“ чрезвычайно поучителенъ. Едва ли многіе отдали себѣ отчетъ въ мысляхъ, руководившихъ и одушевлявшихъ автора, но всѣ одинаково поражены его творчествомъ. Люди, приступавшіе къ этой книгѣ съ предвзятыми взглядами, — съ мыслью найти противорѣчіе своей тенденціи, или ея подтвержденіе, — часто недоумѣвали, не успѣвали рѣшить, что̀ имъ дѣлать, негодовать или восторгаться, но всѣ одинаково признавали необыкновенное мастерство загадочнаго произведенія. Давно уже художество не обнаруживало въ такой степени своего всепобѣднаго, неотразимаго дѣйствія.

Но художественность не дается даромъ. Да не подумаетъ кто-нибудь, что она можетъ существовать отдѣльно отъ глубокихъ мыслей и глубокихъ чувствъ, что она можетъ быть явленіемъ не серіознымъ, не имѣющимъ важнаго смысла. Въ этомъ случаѣ нужно отличать истинную художественность отъ ея фальшивыхъ и уродливыхъ формъ. Попробуемъ анализировать творчество, обнаружившееся въ книгѣ графа Л. Н. Толстого, и мы увидимъ, какая глубина лежитъ въ его основаніи.

Чѣмъ всѣ были поражены въ „Войнѣ и мирѣ“? Конечно, объективностью, образностью. Трудно представить себѣ образы болѣе отчетливые, краски болѣе яркія. Точно видишь все то, что описывается, и слышишь всѣ звуки того, что совершается. Авторъ ничего не разсказываетъ отъ себя; онъ прямо выводитъ лица и заставляетъ ихъ говорить, чувствовать и дѣйствовать; при чемъ каждое слово и каждое движеніе вѣрно до изумительной точности, то-есть вполнѣ носитъ характеръ лица, которому принадлежитъ. Какъ будто

имѣешь дѣло съ живыми людьми, и притомъ видишь ихъ гораздо яснѣе, чѣмъ умѣешь видѣть въ дѣйствительной жизни. Можно различать не только образъ выраженій и чувствъ каждаго дѣйствующаго лица, но и манеры каждаго, любимые жесты, походку. Важному князю Василію пришлось однажды, въ необыкновенныхъ и трудныхъ обстоятельствахъ, пройтись на цыпочкахъ; авторъ въ совершенствѣ знаетъ, какъ ходитъ каждое изъ его лицъ. „Князь Василій, говоритъ онъ, не умѣлъ ходить на цыпочкахъ, и неловко подпрыгивалъ всѣмъ тѣломъ“ (т. I, стран. 115). Съ такою же ясностью и отчетливостью авторъ знаетъ всѣ движенія, всѣ чувства и мысли своихъ героевъ. Когда онъ разъ вывелъ ихъ на сцену, онъ уже не вмѣшивается въ ихъ дѣла, не помогаетъ имъ, предоставляя каждому изъ нихъ вести себя сообразно со своею натурой.

Изъ того же стремленія соблюсти объективность, происходитъ, что у гр. Толстого нѣтъ картинъ или описаній, которыя онъ дѣлалъ бы отъ себя. Природа у него является только такъ, какъ она отражается въ дѣйствующихъ лицахъ; онъ не описываетъ дуба, стоящаго среди дороги, или лунной ночи, въ которую не спалось Наташѣ и князю Андрею, а описываетъ то впечатлѣніе, которое этотъ дубъ и эта ночь произвели на князя Андрея. Точно такъ, битвы и событія всякаго рода разсказываются не по тѣмъ понятіямъ, которыя составилъ себѣ о нихъ авторъ, а по впечатлѣніямъ лицъ, въ нихъ дѣйствующихъ. Шенграбенское дѣло описано, большею частью, по впечатлѣніямъ князя Андрея; Аустерлицкая битва — по впечатлѣніямъ Николая Ростова; пріѣздъ императора Александра въ Москву изображенъ въ волненіяхъ Пети, и дѣйствіе молитвы о спасеніи отъ нашествія — въ чувствахъ Наташи. Такимъ образомъ, авторъ нигдѣ не выступаетъ изъ-за дѣйствующихъ лицъ и рисуетъ событія не отвлеченно, а, такъ сказать, плотью и кровью тѣхъ людей, которые составляли собою матеріалъ событій.

Въ этомъ отношеніи „Война и миръ“ представляетъ истинныя чудеса искусства. Схвачены не отдѣльныя черты, а цѣликомъ та жизненная атмосфера, которая бываетъ различна около различныхъ лицъ и въ разныхъ слояхъ общества. Самъ авторъ говоритъ о *любовной и семейной атмосферѣ* дома Ростовыхъ; но припомните другія изображенія того же рода: атмосфера, окружавшая Сперанскаго; атмосфера, господство-

вавшая около *дядюшки* Ростовыхъ; атмосфера театральной залы, въ которую попала Наташа; атмосфера военнаго госпиталя, куда зашелъ Ростовъ, и пр. пр. Лица, вступающія въ одну изъ этихъ атмосферъ или переходящія изъ одной въ другую, неизбѣжно чувствуютъ ихъ вліяніе, и мы переживаемъ его вмѣстѣ съ ними.

Такимъ образомъ достигнута высшая степень объективности, т.-е. мы не только видимъ передъ собою поступки, фигуру, движенія и рѣчи дѣйствующихъ лицъ, но и вся ихъ внутренняя жизнь предстаетъ передъ нами въ такихъ же отчетливыхъ и ясныхъ чертахъ; ихъ душа, ихъ сердце ничѣмъ не заслоняются отъ нашихъ взоровъ. Читая „Войну и миръ“, мы въ полномъ смыслѣ слова *созерцаемъ* тѣ предметы, которые избралъ художникъ.

Но что же это за предметы? Объективность есть общее свойство поэзіи, которое должно всегда въ ней присутствовать, какіе бы предметы она ни изображала. Самыя идеальныя чувства, самая высокая жизнь духа должны быть изображаемы объективно. Пушкинъ совершенно объективенъ, когда вспоминаетъ о нѣкоторой *величавой женѣ;* онъ говоритъ:

Ея чела я помню покрывало
И очи, свѣтлыя, какъ небеса.

Онъ слышалъ ея голосъ:

Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,
Съ младенцами бесѣдуетъ она.

Точно такъ, онъ вполнѣ объективно изображаетъ ощущенія „Пророка“:

И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.

Объективность гр. Л. Н. Толстого, очевидно, обращена въ другую сторону, — не на идеальные предметы, а на то, что мы противополагаемъ идеалу, — на такъ называемую дѣйствительность, на то, что не достигаетъ идеала, уклоняется отъ него, противорѣчитъ ему и, однакоже, существуетъ, какъ бы свидѣтельствуя о его безсиліи. Гр. Л. Н. Толстой есть *реалистъ*, т.-е. принадлежитъ къ давно господствую-

щему и весьма сильному направленію нашей литературы. Онъ глубоко сочувствуетъ стремленію нашихъ умовъ и вкусовъ къ реализму, и его сила заключается въ томъ, что онъ умѣетъ вполнѣ удовлетворить этому стремленію.

Въ самомъ дѣлѣ, реалистъ онъ великолѣпный. Можно подумать, что онъ не только изображаетъ свои лица съ неподкупной вѣрностью дѣйствительности, а какъ будто даже умышленно совлекаетъ ихъ съ идеальной высоты, на которую мы, по вѣчному свойству человѣческой природы, такъ охотно и легко ставимъ людей и событія. Безжалостно, безпощадно гр. Л. Н. Толстой обнаруживаетъ всѣ слабыя стороны своихъ героевъ; онъ не утаиваетъ ничего, не останавливается ни передъ чѣмъ, такъ что наводитъ даже страхъ и тоску о несовершенствѣ человѣка. Многія чувствительныя души не могутъ, напр., переварить мысль объ увлеченіи Наташи Курагинымъ; не будь этого, — какой вышелъ бы прекрасный образъ, нарисованный съ изумительной правдивостью; но поэтъ-реалистъ безпощаденъ.

Если смотрѣть на „Войну и миръ“ съ этой точки зрѣнія, то можно принять эту книгу за самое ярое *обличеніе* александровской эпохи, — за неподкупное разоблаченіе всѣхъ язвъ, которыми она страдала. Обличены — своекорыстіе, пустота, фальшивость, развратъ, глупость тогдашняго высшаго круга; безмысленная, лѣнивая, обжорливая жизнь московскаго общества и богатыхъ помѣщиковъ, въ родѣ Ростовыхъ; затѣмъ, величайшіе безпорядки вездѣ, особенно въ арміи, во время войнъ; повсюду показаны люди, которые, среди крови и битвъ, руководятся личными выгодами и приносятъ имъ въ жертву общее благо; выставлены страшныя бѣдствія, происходившія отъ несогласія и мелочного честолюбія начальниковъ,— отъ отсутствія твердой руки въ управленіи; выведена на сцену цѣлая толпа трусовъ, подлецовъ, воровъ, развратниковъ, шулеровъ; ярко показана грубость и дикость народа (въ Смоленскѣ мужъ, бьющій жену; бунтъ въ Богучаровѣ).

Но гр. Л. Н. Толстой изображалъ темныя черты предметовъ не потому, чтобы желалъ ихъ выставить на видъ, а потому, что хотѣлъ изображать предметы вполнѣ, со всѣми ихъ чертами, слѣдовательно, и съ темными. Цѣлью его была *правда* въ изображеніи, — неизмѣнная вѣрность дѣйствительности, и эта-то правдивость и приковывала къ себѣ все вниманіе чита-

телей. Патріотизмъ, слава Россіи, нравственныя правила — все забывалось, все отходило на задній планъ передъ этимъ реализмомъ, выступившимъ во всеоружіи. Читатель жадно слѣдилъ за этими картинами; какъ будто художникъ, ничего не проповѣдуя, никого не обличая, подобно нѣкоторому волшебнику, переносилъ его изъ одного мѣста въ другое и давалъ ему самому видѣть, что̀ тамъ дѣлалось.

Все ярко, все образно и, въ то же время, все реально, все вѣрно дѣйствительности, какъ дагерротипъ или фотографія; вотъ въ чемъ сила гр. Л. Н. Толстого. Чувствуешь, что авторъ не хотѣлъ преувеличить ни темныхъ ни свѣтлыхъ сторонъ предметовъ, не хотѣлъ набросить на нихъ никакого особеннаго колорита или эффектнаго освѣщенія, — что онъ всею душою стремится передать дѣло въ его настоящемъ, дѣйствительномъ видѣ и свѣтѣ, — вотъ неодолимая прелесть, побѣждающая самыхъ упорныхъ читателей! Да, мы, русскіе читатели, давно уже упорны въ отношеніи къ художественнымъ произведеніямъ, давно уже вооружены сильнѣйшимъ образомъ противъ того, что̀ называется поэзіею, идеальными чувствами и мыслями; мы какъ будто потеряли способность увлекаться идеализмомъ въ искусствѣ, и упрямо упираемся противъ малѣйшаго соблазна въ эту сторону. Мы или не вѣримъ въ идеалъ, или (что̀ гораздо вѣрнѣе, такъ какъ не вѣрить въ идеалъ можетъ частное лицо, но не народъ) ставимъ его такъ высоко, что не вѣримъ въ силу художества, — въ возможность какого-либо воплощенія идеала. При такомъ положеніи дѣла, художеству осталась одна дорога — реализмъ; что̀ вы сдѣлаете, чѣмъ вооружитесь противъ правды, — противъ изображенія жизни, какъ она есть?

Но реализмъ реализму рознь; искусство, въ сущности, никогда не отказывается отъ идеала, всегда стремится къ нему; и чѣмъ яснѣе и живѣе слышно это стремленіе въ созданіяхъ реализма, тѣмъ они выше, тѣмъ ближе къ настоящей художественности. Не мало у насъ людей, которые понимаютъ это дѣло грубо, именно — воображаютъ, что они должны для наилучшаго успѣха въ искусствѣ превратить свою душу въ простой фотографическій приборъ, и снимать въ него тѣ картинки, какія попадутся. Наша литература представляетъ множество подобныхъ картинокъ: зато простодушные читатели, воображавшіе, что передъ ними выступаютъ дѣйствительные

художники, не мало потомъ удивлялись, видя, что изъ этихъ писателей ровно ничего нн выходитъ. Дѣло, однакоже, понятное; эти писатели были вѣрны дѣйствительности не потому, чтобы она у нихъ ярко была озарена ихъ идеаломъ, а потому, что сами не видѣли дальше того, что̀ писали. Они стояли въ уровень съ тою дѣйствительностью, которую описывали.

Гр. Л. Н. Толстой не реалистъ-обличитель, но онъ и не реалистъ-фотографъ. Тѣмъ и дорого его произведеніе, въ томъ его сила и причина успѣха, что, удовлетворяя вполнѣ всѣмъ требованіямъ нашего современнаго искусства, онъ выполнилъ ихъ въ самомъ чистомъ ихъ видѣ, въ самомъ глубокомъ ихъ смыслѣ. Сущность русскаго реализма въ искусствѣ никогда еще не обнаруживалась съ такою ясностью и силою; въ „Войнѣ и мирѣ“ онъ поднялся на новую ступень, вошелъ въ новый періодъ своего развитія.

Сдѣлаемъ еще шагъ въ характеристикѣ этого произведенія, и мы уже будемъ близко къ цѣли.

Въ чемъ заключается особенная, ярко выступающая черта таланта гр. Л. Н. Толстого? Въ необыкновенно тонкомъ и вѣрномъ изображеніи душевныхъ движеній. Гр. Л. Н. Толстого можно назвать по преимуществу *реалистомъ-психологомъ*. По прежнимъ своимъ произведеніямъ онъ давно извѣстенъ, какъ изумительный мастеръ въ анализѣ всякаго рода душевныхъ перемѣнъ и состояній. Этотъ анализъ, разрабатываемый съ какимъ-то пристрастіемъ, доходилъ до мелочности, до неправильной напряженности. Въ новомъ произведеніи всѣ крайности его отпали, и осталась вся его прежняя точность и проницательность; сила художника нашла свои предѣлы, и улеглась въ свои берега. Все вниманіе его устремлено на душу человѣческую. У него рѣдки, кратки, и неполны описанія обстановки, костюмовъ, словомъ — всей внѣшней стороны жизни; но зато нигдѣ не упущено впечатлѣніе и вліяніе, производимое этою внѣшнею стороною на душу людей, а главное мѣсто занимаетъ ихъ внутренняя жизнь, для которой внѣшняя служитъ только поводомъ или неполнымъ выраженіемъ. Малѣйшіе оттѣнки душевной жизни и самыя глубокія ея потрясенія изображены съ одинаковой отчетливостью и правдивостью. Чувство праздничной скуки въ Отрадненскомъ домѣ Ростовыхъ и чувство всего русскаго войска въ самый разгаръ Бородинской битвы, молодыя душевныя

движенія Наташи и волненія старика Болконскаго, теряющаго память и близкаго къ удару паралича, — все ярко, все живо и точно въ разсказѣ гр. Л. Н. Толстого.

Итакъ, вотъ гдѣ сосредоточивается весь интересъ автора, а въ силу того, и весь интересъ читателя. Какія бы огромныя и важныя событія ни происходили на сценѣ, — будетъ ли это Кремль, захлебнувшійся народомъ, вслѣдствіе пріѣзда государя, или свиданіе двухъ императоровъ, или страшная битва съ громомъ пушекъ и тысячами умирающихъ, — ничто не отвлекаетъ поэта, а вмѣстѣ съ нимъ и читателя, отъ пристальнаго взглядыванія во внутренній міръ отдѣльныхъ лицъ. Художника какъ будто вовсе не занимаетъ событіе, а занимаетъ только то, какъ дѣйствуетъ при этомъ событіи человѣческая душа, — что она чувствуетъ и вноситъ въ событіе?

Спросите теперь себя, чего же ищетъ поэтъ? Какое упорное любопытство заставляетъ его слѣдить за малѣйшими ощущеніями всѣхъ этихъ людей, начиная отъ Наполеона и Кутузова до тѣхъ маленькихъ дѣвочекъ, которыхъ князь Андрей засталъ въ своемъ разоренномъ саду?

Отвѣтъ одинъ: художникъ ищетъ слѣдовъ красоты души человѣческой, — ищетъ въ каждомъ изображаемомъ лицѣ той искры Божіей, въ которой заключается человѣческое достоинство личности, — словомъ, старается найти и опредѣлить со всею точностью, какимъ образомъ и въ какой мѣрѣ идеальныя стремленія человѣка осуществляются въ дѣйствительной жизни. *Страховъ.*

Содержаніе и идея романа „Анна Каренина“.

Какъ и все, что вышло изъ-подъ пера графа Л. Н. Толстого, романъ „Анна Каренина“ отличается полною самостоятельностью творческихъ мотивовъ и очевиднымъ преобладаніемъ интереса къ вѣчному и общечеловѣческому надъ временнымъ и случайнымъ. Несмотря на то, что романъ этотъ писался во время всеобщаго почти увлеченія соціальными вопросами и совершавшимися тогда политическими событіями, онъ слегка лишь касается этихъ — уже минувшихъ — злобъ дня и развиваетъ иную тему, чуждую этимъ злобамъ и отвѣчающую только „любимымъ думамъ“ самого автора.

Въ глазахъ критики того времени, это было неизвинимымъ недостаткомъ. Словно пораженная слѣпотой, критика эта ничего не способна была увидѣть въ романѣ, кромѣ „великосвѣтскихъ амуровъ“ и „самодурства барской праздности“... Но не прошло еще и десяти лѣтъ, а эти мнѣнія критики давно уже забыты и покоются гдѣ-то въ пыли журнальныхъ архивовъ, тогда какъ „любимыя думы“ автора, получавшія въ романѣ свое художественное выраженіе, пріобрѣтаютъ все большій и большій интересъ, все больше и больше вырастаютъ въ своемъ значеніи. Онѣ проникли уже въ мысли и сердце читателя и вызывали въ немъ то состояніе эстетическаго восторга, которымъ человѣкъ не разучился еще отвѣчать на явленія истины и красоты. Такимъ восторгомъ переполнена, напримѣръ, критическая статья покойнаго М. Р. Громеки, написанная съ серіознымъ отношеніемъ къ предмету и съ рѣдкою въ наше время широтою взгляда.

„Анна Каренина“ — уже не то безбрежное море жизни, которое открывается намъ въ „Войнѣ и мирѣ“; это уже не народная эпопея, но болѣе привычное намъ литературное произведеніе съ ограниченною сферою изображенія, съ опредѣленнымъ кругомъ лицъ, съ опредѣленнымъ и сконцентрированнымъ дѣйствіемъ. Впрочемъ, все это можно сказать только по сравненію съ „Войною и миромъ“; при сопоставленіи же съ другими романами „Анна Каренина“ является произведеніемъ, выдающимся по богатству и разнообразію содержанія, по множеству выведенныхъ лицъ, по обилію эпизодическихъ сценъ и картинъ. Даже дѣйствіе въ „Аннѣ Карениной“ тяготѣетъ не къ одному центру, но развивается двумя параллельными и почти самостоятельными фабулами. Несмотря на это, романъ не производитъ двойственнаго впечатлѣнія, не кажется искусственнымъ соединеніемъ двухъ различныхъ и ненужныхъ другъ другу инцидентовъ человѣческой жизни. Вы чувствуете въ немъ какое-то глубокое внутреннее единство, вполнѣ удовлетворяющее васъ, и самую раздвоенность фабулы замѣчаете только изъ внѣшняго анализа романа, только путемъ логическихъ умозаключеній. Почему это? Что придаетъ роману это непосредственно сознаваемое въ немъ единство?

Во всѣхъ произведеніяхъ своихъ гр. Толстой старался постигнуть законы человѣческой жизни, что имъ неотступно

руководилъ интересъ раскрыть судьбу человѣка, уловить дѣйствительныя возможности и необходимости его земного жребія. Въ разсматриваемомъ романѣ авторъ остался вѣренъ тому же интересу, но здѣсь онъ глубже, чѣмъ когда-либо заглянулъ въ тайны человѣческой судьбы и ярче, чѣмъ гдѣ-либо, представилъ зависимость человѣческаго счастья отъ вѣчныхъ и непреодолимыхъ законовъ природы. Своимъ романомъ онъ словно открылъ передъ нами окно, черезъ которое мы увидали таинственный міръ силъ, управляющихъ жизнью, увидали нѣчто неизмѣнное и безконечное, проявляющееся въ конкретныхъ и какъ бы случайныхъ событіяхъ, увидали природу-судьбу, природу Немезиду съ ея грознымъ закономъ: „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ!“ Читая романъ, мы чувствуемъ присутствіе этихъ вѣчныхъ и роковыхъ силъ жизни, чувствуемъ, какъ подчиняясь имъ, складывается его дѣйствіе,— и вотъ эта-то властная, всемогущая рука судьбы, ведущая человѣка, этотъ скрытый, но несомнѣнный дѣятель романа и придаетъ ему то внутреннее единство, которое заставляетъ насъ видѣть во всѣхъ персонажахъ его — брошеннаго на землю и покорнаго ея власти человѣка, а во всѣхъ положеніяхъ и коллизіяхъ — предопредѣленныя возможности о необходимости человѣческой жизни. Но то великое и вѣчное, что показываетъ намъ графъ Толстой, не есть слѣпая судьба, или рокъ древнихъ; таинственныя парки прядутъ у современнаго художника не жизненныя нити каждой конкретной личности, но нити общихъ, абстрактныхъ законовъ, опутывающихъ жизнь человѣческую и неизмѣнно примѣняющихся относительно всякаго человѣка. Древніе представляли судьбу человѣка, какъ необходимый для него рядъ непостижимыхъ случайностей; въ изображеніи нашего художника, судьба — случайно наступившій рядъ необходимостей. Эдипъ убилъ отца и женился на матери, потому что ему именно это было предопредѣлено, потому что отъ судьбы своей не уйдешь; Анна Каренина могла не погибнуть, могла бы прожить если не счастливо, то спокойно; но, отдавшись своей страсти и пожертвовавъ для нея всѣмъ, она должна была погибнуть.

Анна Аркадьевна Облонская молоденькой дѣвушкой выдана была замужъ за Алексѣя Александровича Каренина. Живое, личное чувство не играло никакой роли въ этомъ супружествѣ. Тетка выдала Анну за Каренина, находя по-

чему-то эту партію выгодною. Восемь лѣтъ прожила Анна со своимъ мужемъ, — прожила мирно, спокойно, однообразно, дѣля свое время между свѣтскими удовольствіями и заботами о сынѣ. Полная силъ, молодая, красивая, жаждущая еще неизвѣданнаго ею счастья, Анна не могла быть удовлетворена тою жизнью, которую давалъ ей мужъ — этотъ умный и безукоризненно честный, но сухой педантъ, убившій въ себѣ всякое чувство и автоматически правильно движущійся въ жизни подъ дѣйствіемъ исключительно умственнаго механизма идей, сознанныхъ обязанностей и задачъ. Не разразись драма, Анна могла бы завянуть и заглохнуть въ этой жизни. И это была бы жертва, и это было бы возмездіе судьбѣ — обидная жертва молодого счастья въ угоду какимъ-то постороннимъ, фальшивымъ расчетамъ, возмездіе за произвольное нарушеніе естественныхъ правъ и стремленій человѣческой природы... Но случай сулилъ иное. Дорогою изъ Петербурга въ Москву Анна встрѣтилась съ молодымъ, красивымъ офицеромъ, графомъ Вронскимъ. Вотъ какъ описываетъ авторъ эту первую встрѣчу. „Блестящіе, казавшіеся темными отъ густыхъ рѣсницъ, сѣрые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лицѣ, какъ будто она признавала его, и тотчасъ же перенеслись на проходящую толпу, какъ бы ища кого-то. Въ этомъ короткомъ взглядѣ Вронскій успѣлъ з[illegible]мѣтить сдержанную оживленность, которая играла въ ея лицѣ и порхала между блестящими глазами и чуть замѣтной улыбкою, изгибавшею ея румяныя губы. Какъ будто избытокъ чего-то такъ переполнялъ ея существо, что мимо ея воли выражался то въ блескѣ взгляда, то въ улыбкѣ“. Электрическая искра страсти уже передалась этимъ взглядомъ изъ души Карениной въ душу Вронскаго, и несознанныя еще узы взаимнаго чувства уже связали ихъ. Они ищутъ другъ друга, уже необходимы одинъ для другого. Еще двѣ-три встрѣчи — и господство страсти уже надъ ними обезпечено. Пріѣхавъ въ Петербургъ къ мужу, Анна чувствуетъ, что прежняя жизнь не можетъ ее удовлетворить, чувствуетъ пустоту и скуку. Свѣтская жизнь позволяетъ ей продолжать начавшіяся отношенія съ Вронскимъ, и страсть ихъ гигантскими шагами идетъ къ развязкѣ. Но не радость принесло это чувство Аннѣ. Оно сталкивалось со всѣмъ строемъ ея прежней

жизни, и коллизія эта была непримирима: что-нибудь должно было погибнуть. Положеніе между мужемъ и любовникомъ, съ необходимымъ обманомъ, съ презрѣніемъ къ себѣ, глубоко возмущало искреннюю и чистую натуру Анны. Случай ускорилъ объясненіе. На скачкахъ въ Царскомъ Селѣ Вронскій упалъ съ лошади. Анна съ мужемъ сидѣла въ бесѣдкѣ. Страхъ за любимаго человѣка выдалъ ее, и, возвращаясь домой въ каретѣ, она во всемъ призналась мужу. Со стороны его не послѣдовало ни сцены ревности ни вспышки оскорбленнаго чувства; онъ позаботился только о приличіяхъ, о мнѣніи свѣта, и желалъ, чтобы все оставалось попрежнему. Мучительное состояніе продолжалось. Мучились всѣ трое, и каждый по-своему надѣялся, что скоро все измѣнится. Но любовь къ сыну и какой-то неопредѣленный страхъ стать открыто въ положеніе любовницы мѣшали Аннѣ согласиться на окончательный разрывъ съ мужемъ, чего такъ сильно хотѣлъ Вронскій. Побуждаемый желаніемъ возстановить во мнѣніи общества честь своего имени и вмѣстѣ съ тѣмъ отмстить своей женѣ за весь позоръ и за причиненныя ему страданія Алексѣй Александровичъ также искалъ исхода изъ своего положенія и нашелъ его въ разводѣ, рѣшивъ отнять сына у матери. Но тутъ произошло событіе, перемѣнившее на время всѣ отношенія. Анна родила и послѣ родовъ сильно заболѣла. Вронскій (отецъ новорожденнаго) сидѣлъ у ея постели. Пріѣхалъ Алексѣй Александровичъ. И вотъ между этими тремя людьми, связанными сложными отношеніями любви, ненависти и презрѣнія, произошла поразительная сцена взаимнаго прощенія и примиренія. Алексѣй Александровичъ простилъ искренно. Этотъ сухой, жесткій человѣкъ простилъ жену и жалѣлъ ее за ея страданія и раскаяніе, простилъ Вронскому; чувствовалъ себя совершенно спокойнымъ „и не видѣлъ въ своемъ положеніи ничего необыкновеннаго, ничего такого, чтобы нужно было измѣнять“. Онъ рѣшилъ не разлучаться съ женою. Но прошло два мѣсяца, и вмѣстѣ съ возвращеніемъ силъ вернулась къ Аннѣ и прежняя страсть къ Вронскому, и прежнее отвращеніе къ мужу. Что-то роковое вошло въ эту жизнь и, противъ воли участвующихъ въ ней лицъ, влекло къ неизбѣжной, фатальной развязкѣ. Развязка должна была наступить, но развязать положеніе такъ, чтобы всѣ были

спокойны и счастливы, чтобы не было страдающихъ, не было жертвы, сдѣлалось невозможнымъ. Нравственный законъ жизни уже былъ нарушенъ, и наступали трагическія послѣдствія этого нарушенія. Алексѣй Александровичъ соглашался, правда, на разводъ, соглашался даже отдать сына и принять на себя вину въ бракоразводномъ процессѣ, но воспользоваться этимъ великодушіемъ мужа, обратить всю тяжесть и весь позоръ положенія на голову ни въ чемъ невиновнаго человѣка — это было невозможно для той гордости и деликатности, которыми надѣлена была Анна. Разводъ безъ сына также не могъ удовлетворить ее. Жить въ разлукѣ было невыносимо для Вронскаго и для Анны. Выбрали компромиссъ: „Алексѣй Александровичъ остался одинъ съ сыномъ на своей квартирѣ, а Анна съ Вронскимъ уѣхала за границу, не получивъ развода и рѣшительно отказавшись отъ него". Пріѣхавъ въ Италію, Анна чувствовала себя первое время „непростительно счастливою и полною радости жизни". Она упивалась своею свободою и своею страстью. Но долго жить одною страстью человѣкъ не можетъ. Анна же съ Вронскимъ со всѣмъ порвали и цѣликомъ ушли въ свое чувство. Скоро имъ показалось скучно и пусто въ итальянскомъ городѣ, и они рѣшили ѣхать въ Россію. Въ Петербургѣ имъ открылась новая сторона ихъ положенія: свѣтъ былъ закрытъ для нихъ. Свѣтъ готовъ былъ принять Вронскаго, но не допускалъ возможности впустить въ свой кругъ Анну. Для Вронскаго это было и оскорбленіемъ и серіознымъ лишеніемъ. Что-то уже поднималось между нимъ и Анной. Отвергнутая обществомъ, разлученная съ любимымъ сыномъ, Анна чувствовала, что единственная опора ея, единственная возможность для нея жизни — въ любви Вронскаго, и въ то же время ужасная мысль о возможности потери этой любви уже проносилась передъ нею...

Наконецъ, они уѣхали въ деревню. Въ деревнѣ они забыли обиду, нанесенную имъ свѣтомъ, и Вронскій нашелъ даже нѣкоторое удовлетвореніе своему честолюбію въ той роли крупнаго землевладѣльца и земскаго дѣятеля, которая открылась ему въ уѣздѣ. Въ домѣ же у себя имъ все какъ-то не удавалось установить вполнѣ семейный тонъ жизни. Что-то холодное и безличное чувствовалось въ окружающей ихъ роскоши, что-то невозможное въ семейномъ быту проскаль-

зывало въ отношеніяхъ къ Аннѣ ихъ исключительно мужского общества. Анна не входила сама въ хозяйство, немного времени отдавала дочери и систематически занималась собой, хватаясь за свою красоту, какъ за единственное средство сохранить для себя необходимую ей любовь Вронскаго. Кромѣ того, у Анны было еще одно мученіе — невозможность имѣть при себѣ сына, невозможность соединить въ своей жизни тѣ два существа, безъ которыхъ она не могла быть счастлива. Вронскій, столь многимъ уже пожертвовавшій со своей точки зрѣнія для Анны, хотѣлъ вознаградить себя новыми отношеніями съ людьми, новыми удовольствіями; обладая Анной, онъ стремился расширить сферу своей жизни. Анна же, дышавшая только его любовью, во всѣхъ новыхъ знакомствахъ, планахъ и предпріятіяхъ своего Алексѣя видѣла только личныхъ враговъ, отнимающихъ его у нея. Она томилась и страдала самыми мрачными подозрѣніями во время его отсутствія, выдумывала способы, какъ бы поскорѣй вернуть его, осыпала его упреками при возвращеніи, устраивала сцены ревности. Отказавшись прежде отъ развода, теперь она уступила убѣжденіямъ Вронскаго и послала мужу письмо съ просьбой о разводѣ. Въ ожиданіи отвѣта, они пріѣхали въ Москву. Но перемѣна мѣста не исправила дѣла. Анна хотѣла невозможнаго. Она желала безконечнаго продолженія того блаженства, того упоенія, которое страсть давала ей прежде. Весь смыслъ, все счастье жизни сосредоточились для нея въ этой страсти. Но страсть, та чувственная, самолюбивая страсть, которую Анна питала къ Вронскому, неспособна выдержать тяжести жизни, въ особенности той жизни, какой требовала гордая и богато одаренная натура Анны. Это зданіе, построенное вопреки всѣмъ законамъ природы, этотъ роскошный дворецъ, возведенный на песчаномъ фундаментѣ, неизбѣжно долженъ былъ развалиться, — и жизнь Анны развалилась дѣйствительно.

Съ изумительнымъ мастерствомъ и глубокимъ пониманіемъ человѣческаго сердца изображаетъ авторъ ту душевную драму, тотъ процессъ все возрастающаго отчаянія, которымъ подтачивалась жизнь Анны. Жизнь эта уже вполнѣ опредѣлилась. Наступило время неотвратимыхъ, роковыхъ послѣдствій давно пережитого прошлаго. Ничего не совершилось новаго, не произошло никакихъ внѣшнихъ перемѣнъ, но ревнивая

любовь Анны всюду создавала фантомы опасностей, во всемъ видѣла страшные признаки охлажденія къ ней Вронскаго. Съ свойственною отчаявшейся любви жестокостью, она старалась мучительными сценами дотронуться до чувствительнаго мѣста въ его душѣ, прозондировать эту душу, и изъ вспышекъ того раздраженія и пробивающагося озлобленія противъ нея, которыми онъ, случалось, отвѣчалъ на ея сцены, она все болѣе и болѣе убѣждалась, что любовь его къ ней исчезаетъ. Обыкновенно каждая размолвка ихъ кончалась примиреніемъ. Но однажды, выведенный изъ терпѣнія безпричинною и рѣзко-враждебною выходкой Анны, Вронскій уѣхалъ, не сказавъ того слова любви, котораго она отъ него хотѣла. Отчаяніе и какой-то непонятный страхъ охватили Анну. Она заметалась, чтобы вернуть его. Но записка ея не застала Вронскаго, на телеграмму же получился короткій отвѣтъ, что раньше десяти часовъ онъ вернуться не можетъ. Все показалось погибшимъ для Анны въ этомъ равнодушномъ отвѣтѣ телеграммы, и смерть представилась ей единственнымъ исходомъ и подходящимъ средствомъ отмстить Вронскому... На нее нашло какое-то холодное ясновидѣніе, когда она ѣхала на вокзалъ, чтобы еще разъ повидáть его. „Моя любовь все дѣлается страстнѣе и себялюбивѣе, а его гаснетъ и гаснетъ, и вотъ отчего мы расходимся“, продолжала думать она. „И помочь этому нельзя. У меня все въ немъ одномъ, и я требую, чтобъ онъ весь больше и больше отдавался мнѣ. А онъ все больше и больше хочетъ уйти отъ меня. Мы именно шли навстрѣчу до связи, а потомъ неудержимо расходимся въ разныя стороны. И измѣнить этого нельзя“. Получивъ на станціи записку Вронскаго, показавшуюся ей небрежною и холодною, Анна почувствовала, что все для нея кончено. Какая-то непреодолимая, слѣпая сила овладѣла ею и повела ее на смерть. „Туда! — говорила она себѣ, глядя на тѣнь вагона, на смѣшанный съ углемъ песокъ, которымъ были засыпаны шпалы, — туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь отъ всѣхъ и отъ себя“. И она умерла ужасною смертью самоубійцы.

Въ трагической кончинѣ Анны многіе у насъ увидѣли кару, который авторъ подвергъ свою героиню за измѣну супружескому долгу, и согласно такому взгляду весь романъ объявили проповѣдью узкой моралистической идеи. Близо-

рукій взглядъ. Это значитъ — не видѣть ничего дальше поверхности, дальше внѣшняго дѣйствія, дальше тѣхъ квалификацій, которыя авторъ даетъ своимъ персонажамъ, говоря: это — мужъ, это — жена, это — любовникъ и т. д. Концепція романа несравненно глубже. Творчество графа Толстого чуждо какого бы то ни было условнаго кодекса: оно опирается не на доктрины и системы, но на самую природу вещей. Всматриваясь въ духовный міръ человѣка, слѣдя за нимъ на путяхъ открытаго ему счастья, авторъ „Анны Карениной“ понялъ, что этотъ міръ — не міръ произвола, что счастье человѣка — сложнѣйшій и хрупкій продуктъ многихъ необходимыхъ условій. Онъ понялъ существованіе вѣчныхъ, неотмѣнимыхъ волею человѣка, законовъ нравственнаго міра; понялъ, какая трудная задача дана каждому — пронести, подъ дѣйствіемъ законовъ жизни, чашу своего счастья. Онъ видѣлъ, какъ часто человѣкъ расплескиваетъ и разбиваетъ эту драгоцѣнную чашу, какъ легкомысленно пренебрегаетъ указаніями совѣсти, этого непогрѣшимаго компаса, вложеннаго природою въ его душу, съ какою слѣпотой гонится за призраками счастья, съ какимъ озлобленіемъ и гордостью сознательно отказывается отъ правъ своего человѣческаго „первородства“ изъ-за „чечевичной похлебки“ минутныхъ наслажденій. Онъ видѣлъ много блуждающихъ, безсильно борющихся и падающихъ — и онъ показалъ намъ гибель молодой и прекрасной жизни, вызванную нарушеніемъ законовъ объемлющей насъ природы, той природы, которая ничего не прощаетъ, ничего не забываетъ, а спокойно и безстрастно совершаетъ расправу возмездія.

Произвольно и комично былъ бы навязывать природѣ законъ, воспрещающій женѣ бросать своего мужа, но мы чувствуемъ глубокую правду словъ автора, когда онъ говоритъ намъ, что человѣкъ, опустошившій свою душу и опершійся въ своей жизни единственно на себялюбивое наслажденіе, губитъ свое счастье. Анна погибла не потому, что оставила мужа, но потому, что въ предстоявшемъ ей выборѣ она взяла страсть, исключавшую для нея возможность удовлетворенія болѣе спокойныхъ и прочныхъ привязанностей. Отдавшись страсти, она должна была отказаться отъ всѣхъ прочихъ источниковъ счастья. А жить одною чувственною страстью невозможно уже потому, что такая страсть долгодлиться не можетъ.

Не все, однако, на землѣ слезы и страданія, не все трагедія. Встрѣчается и тихая улыбка счастья и радость, возможна на землѣ и идиллія. Загляните въ Покровское, деревню Левина, и вы увидите несомнѣнную идиллію. Увидите тихую и скромную семейную жизнь, почувствуете атмосферу любви, окружающую обитателей этого мирнаго уголка. Но и эта жизнь сложилась не сразу, не безъ борьбы и не безъ страданій. Съ перваго появленія Левина въ романѣ, мы уже знаемъ, что онъ любитъ хорошенькую и граціозную Кити Щербацкую и съ первыхъ же почти словъ его съ нею мы уже предчувствуемъ готовую обрушиться на него неудачу. Какъ ни симпатично относилась молодая дѣвушка къ простому, искреннему и умному Левину, но воображеніе ея уже успѣло плѣниться блестящимъ Вронскимъ, и она отказала сдѣлавшему ей предложеніе Левину. Печально вернулся онъ въ свою деревню и вошелъ въ свою одинокую и показавшуюся ему ненужную жизнь. Между тѣмъ страсть Вронскаго къ Карениной круто повернувшая его жизнь, задѣла также и Кити. Обманутая въ своихъ надеждахъ, оскорбленная въ своемъ чувствѣ, Кити серіозно заболѣла. Только переживъ первое свое горе и выросши въ немъ думою, Кити поняла Левина и съ грустью думала о томъ горѣ, которое она причинила ему. Вскорѣ послѣ своего выздоровленія, она встрѣтилась съ Левинымъ у Степана Аркадьевича Облонскаго. Встрѣча эта рѣшила ихъ судьбу. Левинъ понялъ, что попрежнему любитъ ее, она почувствовала, что онъ имѣетъ для нея исключительное значеніе любимаго человѣка... Они сдѣлались мужемъ и женой. Послѣ свадьбы молодые супруги уѣхали въ деревню, и тутъ-то началась для нихъ счастливая идиллія. Въ изображеніи ихъ семейнаго счастья графъ Толстой остается, какъ и всегда, художникомъ-реалистомъ. Онъ ни на минуту не покидаетъ земли, никогда не переходитъ за черту возможности, никогда не забываетъ особенностей русскаго быта. Не сказачное счастье показываетъ онъ намъ, но тйхую и простую жизнь со всею правдою здоровой, чистой любви, мелкихъ радостей и тревогъ, со всѣмъ ея колоритомъ обыденности, со всѣми естественными послѣдствіями брака, каковы—рожденіе дѣтей, новыя заботы о нихъ, новыя чувства и привязанности. Но въ этомъ мелкомъ обыденномъ графъ Толстой умѣетъ показать великое и важное для че-

ловѣка. Въ его изображеніи семья представляется тѣмъ положеніемъ въ жизни, которое дѣйствительно отвѣчаетъ природѣ человѣка и въ которомъ онъ можетъ быть спокоенъ и счастливъ. Такова семья Николая Ростова, Пьера Безухова, такова семья и Левина.

Но исторія Левина этимъ не кончается. Ищущій отвѣта на вопросъ жизни Пьеръ Безуховъ останавливается на семьѣ, удовлетворяется ею и въ ней исчезаетъ. Левинъ именно изъ семьи возникаетъ передъ нами во всемъ своемъ значеніи и поднимаетъ свой вопросъ именно съ того мѣста, гдѣ кончился онъ для Пьера.

Счастье Левина не безоблачно. У него своя драма, своя Немезида. Драма эта связываетъ личность Левина съ процессомъ умственнаго развитія человѣчества и потому представляетъ глубокій общественный интересъ. Левинъ принесъ въ своей личности живую человѣческую душу, ищущую отвѣта на вопросъ жизни; господствующее же воззрѣніе вѣка, которому подчинился и онъ, разрушило его дѣтскія и юношескія вѣрованія и ничего не дало ему, чѣмъ бы онъ могъ ихъ замѣнить, въ чемъ бы онъ могъ найти отвѣтъ на неотступные вопросы сознанія. Вотъ изъ какой коллизіи выросла та внутренняя драма, которую переживалъ Левинъ.

„Безъ знанія того, что я такое и зачѣмъ я здѣсь — нельзя жить“, говорилъ онъ себѣ. „Въ безконечномъ времени, въ безконечности матеріи, въ безконечномъ пространствѣ выдѣляется пузырекъ — организмъ, и пузырекъ этотъ подержится и лопнетъ, и пузырекъ этотъ — я“.

„Эта была мучительная неправда, но это былъ единственный, послѣдній результатъ вѣковыхъ трудовъ мысли человѣческой въ этомъ направленіи. Это было то послѣднее вѣрованіе, на которомъ строились всѣ, почти во всѣхъ отрасляхъ, изысканія человѣческой мысли. Это было царствующее убѣжденіе, и Левинъ изъ всѣхъ другихъ объясненій, какъ все-таки болѣе ясное, невольно, самъ не зная когда и какъ, усвоилъ именно это.

„Но это не только была неправда, — это была жестокая насмѣшка какой-то злой силы, злой, противной, и такой, которой нельзя было подчиняться. Надо было избавиться отъ этой силы. И избавленіе было въ рукахъ каждаго. Надо было прекратить эту зависимость отъ зла. И было одно средство — смерть.

„И счастливый семьянинъ, здоровый человѣкъ, Левинъ былъ нѣсколько разъ такъ близокъ къ самоубійству, что пряталъ шнурокъ, чтобы не повѣситься на немъ, и боялся ходить съ ружьемъ, чтобы не застрѣлиться“.

Но Левинъ жилъ, и жизнь его, покорная какимъ-то непонятнымъ ему законамъ, текла не безразлично, но проходила въ разнообразной дѣятельности и въ строгомъ соблюденіи установившихся правилъ. Продолжая мучиться занимавшими его вопросами, онъ въ то же время старательно исполнялъ всѣ лежащія на немъ, какъ на мужѣ и на хозяинѣ, обязанности. Противорѣчіе вызывало въ немъ новые вопросы и новыя мысли о томъ, что онъ живетъ хорошо, но думаетъ плохо. Разговаривая однажды съ мужикомъ Ѳедоромъ, Левинъ услышалъ отъ него простыя слова, что Ѳоканычъ для души живетъ, Бога помнитъ. Слова эти поразили Левина, являясь для него точно какимъ-то откровеніемъ. Какой-то свѣтъ пролился изъ нихъ во мракъ терзающихъ его вопросовъ.

„А я искалъ чудесъ, жалѣлъ, что не видѣлъ чуда, которое бы убѣдило меня. Чудо матеріальное соблазнило бы меня. А вотъ чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всѣхъ сторонъ окружающее меня, — и я не замѣчалъ его...

„Ѳедоръ говоритъ, что Кириллъ дворникъ живетъ для брюха. Это понятно и разумно. Мы всѣ, какъ разумныя существа, не можемъ иначе жить, какъ для брюха. И вдругъ тотъ же Ѳедоръ говоритъ, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога, и я съ намека понимаю его! И я и милліоны людей, жившихъ вѣка тому назадъ и живущихъ теперь, мужики, нищіе духомъ и мудрецы, думавшіе и писавшіе объ этомъ, своимъ неяснымъ языкомъ говорящіе то же, — мы всѣ согласны въ этомъ одномъ: для чего надо жить и что хорошо. Я со всѣми людьми имѣю только одно твердое, несомнѣнное и ясное знаніе; и знаніе это не можетъ быть объяснено разумомъ — оно внѣ его, и не имѣетъ никакихъ причинъ и не можетъ имѣть никакихъ послѣдствій“.

Ему стало ясно, что, несмотря на всѣ его сомнѣнія, жизнь его держалась тѣми вѣрованіями, въ которыхъ онъ съ дѣтства былъ воспитанъ.

„Что бы я былъ такое“, продолжалъ онъ думать, и какъ бы прожилъ свою жизнь, если бы не имѣлъ этихъ вѣрованій, не зналъ, что надо жить для Бога, а не для своихъ нуждъ? Я бы грабилъ, лгалъ, убивалъ. Ничего изъ того, что составляетъ главныя радости моей жизни, не существовало бы для меня“...

„Я искалъ отвѣта на мой вопросъ. А отвѣта на мой вопросъ не могла дать мысль, — она не соизмѣрима съ вопросомъ. Отвѣтъ мнѣ дала сама жизнь, въ моемъ знаніи того, что хорошо и что дурно. А знаніе это я не пріобрѣлъ ничѣмъ, но оно дано мнѣ вмѣстѣ со всѣми, *дано* потому, что я ниоткуда не могъ взять его“.

Вдумавшись въ значеніе пережитого Левинымъ душевнаго кризиса, нельзя не сознаться, что эта скромная, простая личность является выразителемъ крупнѣйшаго вопроса нашего времени. Вѣчная природа человѣческаго духа, съ его неистребимыми потребностями, возстала въ Левинѣ противъ господства отрицанія, противъ безнадежнаго и неудовлетворяющаго міропониманія, овладѣвшаго умами нашего вѣка; страданіями своими онъ какъ бы заплатилъ за историческія ошибки человѣческой мысли, потому что и здѣсь нѣтъ свободы, нѣтъ независимаго развитія личности, потому что жизнь поколѣній тѣсно связана, потому что и здѣсь ничто не прощается, и здѣсь царитъ тотъ же законъ: „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ“.

При иной, болѣе абстрактной и сконцентрированной монетѣ творчества, графъ Толстой могъ бы создать изъ Левина образъ, подобный Фаусту. Внутреннее содержаніе Левина, значеніе принесенной имъ идеи давали полную возможность для этого. Но этого не позволилъ реализмъ графа Толстого. Онъ не отступилъ отъ простоты изображаемаго имъ быта, и воплощая огромную идею, далъ ей конкретно-случайныя, скромныя формы обыденной дѣйствительности. „Если тутъ есть истина, она должна быть понята и безъ чистаго образа, въ ея естественномъ жизненномъ проявленіи“, какъ бы говоритъ намъ авторъ своею манерой. Но если отъ такихъ пріемовъ творчества выигрываетъ правда дѣйствительной жизни, то нельзя не замѣтить, что, подчиняясь неизбѣжнымъ законамъ перспективы, въ этой правдѣ тонетъ и умаляется высказанная авторомъ идея, и чтобы придать ей надлежащіе

размѣры, читатель долженъ отвлечь ее отъ лицъ и приподнять надъ дѣйствіемъ романа.

Но что же это за идея? Въ чемъ ея сущность? Левинъ, говоритъ намъ авторъ, только тогда нашелъ выходъ изъ заколдованнаго круга своихъ симпатій, когда понялъ, что мысль несоизмѣрима съ этими вопросами, что разумъ безсиленъ дать отвѣтъ на нихъ. Только тогда онъ успокоился, когда фактъ, природу, свою живую душу поставилъ выше разума, когда пересталъ искать его санкцій и подчинился тому, что непосредственно жило въ немъ. Вотъ эту-то идею незаконной власти разума надъ жизнью и выражаетъ душевная драма Левина. Увлекшись успѣхами разума, человѣчество увѣровало въ него, какъ въ универсальную силу, все обнимающую и способную раскрыть основанія всего существующаго. Но вѣковая работа мысли въ этомъ направленіи только разрушила прежнія вѣрованія человѣка, которыя были дѣйствительно неразумны, и ничего не дала ему для жизни. И пора уже признать человѣчеству, говоритъ авторъ, что разумъ и не можетъ ничего дать ему въ отвѣтъ на его неутоленную духовную жажду. Разумъ заключаетъ въ себѣ только отраженіе жизни и самъ есть такой же частичный фактъ природы, какъ и живущее въ душѣ человѣка непосредственное сознаніе долга. За что же онъ поставленъ выше этого непосредственнаго чувства, зачѣмъ искать невозможныхъ раціоналистическихъ обоснованій для ясныхъ и всѣмъ понятныхъ требованій совѣсти? Изумительное порабощеніе души разумомъ! Вѣчное идолопоклонство человѣка!...

Вопросъ современнаго человѣческаго счастья сводится, такимъ образомъ, къ сверженію такъ долго тяготѣвшаго надъ душой ига разума и возстановленію того гармоническаго состоянія, когда человѣкъ жилъ всею полнотою своихъ духовныхъ силъ и вполнѣ удовлетворялся присущимъ ему непосредственнымъ сознаніемъ добра и зла.

Бар. Дистерло.

Картины русской жизни, нарисованныя въ „Аннѣ Карениной“ и художественные пріемы автора въ ихъ воплощеніи.

„Анна Каренина“ — литературное завѣщаніе графа Толстого. Въ продолженіе многихъ лѣтъ онъ писалъ этотъ романъ, который печатался отрывками въ одномъ московскомъ журналѣ. Не далѣе, какъ въ 1877 году относится появленіе этого произведенія въ вполнѣ законченномъ видѣ; я самъ былъ свидѣтелемъ живого интереса, возбужденнаго въ Россіи этимъ событіемъ умственной жизни.

Авторъ попытался дать въ этой книгѣ картину современнаго ему общества точно такъ же, какъ это было сдѣлано имъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ относительно прошедшаго времени. Эта задача была труднѣе, по крайней мѣрѣ, въ слѣдующихъ двухъ отношеніяхъ: съ одной стороны, настоящее не принадлежитъ намъ въ такой степени, какъ прошедшее. Современная жизнь расплывается передъ нами, очаровываетъ насъ, въ ней не законченъ еще процессъ кристализаціи, который позволяетъ на разстояніи полувѣка обнять всѣ выдающіяся черты и всѣ крупныя личности эпохи. Въ аллеяхъ кладбища съ перваго взгляда можно различить высокія гробницы, а на улицѣ, — на современной улицѣ, по крайней мѣрѣ, всѣ люди похожи одинъ на другого, они еще не подраздѣлены. Съ другой стороны, свобода, съ которою Толстой относился къ государямъ и государственнымъ людямъ, уже умершимъ, къ идеямъ, уже отжившимъ, не можетъ быть имъ допущена въ отношеніи къ идеямъ и людямъ еще живымъ.

Въ этой второй книгѣ о русской жизни нѣтъ эпической плавности повѣствованія, нѣтъ той всеохватывающей силы и сложности ея предшественницы; но взамѣнъ этого, она больше удовлетворяетъ нашимъ литературнымъ требованіямъ единствомъ замысла, продолжительностью дѣйствія и развитіемъ главнаго характера. Нашему (французскому) обществу эта книга будетъ ближе: оно найдетъ въ ней даже два самоубійства и одну любовную интригу; но пусть лукавый не радуется! Толстой рѣшилъ написать самую нравственную книгу, которая когда либо была написана, и достигъ своей цѣли. Отвлеченный герой этого романа — долгъ — противо-

поставленъ влеченію страсти. Авторъ параллельно развиваетъ разсказъ о жизни, выбитой изъ обычной колеи и — какъ противоположность ему — исторію законной любви, семейнаго очага и труда. Никогда ни одинъ проповѣдникъ не противополагалъ съ большей силой картину ада картинѣ... чистилища; писатель реалистъ — не изъ тѣхъ, которые желаютъ или умѣютъ видѣть рай въ какомъ-либо изъ человѣческихъ положеній. Невозможно создать лучшую обстановку для страсти: Каренинъ, государственный человѣкъ, взятый изъ самыхъ нѣдръ высшаго петербургскаго общества, лицо рельефное и живое, какъ и всѣ лица въ романѣ, Каренинъ— этотъ мужъ, весь ушедшій въ политическую экономію, — несомнѣнный кандидатъ на печальную участь Сганареля. Вронскій, обольститель, кажется намъ до конца человѣкомъ честнымъ, преданнымъ, готовымъ на всякія жертвы, даже когда случайная связь начинаетъ тяготить его.

Анна — прелестная женщина, нѣжная и вѣрная даже въ своемъ заблужденіи. Чтобы объяснить ея паденіе, Толстой не прибѣгаетъ ни къ истеріи ни къ нервозу. Онъ презираетъ эту выставку полузнанія. Онъ, проницательный наблюдатель, хорошо знаетъ, что наши чувства, насколько мы можемъ изслѣдовать ихъ корни, подчинены внутреннему состоянію нашего организма; но онъ также знаетъ то, что совѣсть подчиняется совсѣмъ инымъ повелѣніямъ, и то, что она существуетъ, потому что она говоритъ. Его не тѣшитъ ребяческая забава: объяснять непроницаемое и раздѣлять нерасторжимое. Онъ избѣгаетъ по мѣрѣ силъ того, что мы называемъ спиритуализмомъ и матеріализмомъ и избѣгаетъ говорить ихъ незаконнорожденными языками, изобрѣтенными для того, чтобы скрыть незнаніе языка истиннаго; напрасная игра словъ, предположительно объясняющая ихъ навсегда сокровенную связь!

Только съ проявленіями любви высказывается въ романѣ вся мощь романиста; я сомнѣваюсь, простиралась-ли она у кого нибудь такъ далеко, какъ у Толстого.

Взгляните на картину первыхъ волненій Анны, ночью, на пути изъ Москвы въ Петербургъ, когда она начинаетъ понимать состояніе своего сердца. Вамъ трудно будетъ забыть эти страницы! Она видитъ Вронскаго у двери вагона, отгадываетъ, что онъ слѣдуетъ за ней, слышитъ брошенное

всколь̀зь признаніе. Чарующій холодъ яда, лаская, проникаетъ въ каждый ея нервъ; воля ослабѣваетъ; начинаются грезы. И писатель очерчиваетъ съ своими неизмѣнными пріемами всю дѣйствительность, окружающую эти грезы, очерчиваетъ красками, которыя, проникая эти грезы, отсвѣчиваютъ на ней.

Англійскій романъ, который старается читать бѣдная женщина; снѣжная вьюга, бьющая въ стекла оконъ; силуэты пассажировъ, грохотъ и стукъ летящаго поѣзда, — все принимаетъ новое и фантастическое значеніе, все вплетается въ борьбу счастья и страха, охватившую душу Анны. Глазами героини видимъ мы этотъ непрерывный рядъ образовъ, и мы не можемъ видѣть ихъ иначе. Когда на слѣдующее утро Анна выходитъ на платформу вокзала, гдѣ ожидаетъ ее мужъ,— наивное восклицаніе открываетъ намъ переворотъ, который совершился въ ней: „Боже мой, зачѣмъ у него такія длинныя уши!“ Тотъ, кто подмѣтилъ эту черту, знаетъ, какъ одно слово освѣщаетъ все положеніе вещей.

Отъ этого перваго содроганія до послѣдней судороги полнаго отчаянія, приведшаго несчастную къ самоубійству,— авторъ не покидаетъ внутренняго міра ея сердца и отмѣчаетъ каждое его біеніе. Ему не нужно никакихъ трагическихъ усложненій, чтобы довести дѣло до катастрофы. Анна бросила все, чтобы итти за своимъ возлюбленнымъ, она вступаетъ въ такія пагубныя условія, что невозможность жить, растущая вокругъ нея, вполнѣ объясняетъ ея рѣшеніе. Рядомъ съ этой разбиваемой жизнью проходитъ правильныя обычныя стадіи любовь Китти и Левина: сначала прелестная, изящная идиллія, потомъ семья, дѣти и радости и заботы.

Но скажутъ, вѣдь это скучный, нравоучительный сюжетъ въ духѣ british authors. И да и нѣтъ.

Въ британскихъ романистахъ почти всегда таится проповѣдникъ; чувствуется, какъ онъ судитъ человѣческіе поступки по опредѣленнымъ, напередъ установленнымъ правиламъ, съ точки зрѣнія господствующей церкви и пуританскихъ нравовъ. У Толстого же является полная независимость воззрѣній, я даже скажу, что онъ даже слишкомъ мало обращаетъ вниманія на нравственность. Онъ, какъ

архитекторъ, доискивается, какимъ образомъ лучше и удобнѣе, въ смыслѣ комфорта, построить зданіе. Поученіе вытекаетъ единственно изъ фактовъ; урокъ горькій, но укрѣпляющій. Это не книга для 20-ти лѣтней юности, не книга для будуара, снисходительная къ хорошенькимъ заблужденіямъ; это человѣкъ разсказываетъ людямъ то, что показалъ ему опытъ. Эти томы могутъ смѣло выдержать испытаніе, единственно которымъ только можетъ быть обезпечена долговѣчность литературныхъ произведеній. Прочтешь ихъ и переживешь ихъ, повторяя наблюденія писателя надъ душой человѣка и надъ міромъ, — отъ самыхъ бѣглыхъ до главнѣйшихъ, сравнивая результаты наблюденій съ выводами Толстого — получаешь полное совпаденіе. Послѣ перваго прочтенія книги проходятъ годы, которые накопляютъ все больше связывающаго и дополняющаго матеріала на ея поляхъ подобно тому, какъ къ классическому творенію они прибавляютъ внизу страницъ замѣтки нѣсколькихъ поколѣній комментаторовъ; только здѣсь истолкователь могъ бы сказать: „Confer vitam!“. Пріемы Толстого ни въ чемъ не измѣнились со времени „Войны и Мира“. Это все тотъ же мудрый инженеръ, который вошелъ внутрь громадной фабрики, и медленно осматриваетъ ее съ жаждой узнать конструкцію каждаго винта; онъ разбираетъ по частямъ каждую мельчайшую вещицу, измѣряетъ упругость, пробуетъ вѣрность регуляторовъ, изслѣдуетъ передачу силы поршнями и шестернями; съ отчаяніемъ ищетъ главнаго двигателя, ускользающаго отъ него невидимаго источника силы. Пока онъ испытываетъ дѣйствіе машинъ, мы, зрители, видимъ, какъ выходитъ изъ станковъ результатъ всей этой работы — изящное съ безконечнымъ узоромъ кружево — жизнь. — Толстой не измѣняетъ ни ея качествъ ни ея недостатковъ; онъ злоупотребляетъ тѣми же ей же свойственными длиннотами: въ „Войнѣ и Мирѣ“ — охота съ борзыми занимаетъ 30 страницъ. Въ Аннѣ Карениной мы опять находимъ охоту — на болотѣ, и на какомъ болотѣ! Мы положительно сами вязнемъ въ немъ, и это на протяженіи 33 страницъ.

Мѣста романа, посвященныя картинамъ семейной жизни и деревенскимъ занятіямъ, покажутся во Франціи немного тусклыми и блѣдными. Реализму извѣстнаго рода присуще неудобное свойство: нужно быть знакомымъ съ дѣйствитель-

ностью, воспроизведенной фотографомъ, чтобы оцѣнить достоинство произведенія искусства, — достоинство точнаго сходства.— Описаніе царскосельскихъ скачекъ, восхитившее всѣхъ русскихъ читателей, рискуетъ вызвать у французовъ такое же равнодушіе, какое вызвало бы у москвичей блестящее описаніе парижскаго Grand Prix въ романѣ „Nana“. Напротивъ, портреты Облонскаго и министра Каренина сохраняютъ свой интересъ даже для васъ, хотя бы вы и не видали ихъ оригиналовъ, не слыхали ихъ именъ, потому что человѣческія чувства присущи всѣмъ странамъ и всѣмъ временамъ.

Я прекращаю анализъ этихъ романовъ: они ему не поддаются; нѣтъ возможности ни остановить читателя ни выбрать для него путь въ этомъ лабиринтѣ; приходится предоставить ему наслажденіе затеряться въ немъ. Для насъ будетъ болѣе интересно выдѣлить ту общность, указать которую есть дѣло критики. Въ чемъ заключается дѣйствительное сходство между искусствомъ Толстого и современнымъ французскимъ искусствомъ? При близкомъ сходствѣ ихъ внѣшности, какое коренное различіе раздѣляетъ эти два искусства?

Если коснуться только внѣшней стороны, мы найдемъ у Толстого много общаго съ пріемами нашей новѣйшей литературной школы, хотя онъ предшествуетъ ей: нигилизмъ и пессимизмъ, какъ источникъ вдохновенія; натурализмъ, импрессіонизмъ и объективность, какъ способы изображенія.

Толстой — натуралистъ, — если только это слово умѣстно, — по своей чрезвычайной естественности и по строгости своихъ изслѣдованій; онъ даже доходитъ до крайности въ своемъ натурализмѣ: онъ не смущается подробностями грубыми и грязными. Посмотрите, напримѣръ, въ „Войнѣ и Мирѣ“ картину купанья солдатъ въ прудѣ: автору нравится этотъ видъ: „это голое, бѣлое, человѣческое мясо съ хохотомъ и гамомъ барахталось въ этой грязной лужѣ... этотъ черный, всегда лохматый унтеръ-офицеръ“... Знаменитый нищій Іонвилля ни въ чемъ не позавидуетъ Каратаеву: „главное были босыя, стертыя, заструпѣлыя ноги; холода большого не было; вши, ѣвшія его, согрѣвали его тѣло... Сѣрый былъ веселѣе и глаже, чѣмъ въ Москвѣ. Со всѣхъ сторонъ лежало мясо различныхъ животныхъ — отъ человѣческаго до лошадинаго, въ различныхъ степеняхъ разложенія, и волковъ не подпу-

скали шедшіе люди, такъ что Сѣрый могъ наѣдаться, сколько угодно"... Я могъ бы привести сотни примѣровъ въ томъ же родѣ; есть и такіе, которые я съ трудомъ могъ бы пересказать.

Толстой — импрессіонистъ; его рѣчь часто пытается дать намъ чувственное впечатлѣніе зрѣлища, предмета, звука. Напримѣръ, въ описаніи перехода арміи черезъ мостъ въ Браунау или Шенграбенскаго сраженія: „въ воздухѣ послышался свистъ; ближе, ближе, быстрѣе и слышнѣе, слышнѣе и быстрѣе, и ядро, какъ будто не договоривъ всего, что нужно было, съ нечеловѣческою силой взрывая брызги, шлепнулось въ землю. Земля какъ будто ахнула отъ страшнаго удара"...

А путешествіе въ „Аннѣ Карениной": локомотивъ, подходящій къ станціи, поѣздъ медленно катящійся, его остановка... Наконецъ, онъ въ точности соблюдаетъ главное правило французской школы: объективная безстрастность разсказа. Здѣсь нигилистическій пессимизмъ вполнѣ вѣренъ самому себѣ. Убѣжденный въ тщетности и ничтожествѣ всѣхъ человѣческихъ дѣлъ, художникъ, воспроизводя ихъ въ сложной картинѣ, не долженъ измѣнять своему хладнокровію; онъ въ томъ же положеніи, какъ человѣкъ серіозный, проснувшійся на зарѣ, въ разгарѣ бала; ему должны казаться сумасшедшими эти прыгающіе чудаки; или онъ подобенъ чужому человѣку, входящему, пообѣдавши, въ столовую, гдѣ еще ѣдятъ, который находитъ смѣшнымъ машинальное движеніе ртовъ и вилокъ. Короче, писатель-пессимистъ долженъ оставаться такимъ же невозмутимымъ, высшимъ судьей изображаемыхъ имъ лицъ, какъ невозмутимый предсѣдатель суда присяжныхъ передъ жалкими подсудимыми. Толстой примѣняетъ всѣ эти пріемы; онъ ихъ простираетъ даже дальше всѣхъ нашихъ романистовъ; но отчего же онъ производитъ на читателя совсѣмъ иное впечатлѣніе? Что касается натурализма и импрессіонизма, то вся тайна сводится къ чувству мѣры; его другіе ищутъ, но оно идетъ на встрѣчу, и онъ не избѣгаетъ его. Онъ оставляетъ мѣсто всему тривіальному, потому что тривіальное находитъ себѣ мѣсто въ жизни, а онъ хочетъ изображать жизнь, но такъ какъ онъ не беретъ съ предвзятымъ умысломъ только тѣ предметы, основа которыхъ заключается въ тривіальности, то онъ и

отводитъ въ концѣ-концовъ тривіальности мѣсто весьма второстепенное, которое сохраняется имъ во всѣхъ зрѣлищахъ, привлекающихъ наше вниманіе; переходя улицу, посѣщая домъ, наталкиваешься на отвратительные предметы; но подобное случается рѣдко, если не искать намѣренно этихъ вещей. Толстой справедливо показываетъ, что необходимо, чтобы его не заподозрили въ томъ, что онъ заранѣе вымелъ улицу и домъ. То же можно сказать объ импрессіонизмѣ. Толстой знаетъ, что писатель можетъ пытаться вызвать извѣстныя быстрыя и тонкія ощущенія; но онъ знаетъ также, что эти попытки не должны превращаться въ привычку болѣзненной нервной воспріимчивости. А особенно — и въ этомъ его великое достоинство — у Толстого нигдѣ нѣтъ ничего непристойнаго и нездороваго. „Война и Миръ“ проходитъ черезъ руки всѣхъ русскихъ молодыхъ дѣвушекъ; „Анна Каренина“ развертываетъ свой опасный замыселъ, какъ нравственное поученіе, безъ всякой вольности въ рисункѣ.

Вогюэ.

Общественное значеніе романа „Анна Каренина“.

Романъ, главное содержаніе котораго есть дилемма семейнаго счастія и исторія душевной эмансипаціи рефлектирующаго русскаго человѣка XIX столѣтія, есть романъ семейный и философскій прежде всего. Но онъ, въ то же время, и общественный, такъ какъ въ немъ рисуются отношенія общества къ браку и семьѣ, такъ какъ въ немъ выводится человѣкъ, воплощающій въ себѣ моментъ исторіи общественнаго духа. Глубокое проникновеніе въ сущность такихъ основныхъ въ общественной жизни вопросовъ, какъ бракъ и семья, рисуетъ таинственныя разсудку формы человѣческаго общежитія, не зависящія отъ мѣста и времени. Но романъ обнажаетъ не одни внѣшніе устои общественнаго зданія: онъ раскрываетъ таинственнѣйшіе вопросы самой души общества, его важнѣйшихъ духовныхъ потребностей, воплощая въ художественномъ образѣ поворотъ общественнаго духа отъ старинnаго раціонализма къ непосредственному общенію съ природой и Божествомъ.

Анна Каренина есть романъ общественный, въ наиболѣе глубокомъ значеніи этого слова. Но большинству публики

этого недостаточно. Оно требуетъ другого. Ему нужно, чтобы всѣ подлинныя событія современной общественной жизни были непремѣнно представлены, и притомъ съ такой точки зрѣнія, съ какой смотритъ на нихъ самый либеральный читатель. Вотъ тогда романъ называется общественнымъ. Или если въ немъ рисуются мечтательные и неосуществимые идеалы современной революціонной молодежи, выводятся воображаемые люди или небольшой кружокъ этой молодежи. Это напоминаетъ разсказъ о двухъ невѣждахъ, изъ которыхъ одинъ соглашался признать достоинство картины лишь въ томъ случаѣ, когда подъ каждою изъ ея фигуръ будетъ сдѣлана подпись съ обозначеніемъ возраста, чина и фамиліи, во избѣжаніе недоумѣній, а другой совѣтовалъ одѣть ихъ по своему вкусу.

Если прочитать *Анну Каренину* внимательно и безъ предвзятаго взгляда, то распространенное мнѣніе, что романъ этотъ чуждъ общественной жизни, поражаетъ своею близорукостью. Въ сущности, на страницахъ романа не только что общество попадается на каждомъ шагу, но внѣ его тамъ ничего и нѣтъ, и оно представлено цѣльнымъ и вполнѣ, несмотря на спеціальную, повидимому, тему его. И это составляетъ его величайшее художественное достоинство.

Общество является не только въ типическомъ образѣ Анны и драматической коллизіи ея страсти съ семейнымъ началомъ и общественными требованіями, не только въ еще болѣе типичномъ Левинѣ, съ его исторіей внутренней борьбы и освобожденія и съ его отношеніями къ рабочимъ, къ крестьянамъ, къ помѣщикамъ, къ ученымъ и художникамъ, но всѣ остальныя полтораста фигуръ, съ ихъ миніатюрною отдѣлкой, — всѣ онѣ являются представителями разныхъ слоевъ общества, носителями его интересовъ, выразителями его современныхъ мнѣній и отношеній.

Въ романѣ гр. Толстого мы встрѣчаемся со всѣми слоями общества. Мы видимъ и высшій свѣтъ, и просто свѣтъ, и бюрократическія сферы, и бытъ военно-гвардейскихъ офицеровъ, и жизнь помѣщиковъ, и ученое сословіе, и врачей пяти сортовъ, и землевладѣльцевъ съ рабочими и крестьянами, даже съ кулаками. Все это — общество, во всѣхъ его перегородкахъ. Мы видимъ его и тогда, когда оно все соединяется — въ церкви, на свадьбѣ, въ клубѣ, въ театрѣ,

на балѣ, на каткѣ, на выборахъ, на водахъ за границей, въ благотворительныхъ учрежденіяхъ, на концертахъ, въ университетѣ, на скачкахъ, въ комитетѣ министровъ, въ деревнѣ, на пашнѣ, на болотѣ, въ лѣсу, въ грязной уѣздной гостиницѣ, въ свѣтской гостиной, въ студенческихъ номерахъ, въ полковой артели, на маленькомъ семейномъ обѣдѣ, на пиру у полкового командира, на холостой квартирѣ офицера въ лагерной палаткѣ, на дачѣ, въ вагонѣ, на станціи, на рельсахъ желѣзной дороги. Вездѣ мы видимъ общество— и въ раздѣленіи, и во всевозможныхъ комбинаціяхъ, и даже ничего другого, кромѣ общества.

Все зданіе — передъ нашими глазами, со всѣми его этажами, флигелями и комнатами. Когда вы стоите передъ нимъ, вы не можете отрицать его существованія; но если вамъ не нравится его лѣстница или его освѣщеніе, то вы, когда васъ приглашаютъ войти, сдѣлаете видъ, что вовсе его не замѣтили, и васъ извиняютъ, если слухъ вашъ плохъ или зрѣніе слабо, но зданіе все-таки стояло и стоитъ.

Если войти въ этотъ большой домъ, то самыя свѣтлыя и вполнѣ отдѣланныя будутъ тѣ комнаты, гдѣ живутъ дѣти, и особенно — комната Сережи, сына Карениной. Этотъ добрый, умный, одаренный Сережа кажется гувернеру, учителю и даже отцу мальчикомъ непослушнымъ, лѣнивымъ и неспособнымъ. Гувернеръ велѣлъ Сережѣ, чтобъ онъ самъ снялъ съ себя поддевку, вернувшись съ гулянья, а Сережа не обратилъ вниманія на слабый голосъ славянина и стоялъ со старымъ швейцаромъ, съ довѣріемъ опираясь на его перевязь, и разговорился съ нимъ о самыхъ задушевныхъ предметахъ: о несчастномъ подвязанномъ чиновникѣ, котораго они сговорились устроить такъ, чтобъ Алексѣй Александровичъ принялъ его просьбу, объ игрушкахъ въ подарокъ отъ Лидіи Ивановны, о томъ, что отцу отъ Царя награда вышла, и т. д.

Гувернеръ сѣлъ съ Сережей приготовлять урокъ грамматики къ приходу учителя, а Сережа задумался о наградахъ отцу и себѣ, когда онъ будетъ большой. Сережу хотѣли учить грамматикѣ, наукѣ о формѣ словъ, называющихъ явленія жизни, а Сережа хотѣлъ думать о самой жизни, а не о словахъ.

И вотъ онъ, слушая гувернера, не слыхалъ его словъ и замечтался о томъ, какъ будутъ выдумывать новые ордена,

старше нынѣшнихъ, и какъ онъ сейчасъ же ихъ и заслужитъ. Пришелъ учитель и сталъ толковать объ „обстоятельствахъ времени, мѣста и образа дѣйствія“, и мальчикъ не могъ никакъ понять, какъ такое маленькое и совершенно понятное слово — „вдругъ“ — должно означать цѣлыхъ три длинныхъ и уже совершенно непонятныхъ слова: „обстоятельства (?) образа (?) дѣйствія (?)“. И мальчикъ, огорченный огорченіемъ учителя и обвиняя себя за свое непониманіе, былъ въ недоумѣніи, зачѣмъ это все его воспитатели будто сговорились говорить одно скучное ему и ненужное. Отецъ пришелъ дать Сережѣ урокъ закона Божія, и Сережа замечтался объ Енохѣ, взятомъ живымъ на небо, и съ этимъ соединялъ мечты о матери, будто бы, по словамъ окружающихъ, умершей, во что онъ совершенно не вѣрилъ.

Противорѣчіе между нашею, поистинѣ варварскою, педагогіей русскаго языка и законами дѣтской природы представлено здѣсь необыкновенно тонко и трогательно. Педагогія нынѣшняя толкуетъ о всевозможныхъ премудростяхъ и не знаетъ простѣйшаго психологическаго закона, заключающагося въ томъ, что логическія опредѣленія, а потому и грамматическія категоріи, есть труднѣйшій для процесса обобщенія экстрактъ изъ огромнаго круга понятій и представленій. Педагогія не понимаетъ того элементарнаго правила, что нельзя начинать воспитаніе ума, этого въ ребенкѣ столь нѣжнаго органа, съ того, что есть труднѣйшее дѣло даже для окрѣпшаго вполнѣ разсудка взрослаго человѣка, — не понимаетъ того, всѣмъ извѣстнаго, положенія, что всякое дѣло надо начинать съ начала, а не съ конца. И вотъ педагоги-методики впадаютъ именно въ эту грубѣйшую ошибку: не расширяя въ ребенкѣ круга его *впечатлѣній* и *представленій*, закрывая ему путь къ образованію *понятій*, они сразу наваливаютъ на его мозгъ страшную работу, прямо пичкаютъ его *опредѣленіями!* Но добро бы еще опредѣленіями понятій о чемъ-либо конкретномъ, — это бы еще полбѣды, — нѣтъ, они учатъ опредѣленіямъ не вещей, не понятій даже, но опредѣленіямъ ихъ названій, не вещей, но *словъ!* И этому они учатъ не взрослыхъ людей, а маленькихъ дѣтей съ приготовительнаго класса! И потому коротенькая, прелестная сцена уроковъ Сережи Каренина объ этомъ печальномъ „обстоятельствѣ“ истинно постыднаго для русской педагогіи

„образа дѣйствія“ такъ много мнѣ говоритъ, — больше, чѣмъ длиннѣйшіе ученые трактаты.

Воспитатели Сережи „жаловались, что онъ не хотѣлъ учиться; а душа его была переполнена жаждою знанія. И онъ учился у Капитоныча, у няни, у Наденьки, у Василья Лукича, а не у учителей. Та вода, которую отецъ и педагоги ждали на свои колеса, давно уже просочилась и работала въ другомъ мѣстѣ“. Это „другое мѣсто“ у Сережи было хорошее, потому что Капитонычъ-швейцаръ и няня-старушка были прекрасные люди; но... люди не всѣ хороши, а у другихъ дѣтей часто вода, просачиваясь черезъ гніющія доски верхняго шлюза, работаетъ въ другомъ мѣстѣ и для дурного дѣла.

Графъ Л. Н. Толстой, съ его тонкимъ умомъ и глубокимъ чувствомъ чуткаго сердца, не могъ отнестись иначе, какъ отрицательно, не только къ современной педагогіи, но и къ другимъ формамъ общественной дѣятельности, ко всему ея господствующему направленію. Нельзя относиться серіозно къ „бывшему“ студенту Крицкому, организующему слесарную артель въ деревнѣ, гдѣ она не нужна, къ занятію тѣхъ милыхъ людей, которые тамъ, въ залѣ Кашинскаго собранія, утѣшались выбираніемъ себѣ предводителя, или къ комитету 4 августа, гдѣ засѣдали и подкапывались другъ противъ друга Каренинъ и Стремовъ. Нельзя относиться къ этимъ вещамъ иначе, какъ къ игрушкѣ, иногда очень милой, иногда очень опасной,— не потому, чтобъ онѣ сами по себѣ были безсмысленны, а по тей, всѣмъ давно извѣстной причинѣ, что существуютъ такія, очень разнородныя, но все равно непреодолимыя стихійныя силы, которыя, иногда смѣшно, иногда ужасно, приводятъ всѣ эти попытки общественной дѣятельности къ нулевому и даже, большею частью, къ отрицательному результату. Здѣсь у гр. Толстого есть нѣкоторая не то что связь, а мостикъ, по которому желающіе могутъ перебраться къ Щедрину. И потому противъ такихъ сценокъ, какъ выборъ предвадителя дорянами Кашинской губерніи, или засѣдане комитета 4 августа, или комиссіи 18 сентября объ инородцахъ въ отношеніяхъ этнографическомъ, экономическомъ, религіозномъ и т. д.,— противъ этихъ прелестныхъ по тонкости чутья и мысли картинокъ можно сказать развѣ то, что въ нихъ графъ Л. Н. Толстой

вступаетъ въ такую область, которая составляетъ спеціальность талантовъ другого характера и другихъ направленій, разработавшихъ ее если не такъ добродушно и тонко, какъ графъ Л. Н. Толстой, зато несравненно сильнѣе и типичнѣе. Но такое возможное возраженіе само по себѣ не важно и имѣетъ лишь формальный характеръ. Для критики эти сцены — дорогая даже находка, потому что онѣ кидаютъ, во-первыхъ, очень яркій свѣтъ на многое, прежде бывшее непонятнымъ въ болѣе раннихъ произведеніяхъ гр. Толстого, и, во-вторыхъ, — что тоже очень важно, — уясняютъ его связь съ другими областями жизни и литературы, его отдаленное отношеніе къ другой вершинѣ современной русской мысли — къ Щедрину.

Таковъ былъ постоянный тонъ отношенія графа Л. Н. Толстого къ идеѣ общественной дѣятельности, для которой онъ, повидимому, не только симпатіями своего таланта, но и убѣжденіемъ находилъ одну лишь сколько-нибудь возможную арену — литературу и народную школу. И нѣтъ сомнѣнія, что въ глубинѣ своихъ основаній этотъ тонъ былъ совершенно вѣренъ.

Но умы, болѣе грубые, и чувства, не такъ далеко проникающія, не понимали мысли гр. Толстого и съ близорукою страстностью порицали его за ретроградное, будто бы, направленіе. Отъ этого дѣло запуталось и осложнилось. Случилось то самое, что всегда бываетъ въ спорѣ именно тѣхъ людей, которые очень страстно дорожатъ чистотою своей задушевной идеи, которые, раздражаясь поэтому споромъ, теряютъ способность понимать другъ друга, слишкомъ сгущаютъ свои краски, обостряютъ свои положенія, доходятъ до крайности и, наконецъ, достигаютъ послѣдней степени изолированія своей, прежде широкой, идеи, превращая ее въ узкую и безпристрастнаго свидѣтеля отталкивающую тенденцію. То же было и съ гр. Л. Н. Толстымъ. Его не понимали и бранили, и онъ сталъ отрицать уже всякій смыслъ, и уже во всякой общественной дѣятельности самъ, въ то же время, продолжая быть такимъ общественнымъ дѣятелемъ, какихъ у Россіи немного. И вотъ гр. Толстой, попрежнему уча общество тому, что оно забыло, попрежнему продолжая лѣчить современное общество отъ его душевной болѣзни, возрождая и расширяя въ немъ измельчавшую и

исковерканную область непосредственнаго чувства, — графъ Толстой, хотя логически совершенно непослѣдовательно, но вполнѣ искренно и вѣрно своему изолировавшемуся отъ оскорбленія чувству, сталъ думать и говорить, что живетъ лишь для того, чтобъ „ему съ семьей было какъ можно лучше“.

Это соединялось у него чрезвычайно своеобразными путями и съ другимъ теченіемъ, тоже очень у него глубокимъ, — съ индивидуализмомъ. Гр. Л. Н. Толстой полагалъ вмѣстѣ съ Левинымъ, что *способность дѣятельности для общаго блага*, которой онъ чувствовалъ себя совершенно лишеннымъ, можетъ-быть и не есть качество, а, напротивъ, недостатокъ чего-то,— не недостатокъ добрыхъ, честныхъ, благородныхъ желаній и вкусовъ, но *недостатокъ силы жизни* (переводи: эгоистическаго индивидуализма),— того, что̀ называютъ сердцемъ (переводи: *непосредственнымъ влеченіемъ къ индивидуальному счастію*), — того стремленія, которое заставляетъ человѣка изъ всѣхъ безчисленныхъ представляющихся путей жизни выбрать одинъ и желать этого одного (переводи: *выбрать одну женщину для любви и семьи и опредѣленный трудъ для благоденствія съ ними*). Гр. Толстой былъ такъ глубоко убежденъ, что вся непосредственная сила жизни цѣликомъ направлена на достиженіе лишь индивидуальнаго счастья, что всякое стремленіе къ счастію общему, къ общему благу, казалось ему исходящимъ не изъ сердца, а изъ теоретическаго разсужденія. И вотъ гр. Толстой вмѣстѣ съ Левинымъ полагалъ, что „и Сергѣй Ивановичъ (Кознышевъ), и многіе другіе (почему же не всѣ? было бы по крайне мѣрѣ послѣдовательно) дѣятели для общаго блага не сердцемъ были приведены къ этой любви къ общему благу, но умомъ разсудили, заниматься этимъ хорошо, и только потому занимались этимъ.“ Гр. Л. Н. Толстой и Левинъ искренно думали такъ *тогда* (потомъ они стали думать иначе) и искренно *тогда* не сознавали, что эта ихъ мысль есть логически довольно тонкое, но нравственно очень грубое софистическое ухищреніе.

И вотъ гр. Толстой типическими представителями общественныхъ дѣятелей вывелъ Кознышева и Вареньку,— Кознышева, который противорѣчиво оказывается то нисколько не больше принимающимъ къ сердцу вопросы объ общемъ

благѣ и безсмертіи души, чѣмъ о шахматной игрѣ, то вдругъ отдающимся всецѣло интересамъ сербской войны,— и Вареньку, которая дѣлается сестрой милосердія, потому что ее бросилъ женихъ, и которая потомъ очень была бы довольна, бросивъ своихъ больныхъ, выйти замужъ за Кознышева.

И тутъ графа Толстого постигла странная, очень характерная участь. Кознышевъ съ маленькою двойственностью, а Варенька вполнѣ, но все-таки оба — вышли живыми типичными лицами и останутся навсегда въ портретной галлереѣ типовъ русской литературы, а привязанная къ ихъ образамъ разсудочная тенденція индивидуализма, для доказательства которой они были введены въ романъ, казалась болѣзненной, никѣмъ не была принята и впослѣдствіи открыто была отвергнута самимъ графомъ Толстымъ. *Громека.*

Сущность характера Левина.

Когда человѣкъ сидитъ на стулѣ, а на него направленъ фотографическій аппаратъ, то на видимомъ фотографу наружномъ стеклѣ получается миніатюрная фигурка съ очень блестящими и красивыми красками. Эта фигурка заключаетъ въ миніатюрѣ всѣ доступныя простому зрѣнію черты человѣка, сидящаго передъ аппаратомъ. Въ ней выражается человѣкъ, какъ онъ, съ своими мыслями и чувствами, сидитъ передъ аппаратомъ на стулѣ *въ ту минуту*. Но она, конечно, не выражаетъ всей души того человѣка, какою была она *прежде*, какова она *во всей ея сложности теперь* и какою она будетъ *впослѣдствіи*.

Человѣкъ, сидящій передъ фотографическимъ аппаратомъ, это — гр. Л. Н. Толстой, а фигурка его, полученная въ миніатюрѣ на наружномъ стеклѣ аппарата, это — Левинъ въ его романѣ.

Изъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ разбираемаго произведенія Левинъ всего болѣе подвергался нападкамъ и презрительнымъ насмѣшкамъ нашей критики. Эта оригинальная натура должна была казаться очень неестественною той раціоналистической критикѣ, у которой существуютъ свои особенныя понятія о естественности и теоретически-нормальныхъ людяхъ. И потому Левину особенно досталось,

Должно согласиться, что, концертируя общій смыслъ всей своей художественной дѣятельности въ личности Левина, гр. Толстой допустилъ нѣкоторыя чрезмѣрныя сгущенія красокъ и потому иногда немного натянутыя положенія. Но эти частныя ошибки въ исполненіи нисколько не умаляютъ достоинства и значенія общей идеи этого лица, и критика могла бы отнестись къ нему иначе, безъ такого близорукаго пренебреженія и предвзятаго осужденія.

Это отрицательное отношеніе къ Левину такъ распространено, что нельзя говорить о Левинѣ, не полемизируя, вмѣстѣ съ тѣмъ, и противъ общепринятаго о немъ мнѣнія. Изъ всѣхъ отзывовъ, выражающихъ это мнѣніе, можно считать наиболѣе типическимъ тотъ, который представленъ г. А. Станкевичемъ въ его статьѣ: *Каренина и Левинъ*, помѣщенной въ *Вѣстникѣ Европы* за 1878 годъ (апрѣль, 87 — 820, и май, 172 — 193). Раціоналистическая точка зрѣнія выражена здѣсь наиболѣе теоретически-умно и обдуманно, въ большой системѣ и даже съ большимъ, хотя и не совсѣмъ удачнымъ, юморомъ.

Напримѣръ, г. Станкевичъ вѣрно указывалъ въ Левинѣ неспособность достигать правильныхъ понятій путемъ теоретической мысли и довольно удачно подтрунивалъ надъ этимъ его недостаткомъ. Здѣсь критикъ ошибается лишь тѣмъ, что ставитъ эту черту въ вину не столько Левину, какъ лицу въ романѣ, сколько самому замыслу автора, создавшему типъ, будто бы неестественный и дикій. Это и не удивительно, потому что представленіе раціоналистическои критики о нормальномъ человѣкѣ очень опредѣленно; нормальными людьми ей кажутся только Кознышевъ и другіе люди теоретической мысли, а изъ женщинъ — незамысловатая Китти. Представленіе нашей раціоналистической критики о нормальномъ человѣкѣ очень напоминаетъ выраженіе стараго князя Щербатскаго о тѣхъ петербургскихъ господахъ, которыхъ тамъ дѣлаютъ на машинѣ. Нормальный человѣкъ современной критики тоже сдѣланъ на машинѣ, производящей Кознышевыхъ и Катавасовыхъ. Натура сложная, съ противорѣчіями самой себѣ, съ дисгармонирующимъ распредѣленіемъ внутреннихъ силъ, натура не цѣльная, художественная и оригинальная кажется ей невозможною и созданною у гр. Толстого произвольно и неудачно. Съ такой точки зрѣнія Левинъ,

конечно, долженъ казаться выродкомъ и полуидіотомъ, романъ котораго можетъ вызывать одно лишь великодушное сожалѣніе или презрительную насмѣшку, но не интересъ и не участіе. Съ такой точки зрѣнія на свѣтѣ живутъ только люди, которыхъ внутренняя жизнь равняется длинной цѣпи правильно-логическихъ, спокойныхъ заключеній, безъ запинки, безъ ошибокъ, безъ заблужденій чувства и мысли. Конечно, Левинъ, который совсѣмъ не умѣщается въ эти рамки, долженъ казаться относительно ихъ дикимъ, ненатуральнымъ и несимпатичнымъ. Кого можетъ интересовать жизнь человѣка, который не сразу постигъ всю жизненную тайну, подобно Кознышевымъ и Катавасовымъ, а въ своихъ вѣчныхъ и страстныхъ стремленіяхъ къ ней приближался къ ней лишь послѣ многихъ и частыхъ заблужденій? И въ самомъ дѣлѣ, какъ съ такой точки зрѣнія можетъ вызвать къ себѣ симпатіи чудакъ, не могущій связать правильно двухъ мыслей и вѣчно переходящій отъ одной теоріи къ другой? Можно допустить существованіе атеистовъ, матеріалистовъ, идеалистовъ, религіозно убѣжденныхъ, потомъ западниковъ, славянофиловъ и т. д., — это естественно для нея. Но допустить, чтобы всѣ эти виды теоретической мысли и нравственнаго настроенія переиспыталъ одинъ человѣкъ — это вѣдь не правда ли, совсѣмъ не естественно, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, кто, разъ отграничивъ себя стѣной опредѣленной системы мнѣній, замкнулся въ ней навсегда?

Конечно, это совсѣмъ пустой и дрянной человѣкъ. Помилуйте, — замѣчаетъ намъ г. Станкевичъ, — вы послушайте, что говорили ему даже его вещи. Когда онъ надѣялся очиститься и возродиться, онѣ съ такою увѣренностью ему говорили: „Нѣтъ, ты не уйдешь отъ насъ и не будешь другимъ, а будешь такой же, каковъ былъ: съ сомнѣніями, вѣчнымъ недовольствомъ собой, напрасными попытками исправленія и паденіями и вѣчнымъ ожиданіемъ счастія, которое не далось и невозможно тебѣ“.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ не смѣяться надъ человѣкомъ, который всегда сомнѣвается, который не можетъ удовлетвориться ни одною положительною теоріей и котораго жажда истины и личнаго совершенствованія никогда не въ силахъ утолиться? Это человѣкъ совсѣмъ ничтожный, особенно въ сравненіи съ людьми, которые въ своихъ изысканіяхъ истины

всегда способны заранѣе впередъ опредѣлить границу, за которую они уже болѣе не перейдутъ и далѣе которой ихъ желаніе истины не распространяется.

Вѣдь и Китти надъ нимъ смѣется, хотя онъ и мужъ ея. Правда, она его любитъ, но, вѣдь, она любитъ его просто за то, что онъ добрый, честный и искренній человѣкъ. Такъ думаетъ г. Станкевичъ. Сама же Китти говорила объ этомъ иначе. Когда, въ самый вечеръ свадьбы, приблизившееся счастье вдругъ показалось невозможно-незаслуженнымъ Левину, сомнѣвающемуся во всемъ, даже и въ себѣ, страдающему отъ сознанія своихъ недостатковъ и прегрѣшеній, и когда онъ, какъ сумасшедшій, прибѣжалъ къ сидѣвшей у сундука со старыми платьями Китти и умолялъ ее отказать ему, потому что онъ ея недостоинъ, — тогда Китти, правда, разсердилась сначала, но она скоро поняла, что̀ случилось съ ея женихомъ. Китти не только подтвердила Левину, что она любитъ его, но и объяснила ему, за что именно она его любитъ. Она сказала ему, что *она любитъ его за то, что понимаетъ его всего, — за то, что она знаетъ, что онъ долженъ любить, и что все, что̀ онъ любитъ, все хорошо*". Т.-е. Китти любила его не только за то, что онъ добръ, честенъ и правдивъ, но и за все остальное, что въ немъ было, и что̀ она все понимала любя и любила понимая, — за его сомнѣнія, за его жажду истины, за его ошибки и мученія, — за все то, что́ было его достоинствомъ и слабостью, за все то, что̀ такъ не нравится въ немъ разсудочной критикѣ.

Болѣе всего эта критика смѣялась надъ мнѣніями Левина и надъ ихъ общимъ, столь нераціоналистическимъ, направленіемъ. Уваженіе Левина къ тѣмъ простымъ людямъ, съ которыми онъ дѣлилъ жизнь и трудъ, его довѣріе къ ихъ народной мудрости, казались ей наиболѣе достойными осмѣянія.

Левинъ, еще собираясь сдѣлать предложеніе Китти, говорилъ ему (скотнику Николаю): „Что, Николай, хочу жениться!" — и Николай рѣшительно отвѣчалъ: „Давно пора, Константинъ Дмитричъ". Мнѣнія людей, подобныхъ Николаю, въ важнѣйшихъ вопросахъ жизни были для Левина высшимъ, рѣшающимъ авторитетомъ, даже откровеніемъ... Ему нерѣдко случалось бесѣдовать съ Агаѳьей Михайловной о физикѣ, теоріи хозяйства и въ особенности философіи. Читатель,

ознакомившись съ тѣмъ, что Левинъ разумѣлъ подъ философіей, нисколько не станетъ удивляться послѣднему. Левинъ, Агаѳья Михайловна, скотникъ Николай, мужикъ Ѳедоръ, а также и дядя Ѳоканычъ, принадлежали къ одной философской школѣ. Левинъ только вслѣдствіе тугости своего пониманія долго не могъ разумѣть ея ученія и явился уже послѣднимъ ея адептомъ".

Снисходительно-пренебрежительный тонъ этой насмѣшки указываетъ, очевидно, что авторъ ея полагаетъ философію Левина и, вообще, все направленіе и внутреннее содержаніе этой оригинальной личности окончательно уничтоженными, и уничтоженными однимъ указаніемъ на ихъ внутреннюю связь съ воззрѣніями такихъ невѣжественныхъ людей, какъ скотникъ Николай, Агаѳья Михайловна, старая няня Левина, мужикъ Ѳедоръ и дядя Ѳоканычъ. Но мы должны сознаться передъ читателемъ, что скромно-торжествующій тонъ этой насмѣшливой тирады кажется намъ совсѣмъ ненеотразимымъ. Какъ ни страшно признаваться, что философію скотника Николая и Ѳедора-подавальщика съ Левинымъ считаешь болѣе глубокомысленною, нежели философію *Вѣстника Европы*, тѣмъ не менѣе совѣсть обязываетъ насъ быть искренними. И потому скажемъ прямо, что мы, вообще, раздѣляемъ философскіе вкусы Левина, старой его няни, скотника Николая и Ѳедора подавальщика, а раціонализму г. Станкевича не сочувствуемъ вовсе. И такъ какъ мы, вѣроятно, навсегда уже потеряли этимъ признаніемъ уваженіе просвѣщеннаго читателя, то уже болѣе не чувствуемъ страха, а спокойно прослѣдимъ въ романѣ отраженія той философской школы, которая была создана старушкой Агаѳьей Михайловной и раздѣлялась этимъ уморительнымъ Левинымъ.

Когда ученые люди говорятъ о философіи, то, прежде всего, начинаютъ съ опредѣленія метода. Смиренно сознавая свое невѣжество и грубость своихъ мужицкихъ мнѣній, мы послѣдуемъ примѣру людей ученыхъ, и сначала попытаемся опредѣлить методъ философствованія скотника Николая.

Методъ этотъ, къ тому же, уже охарактеризованъ г. Станкевичемъ по его проявленіямъ у Левина. Мы можемъ отправиться отъ этого опредѣленія. „Истина, — говоритъ г. Станкевичъ, — открывается ему (Левину) не менѣе, чѣмъ другимъ людямъ, и даже съ большею глубиной, но только не въ поня-

тіяхъ, выражающихся словами, не путемъ мысли, а будто самою его личною жизнью, какимъ-то внутреннимъ, таинственнымъ процессомъ души его". Отсюда у Левина „является *особенное* пониманіе и развитіе сознанія... помимо дѣятельности и пути мыслей*), — пути, какъ полагаетъ Левинъ, страннаго, сомнительнаго и несвойственнаго человѣку".

Здѣсь справедливо указано, что развитіе *сознанія* у Левина происходитъ путемъ особымъ, особымъ отъ чисто-логическаго. Этотъ особый отъ чисто-разсудочнаго, родъ сознанія есть сознаніе непосредственнымъ чувствомъ или внутреннимъ субъективнымъ опытомъ, существенно отличающимся отъ пути логически выводного. Не нужно быть спеціалистомъ въ философіи, чтобы знать, что оба эти рода сознанія или, вѣрнѣе, обѣ эти функціи и орудія сознанія присущи душѣ каждаго человѣка. И не нужно быть наблюдательнымъ, чтобы согласиться съ тою простою истиной, что эти, всѣмъ людямъ свойственные, виды сознанія не во всѣхъ, однако, людяхъ встрѣчаются въ равной степени силы и въ равномъ распредѣленіи. Сознаніе однихъ надѣлено обѣими способностями въ высокой и равной степени; у другихъ — въ меньшей, но также приблизительно поровну; у третьихъ замѣтно чрезмѣрное преобладаніе разсудочности надъ непосредственнымъ чувствомъ; у четвертыхъ же, наоборотъ, послѣднее преобладаетъ надъ первою, чуткость чувства надъ послѣдовательностью логики. Одни бываютъ геніями, другіе — посредственными, обыденными или ограниченными людьми, третьи — логиками или резонерами, четвертые — художниками, психологами, поэтами и т. д. И если присоединить сюда вліяніе столь же неравномѣрнаго распредѣленія элементовъ воли, нравственныхъ привычекъ, воспитанія и т. д., то изъ этихъ разновидностей силъ сознанія и образуется то поразительное разнообразіе индивидуальнаго характера умовъ, которое представляетъ дѣйствительная, наблюденію каждаго доступная, жизнь. Если бы критикъ вспомнилъ объ этой простой и всѣмъ извѣстной истинѣ, онъ бы не нашелъ ничего ненатуральнаго, ничего даже новаго въ идеѣ, что, кромѣ ординарнаго логическаго процесса мысли, человѣческое сознаніе

*) Въ подлинной фразѣ Левина было совсѣмъ другое слово — разумъ, невѣрно употребленное въ смыслѣ разсудка.

обладаетъ еще и другимъ, по крайней мѣрѣ, столь же могущественнымъ, средствомъ постиженія жизни. Тогда онъ не считалъ бы невозможно-неестественнымъ литературное изображеніе такого типическаго характера, который изъ этихъ двухъ различныхъ силъ сознанія—логики и непосредственнаго чувства — обладаетъ въ бо̀льшей степени второю и въ весьма малой первою. Онъ бы тогда увидѣлъ, что Левинъ представляетъ собою типическій образчикъ людей, несомнѣнно существующихъ въ дѣйствительности, и потому въ романѣ, ее изображающемъ, занимаетъ совершенно законное мѣсто. Правда, и затѣмъ остается возможность симпатій и антипатій, сочувствія и насмѣшки, но это уже дѣло другое, — дѣло отчасти личнаго вкуса, отчасти личной оцѣнки того, какая изъ двухъ силъ сознанія наиболѣе важна и плодотворна въ жизни человѣка.

И въ этомъ послѣднемъ отношеніи критика *Вѣстника Европы* представляетъ много страннаго и даже неяснаго. Съ одной стороны, въ одномъ мѣстѣ (май, 189—190) есть какъ бы готовность признать за Левинымъ нѣкоторое значеніе. Онъ говоритъ тамъ, что левинская „способность покоряться вліяніямъ встрѣчающихся явленій жизни, постоянное преобладаніе впечатлѣній надъ его мыслью, мечтательность, его покорность инстинктамъ, темнымъ влеченіямъ, принимаемымъ имъ за понятія, все это — черты, свойственныя природѣ художниковъ“. Далѣе г. Станкевичъ строитъ очень остроумныя предположенія, какимъ именно художникомъ сталъ бы Левинъ, если бъ авторъ представилъ его въ этой, по натурѣ наиболѣе ему свойственной, сферѣ дѣятельности. Совершенно соглашаясь съ этою мыслью г. Станкевича и вмѣстѣ съ нимъ полагая, что художественное произведеніе удалось бы Левину гораздо скорѣе, нежели его политико-экономическій трактатъ и разсужденія о мѣстномъ самоуправленіи, — мы, однако, видимъ здѣсь очевидное противорѣчіе всему предыдущему изложенію г. Станкевича. Тутъ есть какъ бы нѣкоторое признаніе правъ Левина на жизнь, какъ бы признаніе, что его методъ постиженія жизни имѣетъ достоинство художественнаго инстинкта и, какъ таковой, имѣетъ свою полезность въ общей экономіи жизни, то-есть что „особый путь сознанія“ у Левина вовсе не есть что-либо ненатуральное и что самый образъ личности Левина

носитъ опредѣленныя и признанныя жизнью черты. Но вся остальная статья г. Станкевича построена на мысли этому признанію обратно-противоположной.

Такое послѣдовательное игнорированіе истинной сущности характера Левина повело г. Станкевича (между прочимъ) къ слѣдующей очень крупной ошибкѣ. Г. Станкевичъ не видитъ въ романѣ Левина никакого развивающагося событія, не видитъ художественной исторіи типа. И потому романъ Левина представляется г. Станкевичу не романомъ, а ничѣмъ внутренно не связаннымъ рядомъ страницъ, изображающихъ случайное настроеніе человѣка, невозможнаго въ жизни, произвольно созданнаго фантазіей графа Толстого, и разныя мысли этого фантома по разнымъ, совершенно произвольно выхваченнымъ поводамъ. Это совершенно невѣрно. Романъ Левина развиваетъ очень сложное и глубоко-знаменательное событіе и представляетъ *законченную* исторію лица. Мы говоримъ: *законченную* (а не полную) — потому, что видимъ въ ней конецъ, глубоко выведенный изъ сущности задуманнаго типа, хотя должны признаться, не видимъ нѣкоторыхъ посредствующихъ и особенно начальныхъ ея звеньевъ, и потому полагаемъ, что въ общемъ романъ Левина, дѣйствительно, далеко не отличается тою полнотой и яркостью, какая поражаетъ насъ въ параллельно совершающемся романѣ Анны. Но если исполненіе замысла несомнѣнно страдаетъ нѣкоторыми существенными недостатками, то это нисколько не умаляетъ достоинства и глубины задуманной идеи не только лица, но и его отрывочно представленной исторіи.

Многіе называли Левина цѣльной натурой. Даже Стива Облонскій прилагалъ къ своему свояку это требовательное опредѣленіе, въ откровенномъ и пріятномъ разговорѣ за второю бутылкой шампанскаго, послѣ гастрономическаго обѣда въ „Англіи“ на Петровкѣ, то-есть въ такихъ условіяхъ, когда мысль человѣка отличается наибольшею точностью, а сердце раскрыто для самыхъ симпатичныхъ чувствъ. Иногда кажется, что и самъ Левинъ, который лучше всѣхъ зналъ свою склонность къ сомнѣніямъ, потому что болѣе всѣхъ страдалъ отъ нея, — что и самъ Левинъ иногда какъ будто считаетъ себя цѣльнымъ человѣкамъ.

Конечно, это — ошибка. Именно цѣльности и не было въ Левинѣ. Именно къ цѣльности Левинъ вѣчно порывался.

И весь смыслъ его романа состоитъ не въ чемъ другомъ, какъ въ изображеніи человѣка, который, утративъ первоначальную цѣльность воззрѣній и характера, мучительно отъ того страдаетъ, такъ долго борется, ищетъ и, наконецъ, въ эпилогѣ романа, пріобрѣтаетъ возможность къ ней возвратиться и тѣмъ завершить свое духовное развитіе.

Левинъ есть образчикъ тѣхъ противорѣчивыхъ натуръ, въ которыхъ область чувства и духовнаго чутья слишкомъ преобладаетъ надъ теоретическою мыслью и которыя поэтому живутъ больше всего не разсудкомъ, а чувствомъ непосредственнымъ, котораго цѣльность, однако, надломлена рефлексіей, воспитанною современнымъ разсудочнымъ образованіемъ, несоотвѣтственно узкимъ и грубымъ въ сравненіи съ широтой и тонкостью ихъ духовно-художественнаго инстинкта. Поэтому они нервны, угловаты, щекотливо-самолюбивы, потому что вѣчно наединѣ съ своимъ внутреннимъ разладомъ, вѣчно боятся, зная свою слабость, быть въ ней уязвленными, вѣчно стремятся выйти изъ противорѣчія между богатствомъ индуктивнаго чувства и бѣдностью отвлеченнаго сознанія, и успокаиваются лишь тогда, когда, путемъ долгихъ сомнѣній, мученій и болѣзней, наконецъ, отдѣлаются отъ угнетающей ихъ такъ тяжко рефлексіи, разовьютъ свою непосредственную область еще глубже и шире, выведутъ ее на первое и по принципу мѣсто и, примиривши, наконецъ, съ теоретическимъ сознаніемъ, плодотворно приложатъ ее къ дѣятельности, направленной на что-либо внѣшнее. И потому исторія ихъ жизни есть исторія внутренней отчаянной борьбы за пріобрѣтеніе гармоніи духа путемъ развитія и примиренія первоначально дисгармонирующихъ началъ ихъ врожденнаго характера. Обладая въ избыткѣ однимъ изъ задатковъ цѣльности духа, именно глубиной непосредственнаго чувства, они страдаютъ недостаткомъ теоретической силы, которая, стоя на той же высотѣ тона, примирила бы ихъ съ ихъ умственною совѣстью, и потому они страстно стремятся къ этому миру. И пока они его не достигнутъ, они будутъ вѣчно недовольны собою, сердиться на себя и на другихъ, дѣлать тысячу чудачествъ, глупостей, ошибокъ и даже вреда; будутъ читать книжки, надѣясь вычитать въ нихъ то недостающее имъ начало цѣльности и гармоніи духа, и успокоятся лишь тогда, когда, перегорѣвъ и изстрадавшись,

они отринутъ свои старыя узкія мысли и этими долгими усиліями и тяжкими жертвами расширятъ сознаніе въ уровень съ своимъ непосредственнымъ чувствомъ.

Когда Левинъ появляется въ романѣ, ему 32 года, и онъ, какъ мальчикъ, влюбленъ въ княжну Китти Щербатскую. Эта любовь становится для Левина тѣмъ внѣшнимъ двигателемъ, который ускорилъ давно происходившій въ немъ процессъ борьбы дисгармонирующихъ силъ его духа и, въ концѣ романа, помогъ ему установить между ними нѣкоторое равновѣсіе. Эта любовь усилила и расширила въ душѣ Левина область непосредственнаго чувства, и оно, подчинивъ себѣ его теоретическую мысль, привело, наконецъ, сознаніе Левина къ постиженію той главной жизненной тайны, къ уничтоженію того главнаго сомнѣнія, которыхъ окончательное раскрытіе прежде было недоступно узости его логически-разсудочнаго пониманія. Любовь къ женщинѣ, а потомъ семья были для Левина тѣмъ могущественнымъ орудіемъ, которое дало окончательное развитіе его внутреннему опыту духовнаго чувства, прежде связаннаго и суженнаго рефлексіей его недостаточной и ложными теоріями извращенной разсудочности. Любовь къ женѣ и сыну приблизила его окончательно къ истинному источнику жизни и ея познанія, помогала ему завершить счастливо борьбу неравномѣрно распредѣленныхъ силъ его духа и достигнуть внутренней гармоніи. Сознаніе его было, наконецъ, примирено съ самимъ собою. Освобожденное чувство, наконецъ, подняло передъ нимъ завѣсу разсудочности, такъ долго скрывавшую отъ его взора истинную жизнь, которой смыслъ представлялся прежде его сознанію лишь отрывочно, гипотетически, сомнительно и противорѣчиво. Тогда теоретическое сознаніе его расширилось и просвѣтлѣло. Изъ всѣхъ непосредственныхъ стихійныхъ силъ индивидуальной жизни истинная любовь есть сила наиболѣе могущественная, наиболѣе способная побѣдить разлагающее вліяніе разсудочной рефлексіи. И пока эта сила не овладѣла Левинымъ, онъ не имѣлъ средствъ бороться противъ той дисгармоніи, на которую былъ осужденъ самою организаціей своей нравственной личности. До тѣхъ поръ онъ былъ способенъ лишь временно успокаиваться на той или на другой разсудочной теоріи, постоянно переходя къ новымъ системамъ и снова покидая ихъ, когда непо-

средственная сила жизни разоблачала передъ нимъ его оптическій обманъ и хрупкія зданія его неустойчивой разсудочности, какъ карточный домикъ, разваливались отъ прикосновенія дѣйствительности, которая, при всѣхъ заблужденіяхъ Левина, никогда не оставляла его надолго безъ своего охраняющаго вліянія. Его жизнь въ деревнѣ, на лонѣ природы, среди стихійныхъ силъ народнаго быта, всегда возвращала его отъ односторонникъ логическихъ построеній къ созерцанію таинственной для разсудка непосредственной жизни, не давая ему упрочиться въ какой-либо односторонне-опредѣленной системѣ теоретическихъ воззрѣній и вѣчно толкая впередъ его впечатлительный духъ. Поэтому онъ постоянно переходилъ отъ одной *фазы* къ другой и, пріѣзжая въ Москву изъ деревни, являлся передъ своими друзьями всегда съ неожиданно для нихъ новыми въ немъ системами воззрѣній.

Такъ шла его жизнь до тѣхъ поръ, пока онъ не полюбилъ Китти.

Левинъ уже давно былъ предрасположенъ полюбить эту дѣвушку. Еще юношей, студентомъ, онъ былъ влюбленъ въ домъ Щербатскихъ, въ семью, въ духъ Киттиной семьи. Онъ любилъ эту семью тѣмъ болѣе, что собственной семьи, столь родственной по духу дому Щербатскихъ, онъ былъ лишенъ въ раннемъ еще дѣтствѣ смертью родителей и разницею возраста въ сестрѣ. Затаенное влеченіе къ женскому элементу семьи, чего онъ такъ рано былъ лишенъ, было причиной, почему женская половина во всемъ близкаго ему дома Щербатскихъ представлялась ему таинственно-поэтическою и прекрасною. Влюбленный въ это коллективное лицо, Левинъ постепенно переносилъ воплощеніе своего идеальнаго влеченія съ одной Щербатской на другую, пока, наконецъ, не влюбился окончательно въ младшую, когда самъ достигъ полной зрѣлости жизни и того возраста, когда потребность любви и семьи говоритъ особенно громко. Въ Китти онъ нашелъ все то, что̀ ему *тогда* было нужно и что все сводилось къ чистой и цѣльной, здоровой непосредственности, которая у Левина была надломлена и болѣзненно уязвлена его разсудочностью и самолюбіемъ. Натура Китти не такъ была сложна, какъ натура Левина, но она была цѣлостнѣе его. И это было главное, что̀ ему было нужно, то главное, за что онъ ее полюбилъ. Она обла-

дала тою аристократическою чертой наслѣдственнаго изящества природы, безъ котораго Левину представить себѣ жену было невозможно. Она была семейственна, и это также влекло къ ней Левина, любившаго въ ней будущую семью. Она была хороша собой и обладала изяществомъ сердца, что было такъ симпатично его художественнымъ наклонностямъ. Она была искрення и правдива, она была добра, и онъ, самъ добрый и искренній человѣкъ, дорожилъ въ ней этой цѣлостною правдой, которой ему не доставало.

Но Левинъ приступилъ къ дѣлу тогда, когда Китти была не расположена къ тому, когда она была увлечена внѣшнею склонностью къ блестящему и безсодержательному Вронскому. И потому Левинъ потерпѣлъ неудачу. Получивъ отказъ и повидавшись съ несчастнымъ братомъ, страдавшимъ отъ приниженности самолюбія черезчуръ страстной и невыдержанной натуры, Левинъ уѣхалъ къ себѣ назадъ въ деревню.

Когда онъ почувствовалъ себя дома, среди привычныхъ условій жизни и труда, онъ понялъ, что у него есть своя независимая отъ огорченій и внѣшней уязвимости область дѣятельности, и ему стало легче переносить постыдное воспоминаніе отказа. И по свойству нравственной упругости души, онъ чувствовалъ потребность этому душевному удару противопоставить еще напряженнѣйшее стремленіе къ независимой дѣятельности и совершенствованію. Отказавшись, или, по крайней мѣрѣ, думая что отказался, отъ надеждъ на любовь и счастье, онъ находилъ въ себѣ еще болѣе энергическимъ желаніе нравственнаго очищенія и возвышенія, желаніе остаться на этой же нотѣ нравственнаго подъема, до которой возвысила его любовь къ Китти. Отказываясь отъ любви, онъ желалъ сохранить высоту ея тона.

Но это не во всѣхъ отношеніяхъ ему удавалось. Прошли три мѣсяца, а воспоминаніе отказа все такъ же, какъ и въ первый день, стыдомъ рѣзало и жгло ему душу, хотя время все же понемногу залѣчивало рану. Потомъ пришла весна, и съ нею — новое возбужденіе къ жизни. Хозяйственныя заботы и экономическій трактатъ поглощали все вниманіе Левина, и рѣшеніе устроить одинокую жизнь становилось тверже. Такъ казалось Левину. Но любовь къ Китти жила въ его душѣ, и только замерла на время и притаилась. Когда Стивой привезено было извѣстіе о томъ, что Китти

не вышла за Вронскаго и заболѣла, Левинъ обрадовался возможности надежды и тому, что Китти, сдѣлавшая ему такъ больно, сама несчастна. И изъ этого противорѣчиваго чувства онъ увидѣлъ, что не забывалъ Китти. Потомъ пришло лѣто, уборка, и Левинъ опять отвлекся до тѣхъ поръ, пока разговоръ съ Долли въ Ергушовѣ о предполагавшемся пріѣздѣ Китти изъ Садена и разные намеки Долли не разбудили въ немъ стараго чувства. И какъ ни старательно подавлялъ Левинъ съ себѣ эти слѣды прежняго, какъ ни пряталъ онъ ихъ на самое дно души, они, хотя и сдавленные, прочно лежали тамъ и ждали только удобнаго случая, чтобы снова и уже всецѣло овладѣть всѣмъ его существомъ.

Каждый разъ, какъ ихъ затаенная сила показывала признаки жизни, каждый разъ она отражалась на внѣшнемъ образѣ мыслей Левина. Во время спора со Стивой о храненіи родового имущества, объ истинномъ аристократизмѣ, она давала мнѣніямъ Левина другую окраску. Левинъ не зналъ, для кого онъ такъ заботливо занимается хозяйствомъ своего родового имѣнія; но инстинктъ говорилъ ему, что онъ долженъ беречь свое добро для чего-то иного, кромѣ личной своей независимости, и это темное сознаніе слышится въ его горячей аргументаціи противъ безпечности Стивы, легкомысленно тратившаго имѣніе жены для разныхъ Машей Чибисовыхъ.

Левинъ искренно увлекался лѣтними работами и тою близостью къ народу, которую онъ чувствовалъ, принимая самъ участіе въ его трудѣ. Но, въ сущности, онъ обманывалъ себя, и чѣмъ болѣе дѣлалъ онъ шаговъ въ этомъ обманѣ, тѣмъ вѣрнѣе приходилъ онъ къ его раскрытію. Чѣмъ сильнѣе онъ желалъ забыться въ этой непосредственной жизни, тѣмъ глубже вступалъ онъ въ ту область, которая сама есть источникъ любви и потому безъ нея немыслима. Чѣмъ болѣе, напримѣръ, удавались ему опыты косьбы, тѣмъ болѣе приближался онъ къ естественному состоянію зрѣлаго человѣка, который не можетъ жить только мыслями о хозяйствѣ и наукѣ, который, когда онъ здоровъ душой и крѣпокъ тѣломъ, ищетъ любви, которая сама есть источникъ жизни, здоровья и труда. Чѣмъ естественнѣе, нравственно-здоровѣе и добрѣе становился Левинъ, тѣмъ онъ не только не отдалялся, а напротивъ, приближался къ любви.

Но всего сильнѣе онъ чувствовалъ это тогда, когда видъ здоровой, трудовой и радостной общей жизни мужиковъ и прелестная идиллія Ваньки Парменова съ его молодою женою вдругъ, сразу, открыли ему, что сколько бы онъ ни занимался политическою экономіей и хозяйствомъ, онъ не можетъ этимъ восполнить одиночества и праздности своей холостой жизни. И первыя минуты онъ, увлекаясь идилліей Ваньки, думалъ избавиться отъ этого одиночества и враждебности къ народу женитьбой на крестьянкѣ и полнымъ отреченіемъ отъ дворянской и цивилизованной жизни.

Лежа всю ночь на копнѣ и обдумывая, какъ все это будетъ имъ сдѣлано, Левинъ, изъ-за своего тяжкаго чувства одиночества, изъ-за своего порыда слиться съ простою, столь противоположною его искусственной и эгоистической жизни, жизнью народа, нисколько не сознавалъ, что онъ нечувствительно для себя приблизился къ своей старой любви, снова приблизился къ Китти. Мысль о крестьянствѣ представлялась ему неясно; одно было для него несомнѣнно, это — то, что его одинокая жизнь и потому безцѣльная дѣятельность, оторванныя отъ жизни общей, были неестественны. Думая о крестьянкѣ, онъ въ душѣ любилъ снова Китти. И все кругомъ него — и копна, и лугъ, и высокое, таинственное небо, съ его неожиданно явившеюся чудною раковиной изъ бѣлыхъ облаковъ — все одѣлось въ ту новую прелесть обновленной поэзіи любви, которая безсознательно и безповоротно охватила его душу. И эта совсѣмъ особенная прелесть оживленной теперь его любовью природы подтверждала для него происшедшую въ немъ перемѣну.

Пожимаясь отъ утренняго холода, Левинъ вышелъ изъ луга. Онъ пошелъ по большой дорогѣ къ деревнѣ и скоро увидѣлъ, какъ ему навстрѣчу ѣхала карета.

„Въ каретѣ дремала въ углу старушка, а у окна, видимо только-что проснувшись, сидѣла молодая дѣвушка, держась обѣими руками за ленточки бѣлаго чепчика. Свѣтлая и задумчивая, вся исполненная изящной и сложной внутренней, чуждой Левину, жизни, она смотрѣла черезъ него на зарю восхода.

Въ то самое мгновеніе, какъ видѣніе это уже исчезло, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, и удивленная радость освѣтила ея лицо.

Онъ не могъ ошибиться. Только одни на свѣтѣ были эти глаза. Только одно было на свѣтѣ существо, способное для него сосредоточивать весь свѣтъ и смыслъ жизни. Это была она. Это Китти... И все то, что волновало Левина въ эту ночь, всѣ тѣ рѣшенія, которыя были приняты имъ, — все вдругъ исчезло. Онъ съ отвращеніемъ вспомнилъ свои мечты о женитьбѣ на крестьянкѣ. *Тамъ только, въ этой быстро удалявшейся и перепхавшей на другую сторону каретѣ, — тамъ только была возможность разрѣшенія столь мучительно тяготившей его въ послѣднее время загадки его жизни.*

Она не выглянула больше. Звукъ рессоръ пересталъ быть слышенъ, чуть слышны стали бубенчики. Лай собакъ показалъ, что карета проѣхала и деревню, и остались вокругъ пустыя поля, деревня впереди и онъ самъ — одинокій и чужой всему, одиноко идущій по заброшенной большой дорогѣ.

Онъ взглянулъ на небо, надѣясь найти тамъ ту раковину, которою онъ любовался и которая олицетворяла для него весь ходъ мыслей и чувствъ нынѣшней ночи. На небѣ не было болѣе ничего похожаго на раковину. Тамъ, въ недосягаемой вышинѣ, совершилась уже таинственная перемѣна. Не было и слѣда раковины, а былъ ровный, разстилавшійся по цѣлой половинѣ неба коверъ все умельчающихся и умельчающихся барашковъ. Небо поголубѣло и просіяло, и съ тою же нѣжностью, но и съ тою же недосягаемостью отвѣчало на его вопрошающій взглядъ. „Нѣтъ, — сказалъ онъ себѣ, — какъ ни хороша эта жизнь простая и трудовая, я не могу вернуться къ ней. Я люблю *ее*“.

Такъ незамѣтно оба они — и Китти и Левинъ — приблизились другъ къ другу. Но недоставало случайности для новой встрѣчи, которая со стороны Левина не могла быть намѣренною, особенно послѣ безтактныхъ опытовъ Долли. И потому наружно все оставалось по-старому.

Внутренно же Левинъ не могъ къ нему уже возвратиться. Когда разобщеніе съ народомъ такъ ясно представилось ему теперь, при охватившей его потребности жить не для себя одного, его прежнее хозяйство потеряло въ его глазахъ всякій смыслъ и стало ему ненавистно. Ему казалось, что онъ изобрѣтаетъ новыя формы испольнаго хозяйства, при которыхъ устраняется прежнее разъединеніе хозяина и рабочихъ и является общность интересовъ; ему казалось, что онъ бу-

детъ жить теперь для этого общаго дѣла, а въ дѣйствительности это было лишь новымъ внѣшнимъ покровомъ для всеразвивавшейся дѣятельности сердца, увеличивавшей для него невозможность его духовно-безпочвенной и одинокой жизни безъ любви.

И то, что самому ему было неясно, отлично понимала его старушка-няня. На его разговоры о новомъ хозяйствѣ Агаѳья Михайловна, съ сознаніемъ совершенной логической послѣдовательности, отвѣчала: „Жениться вамъ надо, вотъ что!“ Пріѣздъ умирающаго брата довершилъ въ Левинѣ это сознаніе несостоятельности его послѣдніе дни доживающей, одинокой жизни, ея близости къ внутренней смерти, и мысль о смерти и физической также охватила душу Левина. Все погрузилось въ безысходную темноту. И жить въ этой темнотѣ и близости къ смерти можно было лишь ухватившись изъ послѣднихъ силъ за единственно оставшееся ему отвлеченно-хозяйственное дѣло. Чтобы уяснить себѣ его и разсѣяться, Левинъ уѣхалъ за-границу.

Когда онъ, освѣженный поѣздкой и изученіемъ рабочаго вопроса на Западѣ, вернулся въ Россію и въ Москвѣ, на обѣдѣ у Облонскаго, случайно встрѣтился съ Китти, ихъ внутренно давно уже происшедшее сближеніе выяснилось для обоихъ окончательно, и онъ сталъ женихомъ давно любимой имъ дѣвушки.

Прошло три мѣсяца послѣ ихъ свадьбы, и Левинъ уже иначе относился къ своей дѣятельности. „Онъ продолжалъ свои занятія, но чувствовалъ теперь, что центръ тяжести его вниманія перешелъ на другое, и что вслѣдствіе этого онъ совсѣмъ иначе и яснѣе смотритъ на дѣло. Прежде дѣло это было для него спасеніемъ отъ жизни, а не дѣломъ. Теперь онъ былъ прочно связанъ съ жизнью любовью къ женѣ, и дѣятельность его очистилась отъ посторонняго и несвойственнаго настоящему дѣлу оттѣнка убѣжища отъ личнаго несчастія и сердечной пустоты. Но онъ не сразу привыкъ къ этому новому состоянію. Долго казалось оно ему неестественнымъ. „За что именно мнѣ такое счастіе? — говорилъ онъ Китти. Не натурально. Слишкомъ хорошо“, — сказалъ онъ, цѣлуя ея руку. Китти думала объ этомъ иначе, по-своему, непосредственно по-женски. „Мнѣ, напротивъ, чѣмъ лучше, тѣмъ натуральнѣе“, отвѣтила она мужу весьма основательно.

Узелъ, связывавшій теперь Левина съ жизнью, былъ такъ крѣпокъ, что даже видъ смерти любимаго брата и мысль о собственной своей смерти не могли уничтожить въ Левинѣ потребность жизни и любви. „Онъ чувствовалъ, что любовь спасаетъ его отъ отчаянія, и что любовь эта подъ угрозой отчаянія становилась еще сильнѣе и чище. Не успѣла на его глазахъ совершиться одна тайна — смерти, оставшаяся неразгаданною, какъ возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая къ любви и жизни". Китти была беременна.

Когда мы потомъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, встрѣчаемся лѣтомъ съ Левиномъ у него въ деревнѣ, мы не замѣчаемъ въ немъ уже никакихъ сомнѣній. Онъ на время погрузился вполнѣ въ свою любовь къ Китти и ихъ будущему ребенку. Левинъ ни о чемъ себя не спрашиваетъ и безотчетно предается своему счастію. Сомнѣнія еще вернутся къ нему. Но когда они явятся, они найдутъ Левина уже инымъ. Любовь и семья окажутся въ немъ тогда уже глубоко пустившими корни и незамѣтно привязавшими его къ жизни глубже, чѣмъ лежалъ источникъ сомнѣній. Когда они снова къ нему возвратятся и мучительно его охватятъ, въ немъ уже окажется созрѣвшею та сила духовнаго чутья и непосредственной жизненности, которыя преодолѣютъ всѣ сомнѣнія окончательно, разрѣшатъ прежнюю дисгармонію въ полное внутреннее равновѣсіе и, уяснивъ ему тайну жизни, упрочатъ и его собственную жизнь уже навсегда.

Для родовъ Китти Левины переѣхали на время въ Москву. Тамъ Левинъ метался какъ угорѣлый, какъ рыба на льду, перейдя изъ привычныхъ формъ жизни въ несвойственную ему городскую обстановку, съ ея суетой, множествомъ народа, отсутствіемъ природы и условными формальностями общественныхъ отношеній, такъ тяготившихъ привыкшаго къ деревенской безыскусственности Левина. Онъ былъ правъ, полагая, что городская жизнь есть искусственное созданіе человѣческихъ отношеній; это было такъ же вѣрно, какъ и то, что въ городѣ нѣтъ природы, нѣтъ лѣсовъ и полей, а есть каменные дома, изъ-за которыхъ иногда и неба не видно. Левинъ былъ правъ, думая, что стихійная жизнь сельскаго народа яснѣе выражаетъ общія постоянныя черты національнаго духа, чѣмъ городская, въ которой онѣ скрыва-

ются за сложными и разнообразными видоизмѣненіями моды— въ широкомъ значеніи этого слова, т.-е. въ смыслѣ быстро смѣняющихся фазъ общественной исторіи. Но, кромѣ всего этого, въ чемъ Левинъ былъ правъ, были еще другія, личныя уже, обстоятельства. Въ центрѣ умственной жизни, гдѣ люди болѣе живутъ разсудочною жизнью, нежели стихійнымъ началомъ непосредственнаго чувства, натура Левина должна была чувствовать себя дико и безпріютно. Онъ не зналъ, къ чему тамъ приложить привычныя силы своей своеобразной личности и, совсѣмъ не подходя подъ тонъ людей, живущихъ частью отвлеченіемъ, частью механизмомъ общественныхъ отношеній, чувствовалъ себя подавленнымъ въ этой туманной для него атмосферѣ и занимался безцѣльнымъ убиваніемъ времени, какъ бѣлка, вертящаяся въ колесѣ клѣтки, и часто дѣлалъ даже прямыя глупости.

Рожденіе сына и страхъ за жену вывелъ его изъ этой душевной недѣятельности. Значительность этого событія его жизни — рожденія живого существа — была освѣжающимъ потрясеніемъ, обратившимъ его душу снова на созерцаніе таинственныхъ глубинъ жизни. Передъ нимъ была возможность смерти жены и появленіе новаго существа, и душа его напряглась, чтобы постигнуть чувствомъ эти двѣ родственныя тайны.

„Онъ зналъ и чувствовалъ только, что то, что совершилось, было подобно тому, что совершалось годъ тому назадъ въ гостиницѣ губернскаго города на одрѣ смерти брата Николая. Но то было горе, эта была радость. *Но и то горе и эта радость были* одинаково внѣ всѣхъ обычныхъ условій жизни, были *въ этой обычной жизни какъ будто отверстія, сквозь которыя показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцаніи этого высшаго, поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда разсудокъ уже не поспѣвалъ за нею*“.

Это что-то высшее, открывавшееся изъ-за отверстій, были вѣчные законы человѣческой жизни, связывающіе отдѣльнаго человѣка съ другими и съ остальнымъ мірозданіемъ. Душа возвышается до этихъ оконъ въ широкую, внѣличную природу лишь при зрѣлищѣ важнѣйшихъ и вмѣстѣ таинственнѣйшихъ событій личной жизни — рожденія, брака и

смерти. Въ обыденныхъ условіяхъ человѣкъ чувствуетъ себя всегда независимымъ и отдѣльнымъ отъ остального міра Въ обыденныхъ условіяхъ онъ сознаетъ свою связь съ опредѣленными живыми людьми и лишь внѣшнюю зависимость отъ явленій природы, доступныхъ его воздѣйствію, — онъ чувствуетъ обыкновенно лишь внѣшнюю съ ней связь. Но когда онъ присутствуетъ и участвуетъ духомъ въ такихъ событіяхъ своей жизни, которыя подчинены законамъ общимъ для всѣхъ людей, — такимъ законамъ, которые связываютъ его существованіе со всѣмъ остальнымъ твореніемъ, — онъ непосредственно чувствуетъ эту таинственную, но несомнѣнную связь, скрывающуюся обыкновенно отъ непосредственнаго чувства. Таковы рожденіе и смерть близкихъ, такова собственная смерть, такова та степень любви, которая ведетъ къ браку, къ семьѣ, къ созданію новыхъ существъ, „которыхъ никогда прежде не было и которыя такъ же, съ тѣмъ же правомъ, съ тою же значительностью для себя, будутъ жить и плодить себѣ подобныхъ“. Обыкновенно, когда личная жизнь не приводитъ человѣка въ непосредственную связь съ жизнью всей природы, ея общіе и вѣчные законы представляются лишь съ тою неполнотой гипотетичности и отвлеченности, какая доступна теоретическому сознанію. И если оно необходимо для сознательно живущаго человѣка, если оно возвышаетъ умъ до сознательнаго общенія въ мысли съ существованіемъ общества, народности, ея исторіи и всего человѣчества, всей природы, то все же это теоретическое общеніе очень неустойчиво и непрочно, склонно къ сомнѣніямъ, къ самоотрицанію, къ отложенію мысли отъ общей жизни природы. Но когда сомнѣвающееся и отрицающееся жизни сознаніе отъ теоретическаго представленія переходитъ къ непосредственному созерцанію своей связи съ природой, ея вѣчными законами и таинственными цѣлями, тогда сомнѣнію и отрицанію жизни уже нѣтъ мѣста.

Одинокій въ теоріи умъ можетъ сомнѣваться въ цѣлесообразности своего существованія; но сомнѣніе исчезаетъ, когда сознанію открывается непосредственная связь его съ природой. Теоретически можно сомнѣваться въ движеніи; но достаточно встать и сдѣлать нѣсколько шаговъ кругомъ бочки, чтобы сомнѣніе въ возможности движенія исчезло

безвозратно. Теоретически Левинъ могъ сомнѣваться въ томъ, что его личная жизнь была не простая случайность, отказаться отъ которой, ради ея безцѣльности и зла, лежало въ его власти. Но сомнѣніе стало для него невозможнымъ, когда онъ почувствовалъ себя самого участникомъ въ твореніи жизни и увидѣлъ на себѣ и черезъ себя ея вѣчные законы, открывшіеся его взору въ творческой силѣ его любви, какъ микроскопической частицѣ той силы, которая создала его, всѣхъ его окружающихъ и весь остальной міръ, и дала имъ законъ естественнаго существованія, законъ добра, и которая его самого тѣмъ самымъ сдѣлала участникомъ вѣчной жизни природы, поставила ему вѣчную цѣль — созерцанія, храненія и развитія вѣчныхъ законовъ добра.

Новыя, болѣе прочныя и глубокія связи Левина съ жизнью усилили въ немъ потребность и создали почву для положительнаго рѣшенія тѣхъ высшихъ вопросовъ жизни, которымъ его прежній позитивизмъ отказывался дать объясненіе.

Душа мучительно и настойчиво ждала отвѣта. Позитивизмъ никакого отвѣта не давалъ. И разъ позитивизмъ оказался неудовлетворительнымъ, его свѣтъ въ глазахъ Левина долженъ былъ немедленно померкнуть, и его теоріи должны были представиться Левину въ ихъ истинномъ, жалкомъ значеніи. Левинъ увидѣлъ, что эти теоріи — не больше какъ игрушка, дающая забаву пресыщенному и самодовольному паразиту, но неспособная хотя бы на минуту утолить голодъ истинно алкающаго правды человѣка.

Отвергнувъ позитивизмъ, Левинъ еще менѣе могъ остановиться на ученіи кого-либо изъ систематиковъ догматической трансцендентальной философіи. Непосредственное чувство каждый разъ воздерживало его отъ соблазна, подсказывая вѣрно, что высокіе, грандіозные и все же хрупкіе своды этихъ воздушныхъ системъ не имѣютъ фундамента, что эти величественныя и въ то же время жалкія постройки — только созданіе логически-условной архитектуры разсудочнаго отвлеченія, безсильнаго воспроизвести истинные законы и истинное созерцаніе жизни. „Вся эта искусственная постройка заваливалась какъ карточный домикъ, и ясно было, что *постройка была сдѣлана изъ тѣхъ же переставленныхъ*

словъ независимо отъ чего-то болѣе важнаго въ жизни, чѣмъ разумъ".

Эти послѣднія слова и точка ихъ зрѣнія представляются раціоналистической критикѣ послѣднимъ ничтожествомъ невѣжества и безсмыслія. „Разумъ понимается разумомъ, — говоритъ г. Станкевичъ,— а для Левина онъ не могъ быть непонятнымъ; нужно же ему было понять нѣчто болѣе важное, что̀ понимается не разумомъ. Задача была въ самомъ дѣлѣ трудная — уразумѣть не разумное и понять его безъ разума!"

Эти язвительныя слова *переставлены* дѣйствительно ловко, съ мастерствомъ достойнымъ лучшаго дѣла. Чтобы вѣрно и сразу оцѣнить достоинство лежащей въ нихъ тонкости діалектическаго сцѣпленія, нужно прежде всего устранить софистическую путаницу фразъ, на которой оно основано.

Левинъ разумомъ называетъ то, что̀ въ дѣйствительности есть только разсудокъ, и потому относится такъ отрицательно не къ разуму, а къ разсудочной логикѣ. А г. Станкевичъ впадаетъ въ ту же ошибку, только съ другой стороны, сложное понятіе разума отождествляя съ одною лишь логическою механикой сознанія, и потому, подымая перчатку, брошенную Левинымъ, защищаетъ въ дѣйствительности честь не разума, а разсудочнаго начала — раціонализма.

Разумъ есть разговорный синонимъ психологическому термину сознанія, которое само и отражаетъ и созерцаетъ дѣятельность равно и логической мысли и непосредственнаго чувства. Первый ингредіентъ, матеріалъ сознанія, мы въ разговорномъ языкѣ называемъ разсудкомъ, второй — сердцемъ. Разумъ же обнимаетъ собою обѣ эти сферы духовной жизни человѣка. И споръ между поэтическимъ Левинымъ и раціоналистическимъ критикомъ сводится въ сущности къ тому, что Левинъ справедливо считаетъ разсуждающую силу сознающаго разума ограниченною, неспособною проникнуть въ глубины жизненной тайны, и потому отдаетъ предпочтеніе и всѣ надежды возлагаетъ на сердце, развитію и познающей силѣ котораго природой не положено никакого предѣла; тогда какъ г. Станкевичъ исходитъ изъ обратнаго убѣжденія, признающаго чутье непосредственно чувствующаго сердца однимъ лишь случайнымъ, слѣпымъ и

темнымъ инстинктомъ, безправнымъ предъ свѣтлымъ лицомъ разсудочной мысли.

Какъ это всегда бываетъ въ жизни, такъ и тутъ различное толкованіе идей есть лишь одно изъ проявленій разницы въ общемъ направленіи мнѣній и рождающаго ихъ различія психической организаціи. Художественная почва мнѣній Левина слишкомъ противоположна разсудочному источнику идей критика-раціоналиста. Отсюда одному въ другомъ все должно казаться страннымъ и ограниченнымъ, и наоборотъ.

Одно изъ такихъ наиболѣе общихъ различій замѣтно въ отношеніяхъ Левина и г. Станкевича къ изученію философскихъ системъ. Левину это изученіе не могло дать ничего положительнаго, особенно изученіе той системы, которая съ наименьшимъ правомъ присвоила себѣ это претенціозное имя. Левинъ видѣлъ въ нихъ только тонкую діалектику голаго разсудка съ жалкимъ и ужаснымъ безплодіемъ отрицанія въ результатѣ. Раціоналистическій критикъ, наоборотъ, полагаетъ, что для Левина, какъ и для всѣхъ, изученіе философскихъ системъ „могло быть плодотворно при необходимомъ условіи пониманія и дѣятельности послѣдовательной мысли, а этого условія въ Левинѣ не было“.

Когда я слышу въ обществѣ затасканную фразу о томъ, что гр. Л. Н. Толстой, будучи геніальнымъ художникомъ, не надлежаще вторгается въ чуждую ему область отвлеченнаго мышленія и тамъ являетъ жалкое подражаніе воронѣ въ павлиныхъ перьяхъ, я ничуть не бываю огорченъ. Я равнодушенъ къ этому безсмысленному мнѣнію прежде всего потому, что въ душѣ считаю гр. Толстого тѣмъ, что̀ есть неизмѣримо больше и лучше, чѣмъ самый великій художникъ или философъ. Я убѣжденъ что гр. Толстой — *человѣкъ*, и человѣкъ въ такихъ предѣлахъ, что немногіе могли и могутъ съ нимъ сравниться. И въ этомъ человѣкѣ, котораго душу я вижу или, по крайней мѣрѣ, стараюсь видѣть въ цѣломъ, не отдирая отъ нея ничего по кусочкамъ, я никакъ не могу отдѣлить его глубокой мысли отъ его глубочайшаго чувства. Онъ для меня художникъ и мыслитель, и я только счастливъ, что и то и другое исчезаетъ у него совершенно въ его человѣкѣ, который такъ необыкновенно далекъ отъ всѣхъ профессіональныхъ названій — и заправскаго поэта съ поэзіей

безъ мысли, и патентованнаго философа съ ужасно умною и послѣдовательною системой догматическою въ двадцати пяти томахъ и безъ одной страницы живого человѣчнаго чувства.

Тѣмъ болѣе — Левинъ. Левинъ — помѣщикъ съ поэтическою натурой, просто человѣкъ который живетъ, искренно чувствуя и искренно размышляя, не претендуя на патентъ поэта, философа, критика. Поэтому Левину не было надобности высказывать свои мнѣнія объ исторіи философіи подробно, что̀ въ художественномъ произведеніи, къ тому же, было бы по крайней мѣрѣ неумѣстно: довольно, что въ романѣ показано настроеніе, характеръ отношенія, источникъ и точка его зрѣнія. Въ настоящее время не для кого изъ образованныхъ людей не составляетъ новости, что философія не разъяснила и никогда не разъяснитъ тайнъ жизни; что хотя разсудокъ вѣчно будетъ стремиться къ этому высшему познанію, но для него доступъ туда закрытъ навсегда, и что поэтому разсудочная мысль человѣка есть безвыходный кругъ, который не можетъ быть ни прерванъ ни законченъ.

Въ этомъ теперь согласны люди самыхъ различныхъ направленій. Такъ полагаютъ позитивисты и успокоиваются на этомъ признаніи, и прилагаютъ разсудочныя силы къ изученію второстепенныхъ вопросовъ человѣческаго знанія. Такъ думаютъ тоже и противники позитивизма, какъ бы мы ихъ ни называли, но не могутъ удовлетвориться отрицательнымъ результатомъ разсудочной философіи и пытаются вопросить другой источникъ истины — непосредственное чувство.

Къ числу послѣднихъ принадлежитъ и Левинъ. Онъ иногда не умѣетъ выражаться: такъ, онъ неправильно употребляетъ слово *разумъ*, въ дѣйствительности понимая подъ нимъ лишь разсудочный видъ сознанія. Но самая его мысль о недостаточности послѣдняго, о существованіи для сознанія другого, неизмѣримо болѣе тонко и глубоко проникающаго орудія,— эта мысль Левина не представляетъ ничего безсмысленнаго и, въ своемъ основаніи ничего даже новаго. Въ сущности она такъ же стара, какъ и весь человѣческій міръ. Къ ней приближались, отъ нея удалялись, но она всегда существовала и ею всегда жили массы людей. На ней были построены первобытное и всѣ древнія міросозерцанія. Она лежитъ въ

основаніи всѣхъ существующихъ религій. Она живетъ до сихъ поръ и всегда будетъ жить въ большинствѣ людей. Всѣ поэты и художники говорили всегда ея языкомъ. И если она явилась на устахъ поэтическаго Левина, то здѣсь ровно ничего нѣтъ удивительнаго и тѣмъ болѣе ничего безсмысленнаго. Напротивъ, въ этомъ Левинѣ съ его мыслью есть глубочайшій смыслъ. Она — знаменіе времени, того поворота отъ индивидуализма и разсудочности къ религіозному міровоззрѣнію и христіанству, который каждый день и каждый часъ совершаетъ завоеванія на нашихъ глазахъ и надъ которымъ подтрунивать могутъ только очень близорукіе люди. *Громека.*

Полнота, вѣрность, правдивость и художественность мужскихъ и женскихъ образовъ, созданныхъ Толстымъ.

Толстой — одинъ изъ самыхъ величайшихъ творцовъ литературнаго образа человѣка какъ по вѣрности взгляда, благодаря которой онъ изображаетъ внутреннюю и внѣшнюю сторону своихъ дѣйствующихъ лицъ гораздо точнѣе, оригинальнѣе и подробнѣе своихъ предшественниковъ, такъ и по безсознательно, можетъ-быть, глубокому и удивительно ясному воззрѣнію на двѣ основныя черты всякой органической жизни и всякаго существованія, а именно — на богатство ихъ проявленій и на опредѣленное равновѣсіе между тѣмъ, что въ нихъ подлежитъ измѣненію, и тѣмъ, что неизмѣнно. Жизненность личностей проистекаетъ изъ врожденнаго русскому романисту пониманія всего возможнаго, всего человѣческаго; они постоянно представляются намъ такими живыми, обставляются такимъ обиліемъ описаній, изреченій, эпизодовъ, поступковъ, что нить ихъ дѣятельности намъ въ самомъ дѣлѣ кажется непрерывною и составляющею полный и роскошный свитокъ истинной жизни, той жизни, въ которой соблюдено тонкое равновѣсіе между ея самостоятельною дѣятельностью и тѣмъ, что въ ней является преходящимъ, случайнымъ, непослѣдовательнымъ. Истинно живой человѣкъ — это потокъ мыслей, волненій, движеній; чѣмъ шире онъ проявляетъ все это, тѣмъ лучше узнаешь его, тѣмъ яснѣе ощущаешь его существованіе; проявленія же эти тѣмъ болѣе будутъ истин-

ными и способными дать понятіе о человѣкѣ, чѣмъ болѣе въ нихъ, съ одной стороны тождества и подобія, изъ которыхъ и составляется понятіе о характерѣ, а съ другой — если они представляютъ медленныя или внезапныя измѣненія отъ возраста, положенія, мѣстности, измѣненія отъ нечаяннаго воздѣйствія событій и переворотовъ, оставляющихъ за собою долгій слѣдъ, и, наконецъ, отъ простой жизненной подвижности мыслей и чувствъ, которая то мгновенно, то постепенно изъ основныхъ началъ характера творитъ какъ бы новый.

Соблюденіе двухъ отвлеченныхъ условій, количества и распредѣленія данныхъ о дѣйствующихъ лицахъ и качества исключительно реальнаго, а именно продуманность и неоспоримость ихъ индивидуальности, показываетъ всю художественность характеристики Толстого. Ни одинъ авторъ не знакомитъ такъ полно и такъ роскошно съ имъ созданными и такъ правдиво очерченными образами; ни одинъ не проникается до такой степени цѣлью представить ихъ въ разсказахъ и сценахъ настолько вѣрныхъ жизни, насколько это возможно самому внимательному ея наблюдателю. Освободясь отъ заранѣе обдуманнаго развитія дѣйствія, отъ инстинктивнаго предпочтенія къ постепенному усиленію и прямолинейности разсказа, такъ обязательныхъ для англійскихъ и даже французскихъ авторовъ, пренебрегая удобствами читателя, русскій писатель допускаетъ длинноты и отступленія, ненужные, на первый взглядъ, эпизоды и повторенія, перемѣшиваетъ главы различнаго содержанія; даетъ не только множество страницъ съ описаніемъ главныхъ лицъ, но посвящаетъ вводнымъ обширные очерки и такимъ образомъ наполняетъ свое произведеніе толпою лицъ, вполнѣ описанныхъ и показанныхъ со всѣхъ сторонъ ихъ дѣятельности; мы узнаемъ ихъ біографіи, поприща, гдѣ они дѣйствовали, отрывки изъ ихъ жизни и ея болѣе замѣчательныя измѣненія; знакомимся далѣе со всѣми этими выдающимися сценами, этими такъ полно разсказанными эпизодами, со всѣми внезапными точными незабвенными явленіями, которыя чудный знатокъ и наблюдатель человѣческой природы возводитъ въ массу необыкновенно жизненныхъ образовъ.

Онъ одинаково естественно рисуетъ и городскую толпу и молчаливое, полное рѣшимости воодушевленіе войскъ нака-

нунѣ битвы, душевное настроеніе батарейной прислуги и офицеровъ подъ огнемъ или полка во время смотра, такъ-же какъ и нравственную атмосферу административнаго кабинета, военнаго совѣта, дипломатическаго или свѣтскаго салона, болтовню отряда плѣнныхъ или толпы ребятъ. Но геніальность Толстого отличается не только этимъ непосредственнымъ творчествомъ и широтою произведеній. Другіе и до него набрасывали профессіи и рисовали картины, одинаково захватывающія; но унего нѣтъ соперника въ искусствѣ показывать цѣлыя жизни, въ искусствѣ, мало-по-малу накопляя сцены, разсказы, замѣтки, воспроизводить человѣка со всѣми его порывами, отступленіями, разнообразіемъ, со всѣми ему одному присущими особенностями, на пути всей его жизни.

Чтобы лучше выяснить характеры своихъ дѣйствующихъ лицъ, которыхъ онъ долго изучаетъ, Толстой не останавливается ни передъ какими способами.

Всѣ пріемы для него хороши, лишь бы сдѣлать живыми выведенныя имъ личности: и пріемы драматурговъ, которые выясняютъ своихъ дѣйствующихъ лицъ положеніями, дѣйствіями, словами, и монологи, въ родѣ Стэндаля и личное вмѣшательство и разговорная форма романистовъ-идеалистовъ. Вронскій, Левинъ, Анна, въ „Аннѣ Карениной“; князь Андрей, графъ Пьеръ, Наташа, Николай Ростовъ въ „Войнѣ и Мирѣ“, исповѣдуютъ, исповѣдуются, дѣйствуютъ, говорятъ, мыслятъ, свидѣтельствуютъ о своемъ существованіи такими многочисленными и характерными проявленіями, что личное знакомство съ ихъ жизнію не могло бы дать болѣе опредѣленнаго понятія о нихъ. Въ „Войнѣ и Мирѣ“ князь Андрей пылкій, остроумный и упорный, но надѣленный скрытой чувствительностью грустнаго мыслителя, переходитъ прямо отъ шума битвъ къ дѣятельнымъ разговорамъ въ политическихъ салонахъ, потомъ надолго удаляется въ свою деревню, увлекается нѣжною любовью, блуждаетъ въ лабиринтѣ отвергнутыхъ, но впослѣдствіи опять признанныхъ вѣрованій, принимаетъ участіе въ тысячѣ историческихъ и частныхъ событій, волнуется безчисленными мыслями и впечатлѣніями до тѣхъ поръ, пока смертельно раненный въ продолженіе своей долгой агоніи, какъ бы черезъ разорвавшійся передъ нимъ занавѣсъ онъ провидѣлъ разрѣшенія всего его мучи-

вшаго и угасъ, словно отрѣшенный яснымъ пониманіемъ великаго отъ этой земли. Графъ Пьеръ, тяжелый, огромный, мясистый и чувственный, какъ животное, но глухо мучимый тѣми-же тревогами, влюбленный въ людей и разочаровавшійся въ нихъ, выбитый изъ своей колеи теософическими и философскими системами, которыя его поочередно привлекаютъ, подчиняется то потоку вѣрованій, то своимъ личнымъ наклонностямъ, и отуманивается грубою чувственностью своихъ товарищей по клубу до тѣхъ поръ, пока во время волненія Москвы онъ, чуя вокругъ себя смерть, увлеченный толпой не присоединяется къ ней; между плѣнными, въ число которыхъ онъ попалъ, Пьеръ встрѣчаетъ бѣдняка, кроткаго солдатика-мужика, который нѣсколькими простыми, исполненными доброты словами утѣшаетъ и успокаиваетъ его навсегда. Изъ этой бѣды Пьеръ выходитъ почти исцѣленнымъ, счастливо женится, хотя въ умѣ его, еще мало развитомъ, но способномъ увлекаться политическими событіями, все-таки продолжается какая-то неурядица.

Съ тою-же проницательностью, вѣрностью, съ тѣмъ-же изобиліемъ дѣйствій, съ тою-же художественностью, какими онъ описываетъ людей своего пола, Толстой также безошибочно воплощаетъ женщинъ. Шаловливая, легкая и кроткая прелесть маленькой дѣвочки и молодой дѣвушки никогда не была представлена такъ изящно, какъ въ очаровательныхъ образахъ Наташи и Сони въ „Войнѣ и Мирѣ“. Первая особенно восхитительна своими шалостями, небольшими увлеченіями, граціей маленькой плясуньи, голоскомъ пѣвчей птички; вспомните ея первый балъ, ея полное, здоровое, нѣжное участіе въ жизни своей семьи, ея ласки, ея ошеломляющіе разговоры съ матерью, ея первую любовь къ князю Андрею, неожиданное наступленіе скуки, нездоровье; затѣмъ извращенный изступленный порывъ страсти, разлучившей ее съ женихомъ; потомъ грусть — грусть подобная грусти измятаго растенія, возвращеніе къ жизни и трогательную встрѣчу съ возлюбленнымъ, уже замолкнувшимъ отъ приближенія смерти, когда въ великую минуту его предсмертной агоніи она садится у ногъ его и затихаетъ. Конечно, Анна Каренина не уступаетъ ей; честная, красивая женщина, созрѣвшая для высокой любви, съ немного блуждающими глазами, она на балу встрѣчаетъ Вронскаго, и то от-

давaясь чувству къ нему, то, удерживаясь, компрометируетъ себя, и, наконецъ, бѣжитъ съ своимъ любовникомъ; съ этой минуты, охваченная неизбѣжнымъ болѣзненнымъ чувствомъ человѣка, неувѣреннаго въ своемъ единственномъ благѣ, влача съ этимъ, впрочемъ, деликатнымъ человѣкомъ ужасное существованіе женщины — преступницы, губя себя своею же неувѣренностью, тщетно ища вокругъ себя поддержки, она, наконецъ, кончаетъ лихорадочнымъ самоубійствомъ. Въ романѣ, гдѣ образовывается героиня этой кипучей жизни, можно прослѣдить ту-же мелочную работу, которая вводитъ множество второстепенныхъ лицъ при изображеніи главныхъ. Вронскій и Левинъ описаны въ продолженіе довольно долгаго періода ихъ жизни со всѣми ея безчисленными подробностями: Вронскій, человѣкъ современный, прекрасной наружности, изящный, съ немного тяжеловатымъ умомъ, но благородный, постоянный, нѣжный, достойный любви и иногда возвышающійся до несвойственныхъ его кругу общечеловѣческихъ вопросовъ; Левинъ — менѣе блестящій, но болѣе простой и глубокій человѣкъ; онъ подробно описанъ, начиная отъ его занятій какъ деревенскаго барина, до мучительныхъ исканій цѣли и смысла жизни. Каждое изъ этихъ первенствующихъ лицъ точно такъ же, какъ и другія о которыхъ мы здѣсь не упоминаемъ, появляются въ такомъ живомъ и въ такомъ безпрерывномъ рядѣ все новыхъ и новыхъ происшествій, что ихъ появленіе вызывается какъ будто не ходомъ разсказа, а въ силу ощущаемой авторомъ необходимости показать ихъ или, если можно такъ выразиться, въ силу ихъ собственной потребности проявленія; и вотъ вслѣдствіе такого постояннаго присутствія ихъ передъ вами, вы и признаете ихъ за несомнѣнно существующихъ. Въ противоположность романистамъ-идеалистамъ, Толстой при созданіи своего произведенія осуществляетъ одинъ изъ главныхъ законовъ жизненности образовъ и живого воспроизведенія: онъ понялъ и сумѣлъ показать, что полное описаніе человѣка нельзя дѣлать въ ограниченныхъ рамкахъ нѣсколькихъ связныхъ драматическихъ событій, въ границахъ одного дѣйствія, потому что дѣйствіе, центромъ котораго является человѣкъ, выходитъ изъ этихъ границъ силою физическихъ или психическихъ явленій, что человѣкъ, одинъ — болѣе, другой — менѣе, но всегда полный, всесторонній, разъединенный микро-

космъ безконечныхъ разновидностей. И романъ такимъ образомъ, если въ немъ хотятъ дать изображеніе жизни со всѣмъ, что въ ней увлекательнаго и важнаго, должно-быть подобно жизни сложнымъ, обильнымъ, пространнымъ. Произведеніе, построенное на основаніяхъ этого глубокаго и яснаго воззрѣнія, потеряетъ во внѣшней отдѣлкѣ, въ искусственномъ сосредоточеніи эффектовъ, въ кажущемся единствѣ характеровъ; зато въ отношеніи изображенія, оно можетъ возвыситься до потрясающей правдивости, до разнообразія оттѣнковъ истинныхъ событій, истинныхъ людей, до такой степени, что выкажетъ тоже богатство контрастовъ и оттѣнковъ развитія, какъ и сама природа, которая, такъ же, какъ и человѣкъ, въ концѣ-концовъ составляетъ только центры отраженія подъ извѣстнымъ угломъ всего мірозданія, являясь въ то же время его частицами.

Самые же углы разнообразятся и частицы измѣняются и исчезаютъ постепенно или сразу въ силу новыхъ воздѣйствій, которыми довершается связь каждаго съ цѣлымъ міромъ. Сообразно со временемъ и съ мѣстомъ, съ толчкомъ, даннымъ какимъ-либо обстоятельствомъ, съ однимъ словомъ или дѣломъ, въ зависимости еще отъ самыхъ скрытыхъ внутреннихъ впечатлѣній, отъ неустановившагося равновѣсія, отъ тайныхъ движеній крови и мыслей, дѣйствующія лица Толстого измѣняются, разнообразятся, проходятъ и скрываются, подобно волнамъ, форму которыхъ измѣняетъ и порывъ вѣтра, и взаимное столкновеніе, и высота берега, о который онѣ разбиваются. Ни у одного изъ нашихъ писателей, стоящихъ на той же высотѣ, какъ Толстой, ни у Бальзака, ни у Стэндаля, ни у Флобера, хотя они, въ особенности послѣдній, и сознавали, что человѣчество преходяще, не обозначается однако же такъ мастерски минованіе лѣтъ въ теченіе жизненнаго пути. Благодаря длиннымъ періодамъ времени, которые захватываетъ Толстой, его дѣйствующія лица, подобно деревьямъ, вырастаютъ, разрастаются и погибаютъ; появляются, сіяютъ, меркнутъ и потухаютъ. Романистъ находится, повидимому, въ самомъ круговоротѣ волнъ и слѣдитъ за ихъ медленнымъ движеніемъ,—которое укрѣпляетъ и разрушаетъ скалы, вызываетъ къ жизни и губитъ растенія, возвращаетъ и старитъ животныхъ, превращаетъ дѣтей въ юношей, доводитъ живую и увлекаю-

щуюся молодежь до возраста положительныхъ эгоистическихъ рѣшеній; заглушаетъ дарованія, засушиваетъ мужчинъ и женщинъ или заставляетъ ихъ мало по малу перейти въ болтливую или озлобленную старость и влечетъ ихъ, такимъ образомъ, отъ рожденія къ смерти, принося то мелкія выигрыши, то невозвратныя потери. Ни въ „Войнѣ и Мирѣ“, ни въ „Аннѣ Карениной“, нѣтъ, собственно говоря, ни драматическаго ни психологическаго сюжета; они не представляютъ, такъ называемаго, анализа извѣстнаго состоянія души, или изученіе какой-либо страсти, способности или происшествія; они заключаютъ самую жизнь, цѣлую жизнь многочисленной группы людей во всѣхъ возрастахъ, проведенныхъ шагъ за шагомъ въ теченіе 20-ти лѣтняго періода ихъ жизни, вплоть до конца ея крупныхъ событій. Вотъ, напримѣръ, въ послѣдней изъ этихъ книгъ, княжна Китти Щербацкая, сначала простая молодая дѣвушка, веселая, любящая, потомъ разочарованная, больная, охваченная болѣзненной религіозностью, затѣмъ увлеченная новою любовью, дѣлается обыкновенной, нѣжной женщиной, затѣмъ матерью, и, наконецъ, заключается мало по малу въ узкій кругъ домашнихъ радостей и заботъ;— или различные періоды постепеннаго развитія страсти Анны Карениной по мѣрѣ увяданія ея лучезарной красоты. Возьмите Вронскаго, Левина, — всѣ личности этого многолюднаго романа живутъ въ самомъ истинномъ и строгомъ значеніи этого слова, проходятъ, возвышаются и увядаютъ, увлекаемыя медленнымъ потокомъ перемѣнъ, наполняющихъ основной фонъ ихъ жизни чрезвычайно причудливыми видоизмѣненіями. Это новое искусство представлять жизнь такою, какою она есть въ сущности, чѣмъ-то преходящимъ, протекающимъ, какимъ-то медленнымъ сгораніемъ угольевъ, принимающихъ тысячи видоизмѣненій и подергивающихся пепломъ; это искусство проявляется еще въ большемъ совершенствѣ въ великомъ твореніи Толстаго *„Война и Миръ“*; нѣтъ ничего болѣе чудно тождественнаго съ дѣйствительностью, какъ все усиливающееся и постепенно совершающееся преобразованіе характеровъ, всегда вѣрныхъ себѣ, но обновляющихся при каждомъ новомъ состояніи ихъ непрерывнаго развитія. Расцвѣтъ Наташи отъ ея очаровательныхъ глазокъ царицы-ребенка, до живой прелести смѣющагося удивленнаго взгляда молодой

дѣвушки, самой остроумной, самой животрепещущей, самой изящной, нѣжной, хорошенькой изъ всѣхъ встрѣчающихся въ книгахъ, ея заблужденіе въ страсти и гнетущая тоска идутъ на ряду съ постепеннымъ очерствѣніемъ стараго князя Болконскаго „самовластнаго“, строптиваго, впослѣдствіи бѣшено-сердитаго, выходящаго изъ себя благодаря излишней горячности и превратившагося на своемъ смертномъ одрѣ въ тихаго, боязливаго, разслабленнаго ребенка, нуждающагося въ посторонней помощи. Нѣтъ ничего такъ вѣрно схваченнаго, какъ постепенная возмужалость Николая Ростова, какъ его переходы отъ отроческой восторженности, робкаго великодушія, наивнаго и хвастливаго, къ пылкимъ страстямъ юности, къ спокойной женитьбѣ ради эгоистическихъ выгодъ, къ мирному пользованію ими и, наконецъ, къ практической жесткости зрѣлыхъ лѣтъ. Существуетъ ли что либо подобное высокому творчеству, давшему намъ въ исторіи графа Безухова — столь волнующійся психологическій образъ; несмотря на свою глубоко добрую и опечаленную душу, онъ предается всѣмъ кутежамъ, всѣмъ соблазнамъ, предъявленнымъ умомъ, и свѣтскимъ развлеченіямъ, и вину, и мысли о принесеніи героической жертвы отечеству, романтической любви; и такимъ образомъ, онъ ограничиваетъ свои требованія къ обще-міровымъ вопросамъ и, не избавившись, впрочемъ, отъ нѣкоторыхъ политическихъ утопій, довольствуется въ концѣ концовъ простымъ супружескимъ счастьемъ и нѣсколькими туманными правилами, исходящими изъ доброй воли. Всѣ окружающія его дѣйствующія лица двигаются хотя сообразно его жизни, но по своимъ собственнымъ путямъ, увлекаемыя теченіемъ времени, подчиненныя грубому давленію событій, измѣняя мало по-малу непостоянный образъ своего существа, они представляютъ собою постоянное теченіе времени, въ которомъ жизнь проявляется тѣмъ, что каждое мгновеніе не похоже на прошедшее.

Эта метаморфоза происходитъ медленно, иногда однообразно; ее производятъ безмолвно уходящіе годы; но чаще всего перемѣна совершается сразу, явно; внезапные толчки, замѣченныя происшествія производятъ въ душѣ важныя и опредѣленныя измѣненія, рѣзкіе скачки, окончательныя рѣшенія, которыми по мѣрѣ ихъ исчезновенія отмѣчаются пе-

ріоды жизни, или, быть можетъ, это измѣненіе существа происходитъ отъ присущей душѣ подвижности, отъ колебанія ея полнаго равновѣсія, колебанія, произведеннаго внутренними потрясеніями, которыя затѣмъ повторяются въ безконечныхъ отголоскахъ.

Въ этомъ же произведеніи Толстой чудесенъ, когда описываетъ смущенное состояніе своихъ дѣйствующихъ лицъ, и выясняетъ это состояніе ихъ мимолетными или имѣющими рѣшающее значеніе привязанностями. Описываетъ ли впечатлѣніе произведенное пребываніемъ красавца-кавалериста въ деревенскомъ домѣ Балконскихъ на некрасивую цѣломудренную сестру-затворницу князя Андрея, изображаетъ ли глубокое волненіе, которое охватываетъ въ присутствіи того же счастливчика Наташу, уже невѣсту, но покинутую и готовую сломиться отъ безсильнаго желанія увидать своего отсутствующаго жениха; отмѣчаетъ ли странную радость Николая Ростова, когда онъ, проигравшійся въ карты, входитъ въ свою семейную гостиную и слышитъ, какъ сестра его поетъ и беретъ особенно чисто одну нотку, — всегда Толстой раскрываетъ чудесную способность человѣческой души подчиняться измѣнчивымъ формамъ окружающей его среды; въ болѣе высокомъ сопоставленіи случайностей, мы находимъ князя Андрея, опасно раненаго подъ Аустерлицомъ, который, упавъ, разсматриваетъ своимъ разсѣяннымъ взоромъ и человѣческую жестокость, и глубину вѣчнаго голубого неба, осѣнившаго съ высоты мирной безконечности своимъ безмолвнымъ сводомъ грохотъ и дымъ канонады; или еще графа Пьера, рѣшившагося убить Наполеона при его вступленіи въ Москву, и вотъ, когда онъ поглощенъ — этою кровавою мыслію, вдругъ, вслѣдствіе незначащаго разговора съ однимъ французомъ, теряя всю свою изступленную кровожадность и чувствуя себя опять охваченнымъ всѣми общественными связями. Въ „*Аннѣ Карениной*“, мы найдемъ другіе примѣры этого знанія психологическихъ кризисовъ, и того, какъ дѣйствуетъ вліяніе случайностей на человѣка; мы прослѣдимъ это отъ описанія нравственныхъ колебаній Левина до любовной интрижки, такъ легкомысленно завязанной между Сергѣемъ Ивановичемъ и Варенькой.

Все это тайны, исторгнутыя Толстымъ у жизни, для того, чтобы воспроизводить ее; онъ считаетъ ее сильною, дѣятель-

ною, до безконечности разнообразною и выразительною; онъ описываетъ ее движущуюся, переходящую по всѣмъ ступенямъ, необходимыхъ для того, чтобы организмъ состарился отъ времени; онъ изображаетъ ее непостоянною, капризно противодѣйствующею впечатлѣніямъ изъ внѣ, запечатленную всею нелогичностью, всѣмъ случайнымъ, неисчислимымъ, вытекающемъ изъ ея сложности, и онъ заимствуетъ ея волнообразную свободу.

И однако-жъ, каковы бы ни были подвижность, измѣнчивость и дряхлость безчисленныхъ и разнообразныхъ дѣйствующихъ лицъ Толстого, они непремѣнно остаются личностями постоянно вѣрными самимъ себѣ, обладающими такими строго опредѣленными присущими каждому изъ нихъ качествами, что ихъ нельзя ни замѣнить ни обобщить.

Какъ ни ставитъ онъ высоко свои образы, какъ ни поучительно, ни знаменательно ихъ поведеніе, если взять даже графа Пьера, Левина, солдата Каратаева, въ которыхъ сильнѣе всего замѣчается нравоучительный складъ писателя, всегда его дѣйствующія лица остаются личностями, сохраняющими свою постоянную сущность, сложную, своеобразную, неприложимую къ другимъ.

Авторъ тысячью случайныхъ чертъ создаетъ этихъ людей, которыхъ мы готовы возвести въ типы, такими реальными, вводитъ ихъ въ эпизоды, въ мелочныя приключенія, осложняетъ и разнообразитъ ихъ на всѣ лады, ставитъ ихъ безпрестанно въ противорѣчіе съ самими собою, однимъ словомъ не пользуется обычнымъ методомъ романтиковъ, задача котораго въ томъ, чтобы сдѣлать ихъ болѣе вѣроятными, обнаженными, но употребляетъ, такъ сказать, художественно историческій методъ, который сначала представляетъ личность какъ-бы существующей, потомъ разсказываетъ ея исторію, не пропуская никакихъ отступленій ни противорѣчій, могущихъ встрѣтиться въ ея жизни. Графъ Пьеръ, конечно, нѣкоторыми своими чертами представляетъ и русскаго и Россію, тяжеловатый, добрый, едва развитой, съ грубоватыми животными инстинктами, однако же, глухо волнуемый вопросомъ, какъ жить; но онъ также и обыкновенный кутила, восторженный поклонникъ въ идеѣ Наполеона и франкъ-масонства, человѣкъ застѣнчивый, неловкій, близорукій, влюбленный, съ нѣкоторымъ добродушіемъ относя-

щійся къ своимъ слугамъ, мужъ, у котораго сложились особенныя отношенія къ женѣ, то гнѣвный, то уступчивый. Точно также и Каратаевъ, этотъ ласковый, похожій на монаха солдатъ, воплотившій въ себѣ добродушіе русскаго народа, является человѣкомъ рѣзко оттѣненнымъ, съ опредѣленною личностью, съ большимъ смысломъ, но поступки котораго нельзя объяснить на основаніи какой-либо формулы. Поставьте рядомъ съ этими лицами всю массу мужчинъ и женщинъ, наполняющую романы Толстого, вспомните всѣ эти физіономіи изящныя, мужественныя, староватыя, почтенныя, благородныя, подлыя — отъ капитана Тимохина до Сони, отъ полковника Берга, до княжны Болконской; переберите въ своей памяти Каренину, Дрона, Долохова, князя Василія, княжну Эленъ и сравните ихъ съ обычными типами молодой дѣвушки, офицера, падшей женщины, управляющаго, игрока, чиновника, съ тѣми, какими ихъ создалъ, напримѣръ, Викторъ Гюго, — и вы сразу почувствуете различіе въ искусствѣ обоихъ художниковъ, то различіе, которое отдѣляетъ дѣйствительную, самостоятельно существующую личность, отъ фиктивнаго олицетворенія категорій людей, которые въ итогѣ не имѣютъ другой связи съ истинною жизнью, кромѣ имени, которымъ ихъ обозначили.

Произведеніе Толстого даетъ личности со всей сущностью ихъ характера, каждую въ своемъ родѣ, не имѣющую себѣ ничего подобнаго, не предполагающую никакого образца, не служащую ни для кого послѣднимъ; благодаря необыкновенному дару непосредственной наблюдательности, авторъ отмѣтилъ черты, отличающія ихъ и составляющія ихъ особенность, передалъ также превосходно и тѣ общія черты характеровъ, посредствомъ которыхъ они принимаютъ участіе въ жизни, передалъ безконечное число ихъ проявленій и измѣняемость этихъ проявленій сообразно времени и случая. Изъ этихъ-то отвлеченныхъ, холодныхъ законовъ и выходятъ, подобно урожаю изъ темной почвы, чудесные цвѣты души и жизни, составляющіе произведеніе Толстого.

Геннекенъ.

Сочиненія Толстого, какъ широкая и правдивая картина жизни прошлой и современной, и ихъ внѣшняя художественная форма.

„Дай только Богъ Толстому пожить, а онъ, я твердо надѣюсь, еще удивитъ насъ всѣхъ, это — талантъ первостепенный!“

Такъ писалъ Тургеневъ одному изъ своихъ друзей 29 октября 1854 года, когда будущій творецъ „Войны и Мира“, въ ту пору еще совсѣмъ молодой офицеръ, только что дебютировалъ въ литературѣ своимъ „Дѣтствомъ„ и „Отрочествомъ“. Художническое чутье не обмануло старшаго собрата: прошло всего какихъ-нибудь 10—20 лѣтъ, — и „первостепенный талантъ“, такъ ярко заявившій себя съ перваго шага, развернулся во всю свою необъятную ширь.

За „Дѣтствомъ“, „Отрочествомъ“, „Юностью“ послѣдовалъ рядъ небольшихъ разсказовъ изъ мирной, затѣмъ — изъ военной жизни, близкой автору: отрывки севастопольской эпопеи, картины боевой „страды“ на Кавказѣ... все это были произведенія, еще не имѣвшія себѣ ничего подобнаго въ нашей литературѣ по свѣжести, правдивости, выразительности; но они были не больше, какъ „пробами пера“, подготовительными этюдами для единственнаго во всемірной литературѣ повѣствованія — „Война и Миръ“, которое сразу поставило имя „великаго писателя земли русской“ на недосягаемую высоту. Продолженіемъ „Войны и Мира“, какъ извѣстно, должны были служить „Декабристы“; но авторъ оставилъ первоначальный замыселъ и сразу перешагнулъ изъ исторіи въ современность въ „Аннѣ Карениной“. Заключительныя главы этого романа уже заключаютъ въ себѣ программу всѣхъ позднѣйшихъ произведеній Толстого, — до самаго послѣдняго времени.

Такова, въ самыхъ крупныхъ чертахъ, литературная дѣятельность Толстого, продолжающаяся уже болѣе сорока пяти лѣтъ*). Въ задачу настоящаго очерка не входитъ подробный анализъ произведеній писателя, всѣмъ извѣстныхъ и памятныхъ; послѣ всего, что писано о Толстомъ и въ Россіи и

*) Статья написана въ 1898 году.

за границей, это представлялось бы безполезнымъ, такъ какъ, конечно, нѣтъ ни одного сколько нибудь образованнаго человѣка, который бы не читалъ и не перечитывалъ много разъ каждую страницу сочиненій Толстого и не былъ бы знакомъ съ тѣми мнѣніями, какія высказывались о немъ критикой. Мы хотѣли бы попытаться передать только общее впечатлѣніе, вызываемое изученіемъ писателя, намѣтить его существенныя, характерныя особенности, подѣлиться тѣми мыслями, которыя остаются въ умѣ и на сердцѣ послѣ каждаго прикосновенія къ страницамъ геніальнаго художника и оригинальнаго мыслителя.

Прежде всего — сочиненія Толстого, во всей своей совокупности, отъ самыхъ раннихъ до послѣднихъ, представляются, какъ одно громадное цѣлое (громадное не объемомъ, а содержаніемъ), поражающее своею огромностью, массивностью и чрезвычайнымъ разнообразіемъ, точно средневѣковой соборъ, снизу до верху покрытый безчисленнымъ количествомъ скульптурныхъ фигуръ, орнаментовъ и надписей. И какъ въ такомъ соборѣ, внимательно присматриваясь къ его стѣнамъ и колоннамъ, всякій разъ открываешь новыя, неожиданныя или незамѣченныя ранѣе фигуры, новыя идеи, новые мотивы творческой фантазіи строителей, такъ и въ сочиненіяхъ Толстого, всякій разъ, когда къ нимъ обращаешся, находишь, чуть не на каждомъ шагу что-нибудь новое. Въ этомъ отношеніи, кажется, только одинъ писатель можетъ быть достойнымъ соперникомъ нашего великаго романиста, именно — Шекспиръ. Какъ у Шекспира, такъ и у Толстого передъ нами медленно развертывается безконечно разнообразная картина жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, великихъ и ничтожныхъ, трагическихъ и смѣшныхъ, трогательныхъ и отталкивающихъ, — проходитъ множество лицъ и событій, идей и настроеній, при чемъ нерѣдко одно какое-нибудь мелкое, мимоходомъ оброненное замѣчаніе вызываетъ въ умѣ читателя цѣлый рядъ образовъ и мыслей. Припомните все поразительно огромное и разнообразное содержаніе „Войны и Мира“, — этой исторической картины, обнимающей собой два самыя бурныя десятилѣтія европейской исторіи нашего вѣка, — вы увидите, что въ этомъ произведеніи, которое какъ-то совѣстно назвать банальнымъ именемъ романа, какъ въ зеркалѣ, отразилась вся Россія,

отъ деревенской хижины до царскаго дворца, — Россія политическая, военная, великосвѣтская, помѣщичья, солдатская, мужицкая. Здѣсь мы видимъ и поле сраженія, и придворный балъ, и клубъ, и тихій семейный уголокъ стариннаго дома, и народную толпу, — но прежде всего и больше всего видимъ жизнь, настоящую, живую, реальную жизнь, воспроизведенную во всѣхъ подробностяхъ могучимъ воображеніемъ писателя. Это — жизнь не столько природы, сколько человѣка: въ противоположность Тургеневу, великому мастеру пейзажа, Толстой очень скупъ на описанія; онъ разсматриваетъ природу не какъ нѣчто существующее само по себѣ, независимо отъ человѣка, а только какъ рамку, въ которой живутъ и движутся люди, и которая измѣняется въ зависимости отъ смѣны людскихъ чувствъ и настроеній. Пейзажи Толстого ограничиваются лишь самыми необходимыми, крупными мазками, которые получаютъ смыслъ только въ присутствіи извѣстнымъ образомъ настроенныхъ людей. Другими словами, для Толстого на первомъ планѣ всегда стоитъ человѣкъ, и въ изображеніи человѣка онъ не знаетъ себѣ равнаго въ нашей литературѣ. Съ удивительной наблюдательностью онъ подмѣчаетъ малѣйшія черты, сколько-нибудь характерныя для изображаемой личности, и воспроизводитъ ихъ съ точностью очевидца; всѣ его фигуры, крупныя и мелкія, живутъ и дышатъ передъ вами, — вы становитесь свидѣтелемъ ихъ рѣчей и поступковъ, участникомъ ихъ бесѣдъ, вы сживаетесь съ ихъ радостями и печалями, надеждами и тревогами, проникаете въ глубь ихъ внутренней, душевной жизни, начинаете относиться къ нимъ совсѣмъ какъ къ живымъ людямъ, съ тѣмъ или инымъ чувствомъ. И этотъ эффектъ достигается безъ всякаго лиризма, безъ всякихъ искусственныхъ ораторскихъ пріемовъ, къ которымъ нерѣдко прибѣгаетъ, напримѣръ, Тургеневъ и почти всегда — Достоевскій, — достигается единственно силою реальнаго воссозданія жизни внѣшней и внутренней въ томъ видѣ и въ томъ порядкѣ (или, скорѣе, — безпорядкѣ), въ какомъ она на самомъ дѣлѣ должна была проходить. Толстой въ своемъ разсказѣ какъ будто не желаетъ признавать никакой послѣдовательности; нисколько не заботясь объ удобствахъ читателя, онъ то и дѣло вдается въ отступленія, въ длинноты, останавливается на эпизодахъ, повидимому, совершенно из-

лишнихъ, съ истинно геніальною смѣлостью не брезгаетъ никакими положеніями, никакими словами, — и изъ этихъ отдѣльныхъ кусочковъ и мелкихъ черточекъ медленно творитъ свои правдивыя, незабываемыя картины. При этомъ онъ почти не прибѣгаетъ къ подробному анализу дѣйствующихъ лицъ, предоставляя читателю самому дѣлать выводы изъ ихъ поступковъ. Левинъ, Вронскій, Анна Каренина, князь Андрей, Пьеръ Безуховъ, Наташа, Николай Ростовъ являются передъ нами людьми дѣйствующими, говорящими, мыслящими, и каждый изъ нихъ съ такой полнотой высказываетъ свое внутреннее *я* въ цѣломъ рядѣ разнообразныхъ и характерныхъ фактовъ и въ продолженіе такого значительнаго промежутка времени, что мы становимся какъ бы очевидцами всей ихъ жизни. Толстой обладаетъ удивительнымъ умѣньемъ воплощаться въ любое изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ, жить ихъ существомъ, мыслить ихъ мыслями, чувствовать ихъ чувствами; въ этомъ отношеніи для него не представляетъ затрудненій не только разница возраста и общественнаго положенія, но даже разница пола: трудно указать другого писателя, который бы сумѣлъ такъ вѣрно представить характеръ молодой дѣвушки, какъ сдѣлалъ это Толстой въ изображеніи Сони и Наташи въ „Войнѣ и Мирѣ“. Въ особенности поразительна эта Наташа, съ ея ребяческими, подчасъ мальчишескими выходками, съ ея вѣчнымъ щебетаньемъ веселенькой птички, съ ея тревогами и заботами по поводу „перваго бала“, съ ея нѣжнымъ участіемъ въ жизни старшихъ родныхъ, любовью къ князю Андрею, внезапными приступами тоски, нездоровья и душевнаго смятенія. Не менѣе поразительно развертывается предъ нами, во всѣхъ своихъ изгибахъ, и душевная жизнь Анны Карениной, этой гордой великосвѣтской красавицы, падающей жертвою случайнаго, стихійнаго порыва страсти. Романъ, въ которомъ такъ ярко, такъ рельефно обрисовывается эта героиня, представляетъ образецъ той же писательской манеры, которою характеризуется „Война и Миръ“, — той же медленной лѣпки дѣйствующихъ лицъ изъ множества кусочковъ дѣйствій, рѣчей, положеній, — которыми мало-по-малу опредѣляется со всѣхъ сторонъ цѣльная фигура. Именно такой способъ изображенія и дѣлаетъ эти фигуры не просто реальными, но непрестанно, непрерывно живущими, разви-

вающимися, мѣняющими свое внѣшнее обличье и свой внутренній складъ; онѣ растутъ на нашихъ глазахъ, какъ деревья, одѣваются листвой, цвѣтутъ, приносятъ плоды и снова теряютъ свой зеленый покровъ... Выше мы замѣтили, что названіе „романа“ какъ-то не вяжется съ такимъ произведеніемъ, какъ „Война и Миръ“; мало подходитъ оно и къ „Аннѣ Карениной“. Въ самомъ дѣлѣ, романомъ принято называть обработку вполнѣ опредѣленнаго и законченнаго драматическаго и психологическаго сюжета, анализъ — въ рамкѣ опредѣленной „фабулы“ какой-нибудь страсти или вообще душевнаго состоянія (преимущественно — любви и родственныхъ съ нею чувствъ). Но гдѣ „сюжетъ“, въ чемъ „фабула“ двухъ романовъ Толстого? Какъ связно и коротко изложить ихъ содержаніе? Это не „выдумка“, разсказанная съ соблюденіемъ условій единства дѣйствія и постояннаго наращенія эффектовъ, это — сама жизнь, цѣлая жизнь множества людей различныхъ возрастовъ и положеній, занимающая значительный промежутокъ времени; это — цѣлая сложная ткань мелкихъ эпизодовъ, причудливо переплетающихся между собою на пестрой житейской канвѣ и рисующихъ медленное, послѣдовательное развитіе каждой отдѣльной личности. Исторія Анны Карениной, Вронскаго, Левина, князя Андрея Болконскаго, Наташи, Николая Ростова, Пьера Безухова и многихъ другихъ можетъ служить примѣромъ и подтвержденіемъ сказаннаго.

Всѣ эти люди движутся, каждый по своей орбитѣ, вокругъ одного общаго, таинственнаго центра и съ каждой новой минутой своего жизненнаго пути являются новыми, не похожими на прежнихъ самихъ себя, — точно такъ-же, какъ и въ настоящей жизни каждый сегодняшній человѣкъ — больше или меньше — уже не тотъ, что былъ вчера. Иногда это превращеніе, или, если угодно, эволюція, совершается медленно, чуть замѣтно; иногда, подъ вліяніемъ окружающихъ человѣка и такъ или иначе захватывающихъ его событій, оно — представляется рѣзкимъ скачкомъ; Толстой удивительно умѣетъ подмѣчать и указывать эти измѣненія, постоянно имѣя въ виду присущую человѣческой душѣ способность болѣе или менѣе приспособляться къ условіямъ окружающей жизни.

Обыкновенно ставятъ въ особенную заслугу писателю то, что онъ изображаетъ „типы“. Но „типъ“ всегда есть нѣчто

условное, болѣе или менѣе отвлеченное, а стало быть — болѣе или менѣе не живое. У Толстого нѣтъ „типовъ“, потому что его произведенія населены живыми людьми. Нѣтъ сомнѣнія, что, напр., Пьеръ Безуховъ многими своими чертами подходитъ къ „типу“ русскаго интеллигентнаго человѣка начала нынѣшняго столѣтія: въ немъ есть кое-что изъ Онѣгина, кое-что изъ Чацкаго; какъ и вся тогдашняя Россія, онъ тяжеловѣсенъ, добръ, едва-едва справляется съ своими животными инстинктами и въ тоже время полонъ смутнаго безпокойства, неясныхъ порывовъ, неопредѣленныхъ стремленій... Но въ то же время — это живой человѣкъ, со множествомъ чертъ и особенностей, характерныхъ для него лично, но вовсе не типичныхъ: онъ застѣнчивъ, близорукъ, неуклюжъ, влюбленъ, онъ относится къ женѣ, дѣтямъ, слугамъ совсѣмъ не по шаблону „типа“, а по настроенію живого лица. Точно также и Платонъ Каратаевъ, въ которомъ иные критики хотѣли видѣть чуть ли не символъ русскаго народа, на самомъ дѣлѣ настолько проникнутъ живою личною жизнью, что его никакъ не уложить въ отвлеченную формулу. „Это не мечта“, какъ говорилъ Собакевичъ о плотникѣ Пробкѣ. Припомните выразительныя физіономіи всѣхъ, крупныхъ и мелкихъ, людей, которыхъ такое множество проходитъ передъ нами у Толстого, и скажите: гдѣ между ними „типы“ молодой дѣвушки, офицера, интенданта, игрока, чиновника, помѣщика? Развѣ, напр., Наташа Ростова или Китти Щербацкая, капитанъ Тимохинъ, полковникъ Бергъ, Долоховъ, Каренинъ, Левинъ подойдутъ подъ эти же шаблонныя схемы? Конечно, нѣтъ: каждое изъ этихъ лицъ — не олицетвореніе отвлеченной „идеи“ или категоріи, а человѣкъ самъ по себѣ, въ своемъ родѣ единственный и не повторяющійся, — „индивидъ“, а не типъ. Глубокое разумѣніе жизни прошлой и современной дало писателю возможность вызвать эти десятки, сотни образовъ и вдохнуть въ нихъ живую душу, которая проявляется у каждаго изъ нихъ на свой особый, только ему одному свойственный ладъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ абстракціей, а съ непосредственнымъ наблюденіемъ. Тургеневъ съ ироніей отзывался о критикахъ, которые утверждали, что онъ въ своихъ произведеніяхъ „отправляется отъ идеи“ или „проводитъ идею“, хотя эти критики далеко не всегда были такъ рѣшительно неправы, какъ хотѣлъ указать романистъ, потому что

во многихъ его произведеніяхъ, дѣйствительно, нельзя не видѣть „идейнаго“ замысла. О Толстомъ, кажется, никто ничего подобнаго не говорилъ: ни въ мелкихъ своихъ очеркахъ и разсказахъ, ни въ двухъ большихъ романахъ онъ, повидимому, ни отъ какой „идеи“ не отправляется, а просто беретъ жизнь такою, какою она представляется его творческому воображенію. Онъ не судитъ своихъ лицъ, никого изъ нихъ не вѣнчаетъ и не развѣнчиваетъ...

Такое — чисто эпическое — отношеніе писателя къ своей задачѣ опредѣляетъ и форму его произведеній. Вся ихъ внѣшняя техника, вся композиція обусловливается необходимостью охватить и передать въ разсказѣ какъ можно больше фактовъ жизни внѣшней и внутренней, какъ можно больше крупныхъ и мелкихъ событій, въ которыхъ такъ или иначе отразился бы характеръ изображаемыхъ имъ людей. Отсюда — извѣстная отрывочность, непослѣдовательность, иногда даже отсутствіе внѣшней связи между отдѣльными эпизодами: вѣдь и въ настоящей жизни событія никогда не идутъ другъ за другомъ по строго выработанной программѣ. Вообще, Толстой мало заботится о техникѣ; его языкъ часто тяжелъ и порой удивительно небреженъ; это не гладкая, изящно отдѣланная, блестящая фраза Тургенева, въ которой нельзя ни прибавить ни убавить ни одного слова, — не страстная, порывистая, торопливая и сбивчивая рѣчь Достоевскаго; это простой, безхитростный языкъ разсказчика, который пишетъ такъ, какъ говоритъ, и иногда, запутавшись въ тяжеловѣсномъ періодѣ между нѣсколькимъ „что“ и „которыми“, не даетъ себѣ труда хоть нѣсколько исправить неудачно вылившіяся изъ подъ пера строки. Нерѣдко онъ вдается въ мелочныя подробности, утомительныя и какъ будто даже излишнія; зато въ другихъ мѣстахъ его рѣчь достигаетъ изумительной красоты, силы и выразительности, и каждое слово ложится въ память неизгладимымъ отпечаткомъ. Эта неровность стиля какъ будто выдаетъ душевное состояніе самого писателя, который, бросившись вмѣстѣ съ созданными имъ лицами въ водоворотъ жизни, по временамъ чувствуетъ то крайнее утомленіе, то могучій приливъ новыхъ свѣжихъ силъ...

Рисуя такую широкую всеобъемлющую картину жизни во всемъ ея разнообразіи, Толстой ни на минуту не теряетъ изъ виду основного вопроса: въ чемъ же смыслъ этой жизни?

зачѣмъ она? въ чемъ настоящее назначеніе человѣка и какъ слѣдуетъ ему жить? Этотъ вопросъ, въ рѣшеніи котораго писатель видитъ краеугольный камень нравственнаго бытія, въ большей или меньшей степени становится и разрѣшается всѣми дѣйствующими лицами его произведеній, начиная съ мальчиковъ, изображенныхъ въ „Дѣтствѣ“, „Отрочествѣ“ и „Юности“, продолжая героями севастопольскихъ разсказовъ и мелкихъ очерковъ въ родѣ „Люцерна“, „Записокъ маркера“, „Казаковъ“ и оканчивая „Войной и Миромъ“ и „Анной Карениной“. И чѣмъ дальше идетъ Толстой въ своей дѣятельности, тѣмъ больше и больше выдвигается на первый планъ этотъ существенный вопросъ о смыслѣ и цѣли человѣческаго существованія; художникъ все больше и больше уступаетъ мѣсто философу, проповѣднику-моралисту, который, въ концѣ концовъ, приходитъ даже къ отрицанію художества, къ осужденію самого себя, какъ живописателя жизни. Но напрасно думаютъ, будто между Толстымъ послѣдняго 15-лѣтія и прежнимъ Толстымъ произошелъ какой-то разрывъ: идеи, нашедшія себѣ наиболѣ полное выраженіе въ послѣднихъ произведеніяхъ писателя, проходятъ руководящимъ началомъ черезъ всю его литературную дѣятельность; только въ раннюю пору онѣ далеко еще не имѣли той рельефности, той рѣзкой опредѣленности, какую получили впослѣдствіи, подъ вліяніемъ долгихъ думъ и многолѣтняго житейскаго опыта. Но и въ эту раннюю пору дѣятельности Толстого мы видимъ то же вдумчивое отношеніе къ жизни, то же стремленіе разгадать ея внутренній смыслъ, то же глубокое сочувствіе къ человѣческому страданію, душевному и физическому, уравнивающему всѣхъ людей, великихъ и малыхъ. Какъ въ позднѣйшихъ, такъ и въ первыхъ своихъ произведеніяхъ Толстой съ особенною любовью останавливается на картинахъ мирной, здоровой семейной жизни, взаимной привязанности между людьми, товарищества, дружбы, братской взаимной помощи. Почти всѣ его лица проникнуты тою добротою, жалостливостью, снисходительностью къ человѣческимъ слабостямъ, способностью „все понять и все простить“, которая такъ много облегчаетъ сожительство людей въ обществѣ; въ каждомъ изъ нихъ живо чувствуется и по своему выражается то серіозное нравственное отношеніе къ жизни, какого такъ настойчиво требуетъ Толстой въ послѣднихъ,

проповѣдническихъ своихъ книгахъ и статьяхъ. Достаточно напомнить ту сцену въ „Аннѣ Карениной“, гдѣ героиня романа, въ ожиданіи смерти послѣ родовъ, соединяетъ руки своего мужа и любовника, или сцену въ „Войнѣ и Мирѣ“, гдѣ Каратаевъ, также въ ожиданіи смерти, въ душномъ и темномъ сараѣ, разсказываетъ своимъ товарищамъ-плѣнникамъ исторію про купца, напрасно осужденнаго за убійство и простившаго на каторгѣ дѣйствительному убійцѣ совершенный имъ грѣхъ...

Всѣ дѣйствующія лица Толстого, поскольку они живутъ сознательною жизнью, чувствуютъ постоянную необходимость оправдать свое существованіе, указавъ самимъ себѣ его цѣль и смыслъ, — разрѣшить, такъ или иначе, основную задачу бытія. Чѣмъ ближе подходятъ годы зрѣлости и старости, чѣмъ навязчивѣе становится мысль о неизбѣжности смерти, тѣмъ настойчивѣе эта задача требуетъ разрѣшенія, тѣмъ серіознѣе начинаетъ смотрѣть человѣкъ на свои обязанности въ отношеніи себя самого и своихъ ближнихъ, тѣмъ сильнѣе становится его безпокойство въ поискахъ высшей правды. Главныя дѣйствующія лица „Войны и Мира“, люди, большею частью, военные, придворные, богатые и праздные, съ болью въ сердцѣ подходятъ къ этому неизбѣжному вопросу и тревожно ищутъ отвѣта, который могъ бы оправдать ихъ надежды и вѣрованія. Князь Андрей Болконскій, человѣкъ сухо-корректный, холодный, положительный, подъ вліяніемъ этой неотвязной думы о смыслѣ существованія теряетъ свою обычную практическую разсудительность, впадаетъ въ сомнѣнія, въ противорѣчія съ самимъ собой, смерть жены и невозможность загладить свою суровость въ отношеніи къ этому легкомысленному, но въ сущности доброму, созданію наполняетъ его сердце горечью, и онъ жадно прислушивается къ необычнымъ для него рѣчамъ Пьера, въ которыхъ слышится убѣжденная вѣра въ личнаго Бога и будущую жизнь. Эти рѣчи обновляютъ его жизненную силу, придаютъ ему бодрость и надежду; онъ снова бросается въ водоворотъ общественной дѣятельности, ищетъ на поляхъ битвъ забвенія и исцѣленія отъ своихъ личныхъ неудачъ житейскихъ — и, смертельно раненый, погружается въ нѣмое созерцаніе таинственнаго, загадачнаго мрака смерти, медленно и неудержимо къ нему подступающей и заслоняющей отъ него все живое, все, что

онъ любилъ и ненавидѣлъ, къ чему стремился и чего боялся на землѣ... Съ гораздо большею силою и подробностью изображаетъ Толстой душевныя треволненія другого своего героя — Пьера Безухаго. Почувствовавъ отвращеніе отъ грубыхъ удовольствій, которыми онъ старался заглушить въ себѣ внутренняго „червяка“, гложущаго сердце, онъ тревожно бросается изъ стороны въ сторону въ поискахъ ключа къ загадкѣ жизни, того магическаго слова, которое раскрыло бы передъ нимъ ея смыслъ и цѣль, и въ минуту полнаго отчаянія встрѣчаетъ на своемъ пути страннаго проповѣдника, который заводитъ съ нимъ рѣчь о Богѣ и будущей жизни въ духѣ масоновъ; эта рѣчь увлекаетъ его въ масонство, но не надолго: пытливый умъ скоро убѣждается въ неудовлетворительности масонской философіи и морали, и онъ опять оказывается на распутьѣ, не зная, что дѣлать и куда направить усилія своей воли, гдѣ найти для себя сколько-нибудь прочный нравственный устой. Совершающіяся вокругъ него великія историческія событія ставятъ его лицомъ къ лицу съ тою „роевою“ народною силою, которая, по убѣжденію Толстого, является единственно зиждущимъ началомъ исторіи, — съ простодушнымъ патріотизмомъ и непоколебимою вѣрою массы. Подхваченный этой волной народнаго воодушевленія, онъ бросаетъ свой барскій домъ, вмѣшивается въ толпу, пытаясь жить одною съ ней жизнью, задумываетъ совершить подвигъ, — убить Наполеона, — подъ вліяніемъ случайнаго разговора отказывается отъ этого замысла, попадаетъ въ толпу захваченныхъ французами „поджигателей“ Москвы и здѣсь съ изумленіемъ и восторгомъ прислушивается къ простымъ, полнымъ безхитростной задушевности, рѣчамъ взятаго отъ сохи солдата Каратаева, который представляется ему „непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ всего русскаго и добраго, духа простоты и правды“. И вотъ подъ вліяніемъ этихъ безхитростныхъ рѣчей, Пьеръ „узнаетъ не умомъ, а всѣмъ существомъ своимъ, жизнью, что человѣкъ сотворенъ для счастья, что счастье въ немъ самомъ, въ удовлетвореніи естественныхъ человѣческихъ потребностей, и что все несчастье происходитъ не отъ недостатка, а отъ излишка... Онъ узналъ, что такъ какъ нѣтъ на свѣтѣ положенія, въ которомъ бы человѣкъ былъ счастливъ и вполнѣ свободенъ, такъ и нѣтъ положенія, въ ко-

торомъ бы онъ былъ несчастливъ и несвободенъ. Онъ узналъ, что есть граница страданія и граница свободы, и что эта граница очень близка"...

Подобными же чертами изображается тяжелое раздумье и „просвѣтленіе" Левина. Въ цѣломъ рядѣ позднѣйшихъ произведеній Толстого — въ разсказахъ „Три смерти", и „Смерть Ивана Ильича", въ драмѣ „Власть Тьмы", въ сказкѣ „Объ Иванѣ-Дуракѣ", и въ „Исповѣди" и т. д., и т. д. писатель постоянно, неизмѣнно возвращается къ той же основной своей идеѣ, освѣщая ее съ разныхъ сторонъ и противополагая простое, безхитростное міросозерцаніе массы, съ ея твердою вѣрою и естественною моралью, извращеннымъ понятіямъ и мелочнымъ, тщеславнымъ треволненіямъ и заботамъ „культурнаго" человѣчества. Съ первыхъ страницъ „Дѣтства", появившихся въ печати 46 лѣтъ тому назадъ, и до послѣдняго, въ нынѣшнемъ году напечатаннаго, разсужденія объ искусствѣ, безпрестанно и все болѣе и болѣе „наростая", повторяется этотъ руководящій мотивъ литературной дѣятельности нашего великаго писателя. Этимъ руководящимъ мотивомъ обусловливается и выборъ изображаемыхъ имъ характеровъ и положеній: Толстой почти совершенно исключаетъ изъ круга своихъ наблюденій изображеніе сильныхъ страстей культурнаго человѣчества, — честолюбія, жажды богатства, власти, славы, точно такъ же, какъ и изображеніе пороковъ, отъ которыхъ всего больше страдаетъ культурное общество; въ этомъ отношеніи онъ ограничивается только самыми легкими штрихами, оставляя совершенно незатронутыми многія важныя стороны жизни, очевидно, не вызывающія его симпатій какъ художника и мыслителя...

Въ постепенномъ развитіи и проясненіи этого основного мотива въ сочиненіяхъ Толстого видно, что собственная оригинальная личность писателя понемногу все больше и больше пробивается сквозь рисуемыя имъ картины чужой жизни, какъ она все яснѣе и яснѣе просвѣчиваетъ въ рѣчахъ и поступкахъ его дѣйствующихъ лицъ, созданій его воображенія, и наконецъ, когда ей становится уже тѣсно въ этой романической оболочкѣ, смѣло сбрасываетъ ее съ себя и является безъ всякаго прикрытія, во всей своеобразной своей полнотѣ. Проповѣдникъ-моралистъ беретъ верхъ надъ художникомъ, идеалистъ — надъ реалистомъ;

окружающая писателя жизнь перестаетъ быть для него предметомъ спокойнаго наблюденія и эпическаго воспроизведенія и становится только матеріаломъ для разсужденія о томъ, какъ слѣдуетъ и какъ не слѣдуетъ жить, — соотвѣтственно требованіямъ опредѣленнаго моральнаго идеала. Исходнымъ пунктомъ этого идеала служитъ то же составленіе жизни культурнаго круга съ простодушнымъ міросозерцаніемъ народной массы, которое приводитъ Левина къ мысли о необходимости приблизить свою личную жизнь къ жизни народа, „опроститься“, т.-е. опуститься до низменнаго матеріальнаго уровня народной жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ подняться на высоту ея нетронутыхъ, цѣльныхъ и спасительныхъ нравственныхъ устоевъ. Для всякаго мыслящаго человѣка представленіе о смерти своей собственной и своихъ близкихъ служитъ пробнымъ камнемъ тѣхъ нравственныхъ понятій, какія онъ кладетъ въ основу своей жизни. Большинство людей, сознательно или нѣтъ, удаляетъ отъ себя эту мысль, боится слишкомъ прямо поставить ее передъ собою; другіе довольствуются тѣмъ утѣшеніемъ, какое даетъ религія, не углубляясь въ слишкомъ тягостныя размышленія о будущемъ; третьи стараются поддержать въ себѣ и другихъ вѣру въ непреложный прогрессъ человѣчества, создаваемый медленными, незамѣтными усиліями милліоновъ отдѣльныхъ единицъ, изъ которыхъ каждая должна считать свое назначеніе выполненнымъ, если ей удалось хоть на ничтожную долю содѣйствовать этому общему ходу прогресса.

Но для людей, подобныхъ Толстому,—для людей, которые видятъ въ окружающей ихъ дѣйствительности рѣзкое несоотвѣтствіе съ своими идеальными взглядами и требованіями, и въ то же время сознаютъ, что эта нелѣпая жизнь крайне непродолжительна и для всякаго человѣка, черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ существованія, неизбѣжно наступитъ роковой моментъ перехода въ небытіе,—мысль о смерти, какъ вѣнца цѣлаго ряда ошибокъ и страданій, должна казаться ужасно тягостною. Толстой не въ состояніи былъ удовольствоваться метафизическими разсужденіями или утѣшительными иллюзіями; какъ глубокій реалистъ по натурѣ, онъ не могъ успокоиться, при видѣ окружающихъ золъ, картиною идеальнаго блаженства внѣ времени и пространства и считалъ себя вправѣ требовать отъ людей, чтобы они стремились

къ водворенію Царства Божія здѣсь, на землѣ. „Царство Божіе въ васъ самихъ“. Если каждый человѣкъ, уподобляясь въ своей смиренной простотѣ „нищему духомъ“ народу, твердо рѣшится жить „по-Божьему“, въ постоянномъ производительномъ трудѣ, строгомъ воздержаніи и христіанской любви къ ближнему; если мы отбросимъ отъ себя всю ту „условную ложь“ культуры, — мнимой науки, мнимаго просвѣщенія, мнимаго искусства, — и постановимъ себѣ идеаломъ братское единеніе первобытныхъ исповѣдниковъ христіанства, во имя вѣры въ Бога и любви къ людямъ: то каждому изъ насъ въ отдѣльности, а слѣдовательно — и всѣмъ вмѣстѣ станетъ доступенъ высшій христіанскій идеалъ, — на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе. Зло исчезнетъ само собою: оно будетъ побѣждено силою любви, и вмѣстѣ съ нимъ исчезнутъ всѣ тѣ кривые устои, на которыхъ зиждется современная жизнь такъ называемаго образованнаго общества...

Эти идеи, являющіяся послѣднимъ словомъ и заключительнымъ логическимъ выводомъ всей литературной дѣятельности Толстого и во многихъ отношеніяхъ сближающія его съ другимъ нашимъ проповѣдникомъ возрожденія павшаго міра любовью, — Достоевскимъ, — развиваются въ новѣйшихъ произведеніяхъ нашего писателя со всею ревностью и нетерпимостью прозелита новой вѣры.

Толстой не находитъ достаточно сильныхъ словъ для обличенія той „мерзости“, изъ которой, по его мнѣнію, слагается современная наша жизнь, и съ безпощаднымъ отрицаніемъ относится по всему, что мы привыкли считать не только необходимымъ условіемъ, но и украшеніемъ разумнаго существованія.

Здѣсь не мѣсто вдаваться въ анализъ моральнаго ученія Толстого! Какъ основныя его положенія, такъ и подробности, конечно, всѣ достаточно извѣстны и памятны. Выше мы сказали, что каждый человѣкъ сознательно или безсознательно стремится къ разрѣшенію нравственной задачи своего бытія. Какимъ бы путемъ ни прошелъ онъ къ этому рѣшенію, но если оно сдѣлало его нравственно выше и чище, если онъ почувствовалъ въ себѣ тотъ внутренній голосъ, который въ просторѣчіи называется совѣстью, и твердо рѣшилъ слѣдовать его внушеніямъ, то цѣль его достигнута. „Всѣ дороги ведутъ въ Римъ“, и дорога, указываемая Тол-

стымъ, можетъ быть, даже прямѣе прочихъ, хотя итти по ней возможно только въ теоріи. Въ выборѣ и объясненіи этой дороги сказалась основная характерная черта личности писателя, который, во все продолженіе своей дѣятельности, былъ больше всего и прежде всего художникомъ, т.-е. человѣкомъ непосредственнаго наблюденія и непосредственнаго чувства, а не холодной логической мыслительности. Его страстная проповѣдь является именно побѣдой чувства надъ размышленіемъ; его нравственная философія зиждется на личныхъ его симпатіяхъ и антипатіяхъ, исходящимъ изъ сильнаго душевнаго порыва, а не изъ отвлеченныхъ, логически развиваемыхъ положеній. Жизнь, — настоящая, реальная жизнь, которую онъ съ такою геніальною силою умѣетъ схватить и запечатлѣть въ своихъ созданіяхъ во всей ея правдѣ, стоитъ передъ нимъ съ своими вѣчными загадками и неразрѣшимыми противорѣчіями, — и онъ отзывается на ея запросы прежде всего сердцемъ, подчиняя логику своего ума требованіямъ возмущеннаго чувства...

Та же реальная жизнь, вѣчно живая, вѣчно движущаяся, проникая собою произведенія нашего писателя, отсвѣчивая въ каждой его строкѣ, — даже и тамъ, гдѣ онъ, повидимому, повергаетъ ее остракизму во имя отвлеченной идеи, — придаетъ этимъ произведеніямъ то свойство вѣчности и безсмертія, какимъ она сама обладаетъ, — и они живутъ этою настоящею жизнью, и будутъ жить, пока на замретъ въ людяхъ прирожденное имъ стремленіе созерцать живую жизнь, разумѣть ее умомъ, согрѣвать ее сердечною теплотою любви и всепрощенія... *Морозовъ.*

Природа въ произведеніяхъ Толстого.

У графа Л. Толстого, какъ и у Гончарова, описаній природы чѣмъ дальше, тѣмъ меньше — но здѣсь эта перемѣна рѣзче бросается въ глаза, потому что въ раннихъ произведеніяхъ Толстого пейзажъ играетъ гораздо большую роль, чѣмъ въ „Обыкновенной исторіи“ и „Обломовѣ“. Въ „Дѣтствѣ“, „Отрочествѣ“ и „Юности“ близость автора къ природѣ чувствуется на каждомъ шагу; онъ живетъ вмѣстѣ съ нею, и она живетъ вмѣстѣ съ нимъ, точно раздѣляя его радость и его горе. Впечатлѣнія прошлыхъ лѣтъ воскресаютъ въ памяти автора именно съ той окраской, которую

они тогда имѣли; онъ видитъ природу то какъ ребенокъ, безпечно наслаждающійся настоящей минутой или смутно чувствующій ея тяжесть, то какъ юноша, открывающій въ себѣ самомъ — а вмѣстѣ съ тѣмъ и во всемъ окружающемъ — новыя стороны, прежде не бывалыя или не существовавшія для сознанія. Прочтите въ „Дѣтствѣ“ начало главы, озаглавленной „Охота“ — и васъ охватитъ давно, можетъ-быть, забытое ощущеніе безотчетнаго, наивнаго веселья, точно вливающагося во всѣ поры вашего организма. „Говоръ народа, топотъ лошадей и телѣгъ, веселый свистъ перепеловъ, жужжаніе насѣкомыхъ, которыя неподвижными стаями вились въ воздухѣ, запахъ полыни, соломы и лошадинаго пота, тысячи различныхъ цвѣтовъ и тѣней, которыя разливало палящее солнце по свѣтло-желтому жнивью, синей дали лѣса и бѣло-лиловымъ облакамъ, бѣлыя паутины, которыя носились въ воздухѣ или ложились по жнивью — все это я видѣлъ, слышалъ и чувствовалъ“. Цвѣта, звуки, запахи сливаются здѣсь въ одно цѣлое, соединительнымъ звеномъ котораго служитъ „радость жизни“, полнота бытія, точно сосредоточившагося въ одномъ безсознательно-счастливомъ моментѣ. Тѣмъ же характеромъ отличаются дорожныя картины въ первой главѣ „Отрочества“, — картины, эффектно смѣняемыя описаніемъ грозы, ея приближенія, разгара, ея послѣднихъ раскатовъ. Иногда автору достаточно немногихъ словъ, чтобы вставить разсказъ въ подходящую къ нему рамку. Николенька сидитъ у окна, въ ожиданіи отъѣзда изъ деревни, — того отъѣзда, который долженъ былъ навсегда разлучить его съ матерью. „Во всемъ воздухѣ была какая-то пыльная мгла; горизонтъ былъ сѣро-лиловаго цвѣта; но ни одной тучки не было на небѣ. Сильный западный вѣтеръ поднималъ столбами пыль съ полей и дорогъ, шумъ высокихъ липъ и березъ сада и далеко относилъ падавшіе желтые листья“. Кто изъ насъ не знаетъ, по собственному опыту, какъ глубоко врѣзывается въ память печальная обстановка печальной минуты, какъ крѣпка и неразрывна внутренняя связь, соединяющая ту и другую? Пейзажъ, въ такихъ случаяхъ — болѣе чѣмъ фонъ картины; онъ составляетъ точно необходимую ея принадлежность.

Въ „Юности“ не даромъ преобладаютъ описанія весны и ранняго лѣта; они знаменуютъ собою этапы того пути,

которымъ идетъ сердце, пробуждающееся къ новой жизни. Настроеніе юноши, глазами котораго мы смотримъ, чувствуется вездѣ, но не мѣшаетъ намъ видѣть и самый пейзажъ, его волновавшій. „Въ воздухѣ было совершенно тихо и пахло свѣжестью; зелень деревьевъ, листьевъ и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждая травка, каждый листъ жили своею отдѣльною, полною и счастливою жизнью...“ „Я смотрѣлъ въ садъ, слушалъ звуки ночи и мечталъ о любви и счастьи. Тогда все получало для меня другой смыслъ: и видъ старыхъ березъ, блестѣвшихъ, съ одной стороны, на лунномъ небѣ своими кудрявыми вѣтвями, съ другой — мрачно застилавшихъ кусты и дорогу своими черными тѣнями, и спокойный, пышный, равномѣрно, какъ звукъ, возраставшій блескъ пруда, и лунный блескъ капель росы въ цвѣтахъ, и звукъ перепела за прудомъ, и тихій чуть слышный скрипъ двухъ старыхъ березъ другъ о друга, и паденіе зацѣпившагося за вѣтку яблока на сухіе листья — все это получало для меня странный смыслъ,— смыслъ слишкомъ большой красоты и какого-то недоконченнаго счастья...“ Много общаго съ этими картинами представляютъ описанія природы въ „Двухъ гусарахъ“, и „Семейномъ счастьѣ“. Тихая лѣтняя ночь вызываетъ и въ Лизѣ и въ Марьѣ Александровнѣ сладкія грезы о любви, о счастьи. Превосходно изображены Толстымъ тѣ рѣдкія, блаженныя минуты, когда все, въ самомъ человѣкѣ и кругомъ него, дышитъ нѣгою и покоемъ, когда теряется сознаніе границы между дѣйствительностью и мечтою, когда давно знакомое производитъ впечатлѣніе чего-то чудеснаго и новаго. „Въ аллеяхъ свѣтъ и тѣнь сливались такъ, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами. Когда я смотрѣла впередъ по аллеѣ, по которой мы шли, мнѣ все казалось, что туда дальше нельзя было итти, что тамъ кончался міръ возможнаго, что все это навсегда должно быть заковано въ своей красотѣ. Но мы подвигались, и волшебная стѣна красоты раздвигалась, впускала насъ... снова замыкалась, и я переставала вѣрить въ то, что можно было итти еще дальше, переставала вѣрить во все, что было“. Въ томъ же родѣ — и такъ же художественно закончена — картина, предпосланная послѣдней сценѣ „Семейнаго счастья“. Природа „ждетъ тихаго

весенняго дождика“ — и вмѣстѣ съ нею чего-то ждетъ, о чемъ-то жалѣя, героиня романа.

Рядомъ съ описаніями, насквозь проникнутыми субъективнымъ элементомъ, въ первыхъ произведеніяхъ гр. Толстого встрѣчаются страницы другого рода, не столь тѣсно соединенныя съ дѣйствіемъ. Сюда относятся, напримѣръ, изображенія любимаго вида княгини Нехлюдовой („Юность“) или озера четырехъ кантоновъ, какимъ оно представляется изъ Люцерна („Изъ записокъ князя Д. Нехлюдова“). До чего могло дойти, на этой дорогѣ, дарованіе писателя — объ этомъ всего лучше можно судить по картинѣ паденія срубленнаго дерева въ разсказѣ „Три смерти“: „На всемъ лежалъ холодный матовый покровъ еще падавшей, не освѣщенной солнцемъ росы. Ни одна травка внизу ни одинъ листъ на верхней вѣтви дерева не шевелились. Только изрѣдка слышавшіеся звуки крыльевъ въ чащѣ дерева или шелеста по землѣ нарушали тишину лѣса. Вдругъ странный, чуждый природѣ звукъ разнесся, и замеръ на опушкѣ лѣса. Но снова послышался звукъ и равномѣрно сталъ повторяться внизу около ствола одного изъ неподвижныхъ деревьевъ. Одна изъ макушъ необычайно затрепетала, сочные листья ея зашептали что-то, и малиновка, сидѣвшая на одной изъ вѣтвей ея, со свистомъ перепорхнула два раза и, подергивая хвостикомъ, сѣла на другое дерево. Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше... Дерево вздрогнуло всѣмъ тѣломъ, согнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь, на своемъ корнѣ. На мгновенье все затихло, но снова погнулось дерево, послышался трескъ въ его стволѣ, и, ломая сучья и спустивъ вѣтви, оно рухнулось макушкой на сырую землю... Звуки топора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія со всѣми своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями. Первые лучи солнца, пробивъ сквозившую тучу, блеснули въ небѣ и пробѣжали по землѣ и небу. Туманъ волнами сталъ переливаться въ лощинахъ; роса, блестя, заиграла на зелени; прозрачныя побѣлѣвшія тучки, спѣша, разбѣгались по посинѣвшему своду. Птицы гомозились въ чащѣ и, какъ потерянныя, щебетали что-то счастливое, сочные листья

радостно и спокойно шептались въ вершинахъ, и вѣтви живыхъ деревъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвымъ, поникшимъ деревомъ". Нигдѣ гр. Толстой не подходитъ такъ близко къ тургеневской манерѣ, оставаясь, безъ сомнѣнія, вполнѣ самимъ собою; ни одна изъ написанныхъ имъ картинъ природы не приближается настолько къ типу чисто-художественнаго описанія. Правда, смерть дерева не даромъ сопоставлена со смертью людей — но прелесть образа не зависитъ здѣсь отъ скрывающейся въ немъ идеи.

Въ кавказскихъ военныхъ разсказахъ гр. Толстого мы встрѣчаемся въ первый разъ съ тѣмъ родомъ описаній, который почти одинъ находитъ себѣ мѣсто въ позднѣйшихъ произведеніяхъ автора: это, если можно такъ выразиться, описанія мимоходомъ, не останавливающія дѣйствія, вставленныя въ его промежутки, иногда просто идущія съ нимъ рядомъ, иногда бросающія на него отраженный свѣтъ, но всегда сжатыя, безыскусственныя, отличающіяся крайней простотой пріемовъ. Вотъ, напримѣръ, легкіе эскизы трехъ моментовъ туманнаго дня, въ который происходитъ „рубка лѣса". „Свѣтлый кругъ солнца, просвѣчивающій сквозь молочно-бѣлый туманъ, уже поднялся довольно высоко; сѣролиловый горизонтъ постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но такъ же рѣзко ограничивался обманчивою бѣлою стѣною тумана... Туманъ уже совершенно поднялся и, принимая формы облаковъ, постепенно исчезалъ въ темно-голубой синевѣ неба. Въ воздухѣ слышалась свѣжесть утренняго мороза, вмѣстѣ съ тепломъ весенняго солнца; тысячи различныхъ тѣней и цвѣтовъ мѣшались въ сухихъ листьяхъ лѣса, и на торной глянцовитой дорогѣ отчетливо виднѣлись слѣды шинъ и подковныхъ шиповъ... Начинало смеркаться. По небу ползли сине-бѣловатыя тучи. Туманъ, превратившійся въ мелкую сырую мглу, мочилъ землю и солдатскія шинели; горизонтъ суживался, и вся окрестность принимала мрачныя тѣни". Въ севастопольскихъ разсказахъ очень мало даже такихъ описаній; страшная серіозность предмета поглощаетъ писателя и не оставляетъ мѣста для отступленій. Въ „Казакахъ" описанія природы встрѣчаются нерѣдко и достигаютъ иногда довольно обширныхъ размѣровъ, но характеръ ихъ, большею частью, тотъ же, какъ и въ кавказскихъ военныхъ разсказахъ. Иногда они имѣютъ цѣлью дать

понятіе о мѣстности, какою она является въ тотъ или другой моментъ дня, въ то или другое время года (см., напримѣръ, изображеніе станицы подъ палящимъ августовскимъ солнцемъ, въ гл. 29-й, или выступленіе казаковъ утромъ пасмурнаго дня, въ гл. 40-й) — и средствомъ къ достиженію цѣли служитъ простой перечень главныхъ особенностей картины. Авторъ, очевидно, не заботится о художественности описаній, допускаетъ въ нихъ по временамъ даже явную небрежность („въ прудѣ оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда“). Съ настроеніемъ дѣйствующаго лица описанія связываются рѣдко, но когда эта связь существуетъ, она всегда способствуетъ оживленію картины (ночное „сидѣнье“ Луки надъ Терекомъ; страхъ, овладѣвающій Олениннымъ въ чащѣ лѣса).

Въ „Войнѣ и мирѣ“ пейзажъ играетъ еще болѣе скромную роль, чѣмъ въ „Казакахъ“: преобладаютъ, опять-таки, описанія „мимоходомъ“, но и ихъ сравнительно немного. „Солнце совсѣмъ вышло изъ-за тучъ; красивый звукъ одинокаго выстрѣла и блескъ яркаго солнца слились въ одно бодрое и веселое впечатлѣніе... Разорванныя сине-лиловыя тучи, краснѣя на восходѣ, быстро гнались вѣтромъ. Становилось все свѣтлѣе и свѣтлѣе. Ясно виднѣлась та курчавая травка, которая засѣдаетъ всегда по проселочнымъ дорогамъ, еще мокрая отъ вчерашняго дождя; висячія вѣтви березъ, тоже мокрыя, качались отъ вѣтра и роняли въ бокъ отъ себя свѣтлыя капли“. Иногда описаніе до такой степени сливается съ разсказомъ, что отдѣлить одно отъ другого едва ли возможно: туманъ, напримѣръ, является точно участникомъ сраженія при Аустерлицѣ, панорама бородинскаго поля развертывается передъ нами вмѣстѣ съ ощущеніями Пьера въ различные моменты битвы. Въ „Аннѣ Карениной“ описанія природы — весьма немногочисленныя — связаны почти всѣ съ ходомъ дѣйствія. Картины весны и лѣта въ деревнѣ служатъ какъ бы рамкой для сельскихъ работъ и предпріятій Левина. „Левинъ оглянулся вокругъ себя, и не узналъ мѣста, такъ все перемѣнилось. Огромное пространство луга было скошено и блестѣло особеннымъ, новымъ блескомъ, со своими уже пахнущими рядами, на вечернихъ косыхъ лучахъ солнца. И окошенные кусты у рѣки, и сама рѣка, прежде не видная, а теперь блестящая сталью въ

своихъ извивахъ, и движущійся и поднимающійся народъ, и крутая стѣна травы недокошеннаго мѣста луга, и ястреба, вившіеся надъ оголеннымъ лугомъ — все это было совершенно ново". Господствующее здѣсь впечатлѣніе — впечатлѣніе неожиданности, новизны — обусловливается и вызывается всѣмъ предыдущимъ. Сначала занятому, потомъ утомленному косьбой Левину некогда было раньше любоваться окружающимъ его видомъ; картина скошеннаго луга поражаетъ его именно въ ту минуту, когда онъ просыпается отдохнувшій, освѣженный, весь проникнутый радостнымъ ощущеніемъ исполненнаго и еще предстоящаго труда... Съ удивительной силой таинственное общеніе природы и человѣка выступаетъ на видъ въ описаніи той лѣтней ночи, которая рѣшила участь Левина. „Какъ красиво! — подумалъ Левинъ, глядя на странную, точно перламутровую раковину изъ бѣлыхъ барашковъ-облачковъ, остановившуюся надъ самой головой его на срединѣ неба. — Какъ все прелестно въ эту прелестную ночь! И когда успѣла образоваться эта раковина? Недавно я смотрѣлъ на небо, и на немъ ничего не было — только двѣ бѣлыя полосы". Неожиданная встрѣча съ Кити даетъ другое направленіе мыслямъ и чувствамъ Левина. „Онъ взглянулъ на небо, надѣясь найти тамъ ту раковину, которою онъ любовался... На небѣ не было и слѣда раковины, а былъ ровный, разстилавшійся по цѣлой половинѣ неба коверъ все умельчающихся и умельчающихся барашковъ. Небо поголубѣло и просіяло; и съ тою же нѣжностью, но и съ тою же недосягаемостью отвѣчало на его вопрошающій взглядъ". Одинъ и тотъ же свѣжій осенній день дѣйствуетъ различно на Анну и на Вронскаго. „Остановившись и взглянувъ на колебавшіяся отъ вѣтра вершины осины съ обмытыми, ярко блистающими на холодномъ солнцѣ листьями, она поняла, что онѣ не простятъ, что все и всѣ къ ней теперь будутъ безжалостны, какъ это небо, какъ эта зелень... Все, что онъ (Вронскій) видѣлъ въ окно кареты, все въ этомъ холодномъ чистомъ воздухѣ, на этомъ блѣдномъ свѣтѣ заката, было такъ же свѣжо, весело и сильно, какъ и онъ самъ: и крыши домовъ, блестящія въ лучахъ спускавшагося солнца, и неподвижная зелень картофеля, и косыя тѣни, падавшія отъ домовъ и отъ деревьевъ, и отъ кустовъ, и отъ самыхъ бороздъ картофеля. Все было

красиво, какъ хорошенькій пейзажъ, только что оконченный и покрытый лакомъ".

Почему описанія природы, оторванныя отъ дѣйствія, цѣнныя и значительныя сами по себѣ, въ силу своей художественной отдѣлки, исчезаютъ, съ начала шестидесятыхъ годовъ, изъ произведеній гр. Л. Толстого — объ этомъ можно догадаться, если сличить между собою слѣдующіе отрывки изъ „Юности" и изъ „Анны Карениной". „Я сказалъ, указывая на заходящее солнце, — говоритъ Николай Иртеньевъ въ „Юности", — Дмитрій, посмотри, какая прелесть!... Дмитрій вообще былъ хладнокровенъ къ природѣ. Природа дѣйствовала на него совсѣмъ иначе, чѣмъ на меня, — она дѣйствовала на него не столько красотою, сколько занимательностью, онъ любилъ ее болѣе умомъ, чѣмъ чувствомъ"... „Сергѣй Ивановичъ, — читаемъ мы въ „Аннѣ Карениной", — любовался все время красотой заглохшаго отъ листвы лѣса, указывая брату (Левину) то на темную съ тѣнистой стороны, пестрѣющую желтыми трилистниками, готовящуюся къ цвѣту, старую липу, то на изумрудомъ блестящіе молодые побѣги деревъ нынѣшняго года. Константинъ Левинъ не любилъ говорить и слушать про красоты природы. Слова снимали для него красоту съ того, что онъ видѣлъ". Мы едва ли ошибемся, если предположимъ, что въ лицѣ Николая Иртеньева и Константина Левина здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, слѣдуетъ видѣть самого автора. Прежде графъ Толстой допускалъ возможность изобразить словами красоты природы; онъ указывалъ на нихъ читателямъ, подобно тому какъ Иртеньевъ указывалъ Нехлюдову на прелесть заходящаго солнца. Въ послѣдствіи времени указанія этого рода стали представляться ему не достигающими цѣли или производящими впечатлѣніе, противоположное тому, къ возбужденію котораго они направлены. Сообразно съ этимъ, описанія природы становились у него все рѣже, проще и короче, облекаясь въ поэтическія краски лишь тогда, когда служили оправой, рамкой для личнаго чувства. Это было, можетъ-быть, первымъ признакомъ, первымъ выраженіемъ другой, болѣе глубокой перемѣны въ міросозерцаніи великаго писателя. Прежде, чѣмъ извѣриться въ искусство вообще, графъ Толстой извѣрился въ одну отрасль, въ одну сторону его. *Арсеньевъ.*

Творчество Толстого.

Однажды, сравнивая себя, какъ художника, съ Пушкинымъ, Л. Толстой сказалъ Берсу, что разница ихъ, между прочимъ, та, что Пушкинъ, описывая художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится о томъ, будетъ ли она замѣчена и понятна читателямъ; онъ же какъ бы пристанетъ къ читателю съ этою художественною подробностью, пока ясно не растолкуетъ ея".

Сравненіе болѣе проникновенное, чѣмъ можетъ казаться съ перваго взгляда. Дѣйствительно, Л. Толстой „пристаетъ къ читателю" не боится ему надоѣсть, углубляетъ черту, повторяетъ, упорствуетъ, накладываетъ краски, мазокъ за мазкомъ, сгущая ихъ все болѣе и болѣе тамъ, гдѣ Пушкинъ, едва прикасаясь, скользитъ кистью, какъ будто нерѣшительною и небрежною, на самомъ дѣлѣ — безконечно увѣренною и вѣрною. Всегда кажется, что Пушкинъ, особенно въ прозѣ своей, скупъ и даже какъ бы сухъ, что онъ даетъ мало, такъ что хотѣлось бы еще и еще. Л. Толстой даетъ столько, что намъ уже больше нечего желать, — мы сыты, если не пресыщены.

Описанія Пушкина напоминаютъ легкую водяную темперу старинныхъ флорентинскихъ мастеровъ или помпейскую стѣнопись съ ихъ ровными, тусклыми, воздушно-прозрачными красками, не скрывающими рисунка, подобными дымкѣ утренней мглы. У Л. Толстого болѣе тяжелыя и грубыя краски великихъ сѣверныхъ мастеровъ: рядомъ съ глубокими, непроницаемо-черными и все-таки живыми тѣнями — лучи внезапнаго, ослѣпляющаго, какъ будто насквозь пронизывающаго свѣта, который вдругъ зажигаетъ и выдвигаетъ изъ мрака какую-нибудь отдѣльную черту — наготу тѣла, складку одежды въ стремительно-быстромъ движеніи, часть искаженнаго страстью или страданіемъ лица, и даетъ имъ поразительную, почти отталкивающую и пугающую жизненность, какъ будто художникъ отыскиваетъ въ доведенномъ до послѣднихъ предѣловъ естественномъ — сверхъестественное, въ доведенномъ до послѣднихъ предѣловъ тѣлесномъ — сверхтѣлесное.

Кажется, во всемірной литературѣ нѣтъ писателя, равнаго Л. Толстому въ изображеніи человѣческаго тѣла посредствомъ

слова. Злоупотребляя повтореніями, и то довольно рѣдко, такъ какъ, большею частью, онъ достигаетъ ими того, что̀ ему нужно, никогда не страдаетъ онъ столь обычными у другихъ, даже сильныхъ и опытныхъ мастеровъ, длиннотами, нагроможденіями различныхъ сложныхъ тѣлесныхъ признаковъ при описаніи наружности дѣйствующихъ лицъ; онъ точенъ, простъ и возможно кратокъ, выбирая только немногія маленькія, никѣмъ не замѣчаемыя, личныя, особенныя черты, и приводя ихъ не сразу, а постепенно, одну за другою, распредѣляя по всему теченію разсказа, вплетая въ движеніе событій, въ живую ткань дѣйствія... Такъ, при первомъ появленіи князя Болконскаго, мы видимъ сначала только въ общемъ, мгновенномъ очеркѣ, въ четырехъ-пяти строкахъ „невысокую фигурку старика въ напудренномъ парикѣ, съ маленькими сухими руками и сѣрыми висячими бровями, иногда, когда онъ насупливался, застилавшими блескъ умныхъ и молодыхъ блестящихъ глазъ“. Тутъ одно, можетъ-быть, излишнее повтореніе: „блескъ блестящихъ глазъ“. Когда онъ садится за токарный станокъ, —„по движеніямъ небольшой ноги, по твердому налеганію жилистой сухощавой руки (мы уже знаемъ, что у него руки сухія, но Л. Толстой любитъ возвращаться къ рукамъ своихъ героевъ) видна была въ князѣ еще упорная и много выдерживающая сила свѣжей старости“. Когда онъ заговариваетъ съ дочерью, княжной Марьей, то „холодною улыбкою выказываетъ еще крѣпкіе и желтоватые зубы“. Когда садится за столъ и пригибается къ ней, начиная обычный урокъ геометріи, она „чувствуетъ себя со всѣхъ сторонъ окруженною тѣмъ табачнымъ и старчески-ѣдкимъ запахомъ отца“, который такъ давно ей знакомъ. И вотъ — онъ весь передъ нами, какъ живой: ростъ, сложеніе, руки, ноги, глаза, брови, положеніе бровей, зубы, цвѣтъ зубовъ, улыбка, даже особенный свойственный каждому человѣку запахъ.

Это — ему одному въ такой мѣрѣ свойственный даръ, который можно бы назвать ясновидѣніемъ плоти.

Языкъ человѣческихъ тѣлодвиженій, ежели менѣе разнообразенъ, зато болѣе непосредственъ и выразителенъ, обладаетъ большею силою внушенія, чѣмъ языкъ словъ. Словами легче лгать, чѣмъ движеніями тѣла, выраженіями лица. Истинную, скрытую природу человѣка выдаютъ они скорѣе,

чѣмъ слова. Одинъ взглядъ, одна морщина, одинъ трепетъ мускула въ лицѣ, одно движеніе тѣла могутъ выразить то, чего нельзя сказать никакими словами. Послѣдовательные ряды этихъ безсознательныхъ, непроизвольныхъ движеній, отпечатлѣваясь, наслоясь на лицѣ и на всемъ внѣшнемъ обликѣ тѣла, образуютъ то, что мы называемъ выраженіемъ лица, и что можно бы также назвать выраженіемъ тѣла, потому что не только у лица, но и у всего тѣла есть свое выраженіе, своя духовная прозрачность,—какъ бы свое лицо. Извѣстныя чувства побуждаютъ насъ къ соотвѣтственнымъ движеніямъ и, наоборотъ, извѣстныя привычныя движенія приближаютъ насъ къ соотвѣтственнымъ внутреннимъ состояніямъ. Молящійся складываетъ руки, склоняетъ колѣни; но и складывающій руки, склоняющій колѣни приближаетъ себя къ молитвенному состоянію. Такимъ образомъ существуетъ непрерывный токъ не только отъ внутренняго къ внѣшнему, но и отъ внѣшняго къ внутреннему.

Л. Толстой съ неподражаемымъ искусствомъ пользуется этою обратною связью внѣшняго и внутренняго. По тому закону всеобщаго, даже механическаго сочувствія, который заставляетъ неподвижную напряженную струну дрожать въ отвѣтъ сосѣдней звенящей струнѣ по закону безсознательнаго подражанія, который при видѣ плачущаго или смѣющагося возбуждаетъ и въ насъ желаніе плакать или смѣяться,— мы испытываемъ, при чтеніи подобныхъ описаній, въ нервахъ и мускулахъ, управляющихъ выразительными движеніями нашего собственнаго тѣла, начало тѣхъ движеній, которыя описываетъ художникъ въ наружности своихъ дѣйствующихъ лицъ; и посредствомъ этого сочувственнаго опыта, невольно совершающагося въ нашемъ собственномъ тѣлѣ, т.-е. по самому вѣрному, прямому, краткому пути, входимъ въ ихъ внутренній міръ,— начинаемъ жить съ ними, жить въ нихъ.

И какой безконечно-сложный, разнообразный смыслъ получаетъ у него порой одно движеніе, одно положеніе человѣческихъ членовъ!

Послѣ Бородинскаго сраженія, въ палаткѣ для раненыхъ, докторъ, въ окровавленномъ фартукѣ, съ окровавленными руками, „держитъ одной изъ нихъ сигару между мизинцемъ и большимъ пальцемъ, чтобы не запачкать ея“. Это положеніе пальцевъ обозначаетъ: и непрерывность ужасной ра-

боты, и отсутствіе брезгливости, и равнодушіе къ ранамъ и крови вслѣдствіе долгой привычки, и усталость, и желаніе забыться. Сложность всѣхъ этихъ внутреннихъ состояній сосредоточена въ одной маленькой тѣлесной подробности,— въ положеніи двухъ пальцевъ, описаніе котораго занимаетъ полстроки.

Когда князь Андрей, узнавъ, что Кутузовъ, посылаетъ отрядъ Багратіона на вѣрную смерть, испытываетъ сомнѣніе, имѣетъ ли главнокомандующій право такъ самоувѣренно жертвовать жизнью тысячъ людей,— онъ „взглядываетъ на Кутузова, и ему невольно бросаются въ глаза, въ полуаршинѣ отъ него, чисто промытыя сборки шрама на вискѣ Кутузова, гдѣ измаильская пуля пронизала ему голову, и его вытекшій глазъ". „Да, онъ имѣетъ право такъ спокойно говорить о погибели этихъ людей!" думаетъ Болконскій. И здѣсь опять одна ничтожная тѣлесная подробность,— сборки шрама и вытекшій глазъ Кутузова,— рѣшаетъ сложный, отвлеченный нравственный вопросъ объ отвѣтственности людей, руководящихъ судьбами народовъ, объ отношеніи военно-государственнаго строя къ цѣнности отдѣльныхъ человѣческихъ жизней.

Между Пьеромъ и княземъ Василіемъ — очень запутанныя, щекотливыя отношенія. Князь Василій хочетъ выдать за Пьера свою дочь Элень и съ нетерпѣніемъ ожидаетъ, чтобы Пьеръ сдѣлалъ ей предложеніе. Тотъ все не рѣшается. Однажды, оставшись съ отцомъ и дочерью наединѣ, подымается онъ, собираясь уходить, и говоритъ, что уже поздно. „Князь Василій строго-вопросительно посмотрѣлъ на него, какъ будто то, что онъ сказалъ, было такъ странно, что нельзя было и разслышать. Но вслѣдъ за тѣмъ выраженіе строгости измѣнилось, и князь Василій дернулъ Пьера за руку, посадилъ его и ласково улыбнулся.— „Ну, что Леля? обратился онъ тотчасъ же къ дочери" и потомъ опять къ Пьеру, напоминая ему некстати довольно глупый анекдотъ о какомъ-то Сергѣѣ Кузьмичѣ. „Пьеръ улыбнулся, но по его улыбкѣ видно было, что онъ понималъ, что не анекдотъ Сергѣя Кузьмича интересовалъ въ это время князя Василія; и князь Василій понялъ, что Пьеръ понималъ это. Князь Василій вдругъ пробурлилъ что-то и вышелъ. Пьеру показалось, что даже князь Василій былъ смущенъ... Онъ

оглянулся на Элен̀ъ, — и она, казалось, была смущена и взглядомъ говорила: „что̀ жъ, вы сами виноваты“. — Вотъ какое сложное, многостороннее значеніе имѣетъ у Л. Толстого одна улыбка, выраженіе одного лица: оно повторяется, отражается на лицахъ и въ душахъ окружающихъ цѣлымъ рядомъ едва уловимыхъ полусознательныхъ мыслей и ощущеній, какъ лучъ — въ зеркалахъ, какъ звукъ — въ отголоскахъ. Пьеръ видитъ Наташу послѣ долгой разлуки и смерти перваго ея жениха, князя Андрея. Она такъ измѣнилась, что онъ не узнаетъ ея. „Но нѣтъ, это не можетъ быть“, подумалъ онъ. „Это строгое, худое и блѣдное, постарѣвшее лицо? Это нѐ можетъ быть она. Это только воспоминаніе того“. Но въ это время княжна Марья сказала: „Наташа“. „И лицо съ внимательными глазами, — съ трудомъ, съ усиліемъ, какъ отворяется заржавѣвшая дверь, улыбнулось, и съ этой растворенной двери вдругъ пахнуло и обдало Пьера тѣмъ давно забытымъ счастьемъ, о которомъ, въ особенности теперь, онъ не думалъ. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнѣній: это была Наташа, и онъ любилъ ее“. Во время этой сцены, одной изъ самыхъ значительныхъ и рѣшающихъ для дѣйствія всего романа, произнесено только четыре слова княжной Марьей: „Вы не узнаете развѣ?“ Но мы чувствуемъ, что безмолвная улыбка Наташи — сильнѣе словъ, и что дѣйствительно эта улыбка могла, должна была рѣшить судьбу Пьера.

Не только живыя, — и мертвыя лица „говорятъ“ у него. Лицо маленькой княгини и въ гробу было то же, какъ у живой: — „Ахъ, что̀ вы со мной сдѣлали?“ все говорило оно. Посредствомъ движеній тѣла изображаетъ онъ и такую неуловимую особенность ощущенія, какъ ладъ музыки, пѣсни: „Барабанщикъ-запѣвала строго оглянулъ солдатъ-пѣсенниковъ и зажмурился. Потомъ, убѣдившись, что всѣ глаза устремлены на него, онъ какъ будто осторожно приподнялъ обѣими руками какую-то невидимую, драгоцѣнную вещь надъ головой, подержалъ ее нѣсколько секундъ и вдругъ отчаянно бросилъ ее: „Ахъ, вы, сѣни мои, сѣни“! „Сѣни новыя мои“ — подхватили двадцать голосовъ.

По тому же способу, переводя самыя отвлеченныя отъ тѣла, внутреннія состоянія на языкъ наглядныхъ, внѣшнихъ,

тѣлесныхъ движеній, передаетъ онъ чувство духовнаго безсилія, которое овладѣло Наполеономъ послѣ Бородинскаго сраженія: „это было какъ во снѣ, когда человѣку представляется наступающій на него злодѣй, и человѣкъ во снѣ размахнулся и ударилъ своего злодѣя съ тѣмъ страшнымъ усиліемъ, которое, онъ знаетъ, должно уничтожить его, и чувствуетъ, что рука его, безсильная и мягкая, падаетъ, какъ тряпка".

Ему одинаково послушны и первозданныя стихійныя громады, и разсѣянныя въ нашей внутренней атмосферѣ, какъ пыль, легчайшія молекулы, атомы чувствъ. Та же рука, которая двигаетъ горами, управляетъ и этими атомами. И, можетъ-быть, второе изумительнѣе перваго. Оставляя въ сторонѣ все общее, литературно условное, искусственное, отыскиваетъ онъ во всѣхъ ощущеніяхъ самое частное, личное, особенное, какъ бы тончайшія жала ихъ, и оттачиваетъ, заостряетъ эти жала до остроты почти болѣзненной, такъ что они пронзаютъ, впиваются, какъ иглы, и мы уже никогда не будемъ въ состояніи отдѣлаться отъ нихъ, — особенность его ощущеній навѣки сдѣлается нашею особенностью, мы будемъ чувствовать, какъ онъ, не только пока мы его читаемъ, но и послѣ, когда вернемся въ дѣйствительную жизнь. Можно сказать, что нервная впечатлительность людей, читавшихъ произведенія Л. Толстого, становится нѣсколько иною, чѣмъ до этого чтенія.

Тайна его дѣйствія заключается, между прочимъ, въ томъ, что онъ замѣчаетъ незамѣтное, слишкомъ обыкновенное, и при освѣщеніи сознаніемъ, именно вслѣдствіе этой необыкновенности, кажущееся необычайнымъ. Такъ, первый сдѣлалъ онъ открытіе, повидимому, столь простое, легкое и, однако, въ продолженіе тысячелѣтій ускользавшее отъ вниманія наблюдателей,—то, что улыбка отражается не только на лицѣ, но въ звукѣ голоса, что голосъ, такъ же, какъ лицо, можетъ быть „улыбающимся". Платонъ Каратаевъ, ночью, въ темнотѣ, когда Пьеръ не видитъ лица его, что-то говоритъ ему „измѣняющимся отъ улыбки голосомъ".

Изъ такихъ-то маленькихъ, поразительныхъ наблюденій и открытій, какъ изъ первоначальныхъ клѣточекъ, состоитъ самая основа, — вся живая ткань его произведеній.

Мережковскій.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ

продаются слѣдующія книги

В. Покровскаго:

Щеголи въ сатирической литературѣ XVIII вѣка. Ц. 1 р. 50 к.

Щеголихи въ сатирической литературѣ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.

Бѣлинскій, какъ критикъ и создатель исторіи новой русской литературы. Ц. 50 к. *Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.*

СОДЕРЖАНІЕ: I. Критика Бѣлинскаго — литературная школа для писателей и общества того времени. — II. Бѣлинскій и Мерзляковъ. — III. Бѣлинскій и Полевой. — IV. Бѣлинскій и Надеждинъ. — V. Бѣлинскій и Шевыревъ. — VI. Булгаринъ, Сенковскій и Бѣлинскій. — VII. Бѣлинскій, какъ создатель исторіи новой русской литературы. — VIII. Взглядъ Бѣлинскаго на народную поэзію и древнюю книжную словесность. — IX. Ошибочность воззрѣній Бѣлинскаго на нѣкоторыя произведенія новѣйшей литературы.

Поэзія, какъ главный факторъ эстетическаго развитія. Ц. 1 р. *Включена Мин. Нар. Просв. въ „Каталогъ книгъ для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній“.*

Столѣтіе сатирическаго журнала „Что-нибудь отъ бездѣлья на досугѣ“. Содержаніе: Характеръ сатиры журнала. Общее содержаніе. Отношеніе къ предшественникамъ. Литературная дѣятельность писателя. Ц. 20 к.

О педагогическомъ значеніи класснаго чтенія отрывковъ изъ образцовыхъ писателей. Ц. 60 к.

Отношенія А. С. Пушкина къ отечественнымъ писателямъ. Содержаніе: I. Введеніе.—II. Пушкинъ приглашаетъ другихъ поэтовъ къ служенію музамъ.—III. Радостное привѣтствіе Пушкинымъ произведеній поэтовъ.—IV. Живое участіе Пушкина къ дѣятельности поэтовъ.—V. Уваженіе Пушкина къ достоинству имени писателя.—VI. Альтруистическія и симпатическія чувствованія Пушкина къ писателямъ. Ц. 20 к.

„Мой досугъ или уединеніе“. (Страница изъ русской журналистики XVIII вѣка.) Ц. 20 к.

Сборникъ историко-литературныхъ статей В. Г. Бѣлинскаго по новой русской литературѣ. Ц. 1 р. (8°, 428 стр.) *Допущенъ Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.*

Исторической хрестоматіи (Сборника историко-критическихъ изслѣдованій) выпуски:

I вып. О народной словесности. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.
II „ О книжной словесности XI—XVI вв. Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к.
III „ О книжной словесности XVI—XVII вв. Ц. 2 р.
IV „ О Петровской и Елизаветинской эпохахъ и ихъ литературныхъ представителяхъ. Ц. 2 р.
V „ О ложно-классическомъ направленіи въ иностранной и русской литературахъ. Ц. 2 р. 50 к.
VI „ Объ европейскомъ просвѣщеніи XVII—XVIII вв. и о вліяніи его на русскую литературу и общество. Ц. 2 р.
VII „ О литературной дѣятельности Екатерины II. Ц. 1 р. 50 к.
VIII „ О Фонвизинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р.
IX „ О Державинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р.
X „ О просвѣщеніи въ древней Руси. Ц. 3 р.
XI „ О просвѣщеніи въ XVIII в. Ц. 3 р. 50 к.
XII „ О положеніи и состояніи русскаго общества въ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.
XIII „ О русскихъ сатирическихъ журналахъ. Ц. 3 р.

Сокращенная историческая хрестоматія. Ч. I. (Сборникъ историко-литературныхъ изслѣдованій о народной словесности и книжной словесности до эпохи Петра.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній (8°, 659 стр.). Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. *Рекомендъ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. II. (Сборникъ историко-литературныхъ статей о **Кантемирѣ, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Екатеринѣ II, Фонвизинѣ и Державинѣ.**) Пособіе при изученіи литературы для учениковъ среднеучебныхъ заведеній (8°, 656 стр.). Ц. 1 р. 50 к. *Одобрена Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Сокращенная историческая хрестоматія. Ч. III. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Грибоѣдовѣ.**) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Ц. 1 р. 50 к. (8°, 818 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. IV. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Пушкинѣ.**) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ. классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Цѣна 1 р. 50 к. (8°, 673 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. V. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ.**) Цѣна 1 р. 50 к. (8°, 632 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. VI. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о С. Т. Аксаковѣ, Григоровичѣ, Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Л. Толстомъ.** (8°, 733 стр.) Ц. 1 р. 25 к. *Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. VII. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Майковѣ, Фетѣ, А. Толстомъ и Тютчевѣ.**) Ц. 1 р.

Сборники русскихъ диктантовъ со стороны ихъ содержанія. Изд. 2-е. Ц. 20 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для фундаментальныхъ библіотекъ.*

Систематическій диктантъ для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ. Ч. I. Этимологія. Изд. 11-е, исправленное и дополненное. Ц. 50 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для среднеучебн. зав., городскихъ и нач. училищъ, Уч. Ком. при Св. Синодѣ для духовныхъ училищъ и Учил. Сов. при Св. Синодѣ для церковно-приходскихъ школъ.*

Тоже. Ч. II. Синтаксисъ. Изд. 9-е. Ц. 60 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Св. Синодѣ.*

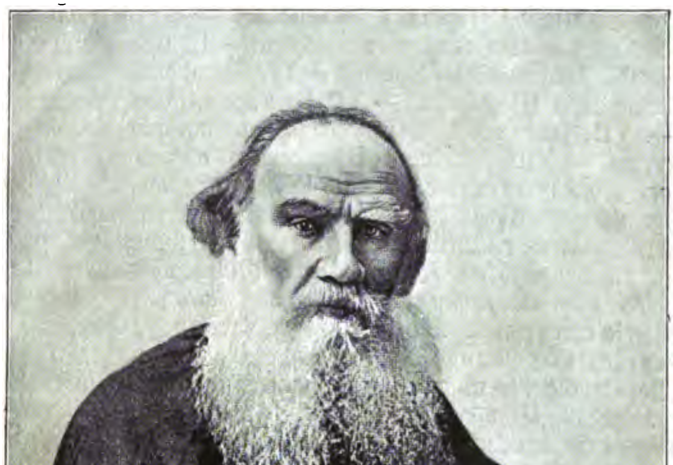
Имена существительныя, употребляющіяся только во множественномъ числѣ. Ихъ родъ и окончанія. Ц 20 к.

Справочный орѳографическій словарь. Изд. 6-е. Ц. 25 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

891.78 T65-0 P76 (4 au 3)
UNIV. OF MICH.
OCT 19 1908
БИБЛІОТЕКА М. И. ГЛАЗЕРА
№ 91

Левъ Николаевичъ
ТОЛСТОЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ



Сборникъ историко-литературныхъ статей

составилъ

В. И. Покровскій

Москва 1905.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ
продаются слѣдующія книги
В. Покровскаго:

Щеголи въ сатирической литературѣ XVIII вѣка. Ц. 1 р. 50 к.

Щеголихи въ сатирической литературѣ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.

Бѣлинскій, какъ критикъ и создатель исторіи новой русской литературы. Ц. 50 к. *Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.*

СОДЕРЖАНІЕ: I. Критика Бѣлинскаго — литературная школа для писателей и общества того времени. — II. Бѣлинскій и Мерзляковъ. — III. Бѣлинскій и Полевой. — IV. Бѣлинскій и Надеждинъ. — V. Бѣлинскій и Шевыревъ. — VI. Булгаринъ, Сенковскій и Бѣлинскій. — VII. Бѣлинскій, какъ создатель исторіи новой русской литературы. — VIII. Взглядъ Бѣлинскаго на народную поэзію и древнюю книжную словесность. — IX. Ошибочность воззрѣній Бѣлинскаго на нѣкоторыя произведенія новѣйшей литературы.

Поэзія, какъ главный факторъ эстетическаго развитія. Ц. 1 р. *Включена Мин. Нар. Просв. въ „Каталогъ книгъ для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній“.*

Столѣтіе сатирическаго журнала „Что-нибудь отъ бездѣлья на досугѣ“. Содержаніе: Характеръ сатиры журнала. Общее содержаніе. Отношеніе къ предшественникамъ. Литературная дѣятельность писателя. Ц. 20 к.

О педагогическомъ значеніи класснаго чтенія отрывковъ изъ образцовыхъ писателей. Ц. 60 к.

Отношенія А. С. Пушкина къ отечественнымъ писателямъ. Содержаніе: I. Введеніе.—II. Пушкинъ приглашаетъ другихъ поэтовъ къ служенію музамъ.—III. Радостное привѣтствіе Пушкинымъ произведеній поэтовъ.—IV. Живое участіе Пушкина къ дѣятельности поэтовъ.—V. Уваженіе Пушкина къ достоинству имени писателя.—VI. Альтруистическія и симпатическія чувствованія Пушкина къ писателямъ. Ц. 20 к.

„Мой досугъ или уединеніе“. (Страница изъ русской журналистики XVIII вѣка.) Ц. 20 к.

Сборникъ историко-литературныхъ статей В. Г. Бѣлинскаго по новой русской литературѣ. Ц. 1 р. (8°, 428 стр.) *Допущенъ Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.*

Исторической хрестоматіи (Сборника историко-критическихъ изслѣдованій) выпуски:

I вып. О народной словесности. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.
II „ О книжной словесности XI—XVI вв. Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к.
III „ О книжной словесности XVI—XVII вв. Ц. 2 р.
IV „ О Петровской и Елизаветинской эпохахъ и ихъ литературныхъ представителяхъ. Ц. 2 р.
V „ О ложно-классическомъ направленіи въ иностранной и русской литературахъ. Ц. 2 р. 50 к.
VI „ Объ европейскомъ просвѣщеніи XVII—XVIII вв. и о вліяніи его на русскую литературу и общество. Ц. 2 р.

VII вып. О литературной дѣятельности Екатерины II. Ц. 1 р. 50 к.
VIII „ О Фонвизинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р.
IX „ О Державинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р.
X „ О просвѣщеніи въ древней Руси. Ц. 3 р.
XI „ О просвѣщеніи въ XVIII в. Ц. 3 р. 50 к.
XII „ О положеніи и состояніи русскаго общества въ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.
XIII „ О русскихъ сатирическихъ журналахъ. Ц. 3 р.

Сокращенная историческая хрестоматія. Ч. I. (Сборникъ историко-литературныхъ изслѣдованій о народной словесности и книжной словесности до эпохи Петра.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній (8⁰, 659 стр.). Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. *Рекомен. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. II. (Сборникъ историко-литературныхъ статей о **Кантемирѣ, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Екатеринѣ II, Фонвизинѣ и Державинѣ.**) Пособіе при изученіи литературы для учениковъ среднеучебныхъ заведеній (8⁰, 656 стр.). Ц. 1 р. 50 к *Одобрена Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Сокращенная историческая хрестоматія. Ч. III. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Грибоѣдовѣ.**) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Ц. 1 р. 50 к. (8⁰, 818 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. IV. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Пушкинѣ.**) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Цѣна 1 р. 50 к. (8⁰, 673 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. V. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ.**) Цѣна 1 р. 50 к. (8⁰, 632 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже Ч. VI. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о С. Т. Аксаковѣ, Григоровичѣ, Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Л. Толстомъ.** (8⁰, 733 стр.) Ц. 1 р. 25 к. *Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. VII. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Майковѣ, Фетѣ, А. Толстомъ и Тютчевѣ.**) Ц. 1 р.

Сборники русскихъ диктантовъ со стороны ихъ содержанія. Изд. 2-е. Ц. 20 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для фундаментальныхъ библіотекъ.*

Систематическій диктантъ для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ. Ч. I. Этимологія. Изд. 11-е, исправленное и дополненное. Ц. 50 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для среднеучебн. зав., городскихъ и нач. училищъ, Уч. Ком. при Св. Синодѣ для духовныхъ училищъ и Учил. Сов. при Св. Синодѣ для церковно-приходскихъ школъ.*

Тоже. Ч. II. Синтаксисъ. Изд. 9-е. Ц. 60 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Св. Синодѣ.*

Имена существительныя, употребляющіяся только во множественномъ числѣ. Ихъ родъ и окончанія. Ц. 20 к.

Справочный орѳографическій словарь. Изд. 6-е. Ц. 25 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ

поступили въ продажу

только что отпечатанныя книги

В. Покровскаго:

Н. М. Карамзинъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

И. А. Крыловъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

В. А. Жуковскій. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 50 коп.

А. С. Грибоѣдовъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

А. К. Толстой. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

А. А. Фетъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

А. Н. Майковъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Ѳ. И. Тютчевъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 15 коп.

С. Т. Аксаковъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Д. В. Григоровичъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 25 коп.

И. А. Гончаровъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

А. Н. Островскій. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

И. С. Тургеневъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Л. Н. Толстой. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

[illegible] магазинѣ В. С. [illegible] ХАЙЛОВА

[illegible], Тверская улица, Столешниковъ пер., д. Ліанозова.